

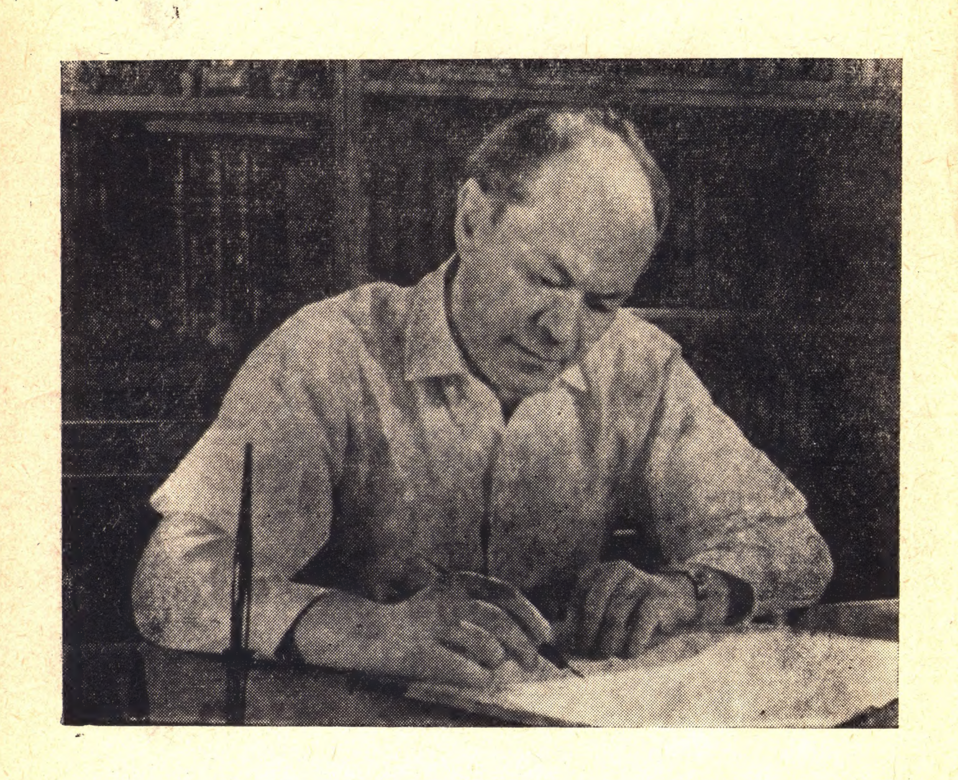
ДЕТСКАЯ
УРАЛЬСКАЯ
Ю. Хазанович
СВОЕ ИМЯ
БИБЛИОТЕКА





Самому близкому
и родному человеку — сыну
Носи гордо свое имя
мама и папа
14/XI-71г

УРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Ю. Хазанович

СВОЕ ИМЯ

Повесть

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК, 1970

Человек со своим именем

Он любил людей поиска и высокой цели, сильных, благородных, честных людей. И очень любил ребят — подростков и юношей, в ком еще не утерянная детская живость и непосредственность сочетаются с упрямой и смелой мечтой.

Ему очень хотелось, чтобы сегодняшние ребята, те, кому предназначена эта книга, завтра стали полноценными гражданами Страны Советов.

А как стать полноценным гражданином Страны Советов? Как это бывает? Что при этом переживает человек?

Повесть «Свое имя» дает ответы на эти вопросы.

Действие ее происходит в военные годы, в ней немало военных приключений, но едва ли верно будет сказать, что это повесть о войне.

Это повесть о мужании юного человека, о его становлении, его превращении в Гражданина.

Юрий Яковлевич Хазанович хорошо знал тех, о ком пишет. Многие эпизоды, которые найдешь ты в книге, автор взял из собственной жизни. Попадется, например, тебе главка «Великий потоп». Худо, ох, худо приходится в ней герою повести Мите Черепанову. Все, что происходит с Митей, когда-то пережил сам Юрий Яковлевич, будучи юношей, с той только разницей, что дело было зимой и Юрию пришлось похуже, чем Мите.

Юрий Яковлевич родился весной 1913 года на Днепре, в городе Кременчуге. В мальчишестве игрушками у него были гранаты и боевые винтовочные патроны: шла гражданская война, гремели бои, мельтешили имена Деникина, Петлюры, Махно, Зеленого — белогвардейских генералов и атаманов-головорезов. Набатно звучали славные имена Щорса, Котовского, Буденного и Ворошилова.

После семилетки Юрий поступил в железнодорожный техникум, работал кочегаром, потом помощником машиниста паровоза. Его наставником был заботливый и мудрый Петр Степанович Штейн. Ты узнаешь его в одном из героев этой книги.

Без отрыва от производства Юрий Яковлевич окончил Харьковский механико-машиностроительный институт. Еще на институтской скамье он стал писать рассказы. С отличием закончив институт, он пошел работать на Харьковский турбогенераторный завод. Снова родная рабочая семья, большая и дружная, снова бессонные ночи: один за другим писались рассказы.

В 1940 году инженер Ю. Я. Хазанович был принят в члены Союза писателей.

От завода его оторвала война. Уже на второй день после подлого фашистского нападения воентехник Хазанович в составе артиллерийского полка выехал на Западный фронт. Атаки озверелых оккупантов, дикую ярость бомбежек, ошеломляющую силу танковых ударов — все пришлось перенести молодому офицеру. Смерти он миновал, госпиталя — нет. Тяжело контуженным, с разрывом ткани легкого, осенью 1941 года Хазановича эвакуировали на Урал.

С тех пор край Каменного пояса накрепко вошел в жизнь и творчество писателя. Уральцы сразу же приняли его в свою семью.

Очень полюбился Юрий Яковлевич Павлу Петровичу Бажову. Да разве только Павлу Петровичу? Он был всеобщим любимцем. Бывало, появится Хазанович — невысокого роста, сухощавый, с азиатскими чертами лица — и уже сыплются его то веселые, то язвительные, но всегда остроумные шутки, раздается смех, завязывается оживленный разговор. Он очень много знал и был удивительно искусным рассказчиком. С ним всегда было интересно.

Работал Юрий Яковлевич напористо, неустанно, придираясь к каждой своей строке, к каждой фразе, к каждому слову,— чтобы было точнее, ярче, лучше.

Я помню, как писалось «Свое имя». Это было уже после войны. Вначале повесть называлась «Широкая колея».

Четким, убористым, чуть враскат почерком заполнял Юрий Яковлевич страницу. Остановится, перечтет, вычеркнет несколько слов, вставит новые и опять пишет. Опять остановится, снова перечтет и вдруг — безжалостно, резко, ровными жесткими линиями зачеркивает все, что написано. Не так! Надо лучше. Яснее. Ярче.

Откуда появилось название «Свое имя»?

В сложном сюжетном переплетении, в столкновениях разных людей, разных характеров, в суровых испытаниях живут герои повести. Как относиться к труду, к традициям старшего поколения, как решать вопросы долга и чести? — вот что волнует автора и персонажей книги. Эти вопросы и сегодня важны для нас. И среди них — вопрос о праве на свое, своим трудом завоеванное и утвержденное имя.

Этот вопрос решает для себя и Митя Черепанов, главный герой повести. А как решает — ты узнаешь, прочитав книгу.

Этот вопрос — давно и в полной мере — был решен и для самого Юрия Яковлевича: в советской литературе у Хазановича есть свое имя, свой творческий почерк, свой круг героев и тем.

Трудно, да и не обязательно, перечислять все его беллетристические и очерковые книги, назову лишь некоторые: «После боя», «34 недели на Майданеке» («Человек № 10920»), «Мне дальше», «Поиски, тревоги, мечты», «Счастливые люди» и «Донесение в штаб»... Невозможно перечислить его газетные и журнальные фельетоны, очерки, статьи. Можно назвать некоторые фильмы: художественные — «Во власти золота», «Одна строка», документальные — «Однажды летом», «Сказы Уральских гор», «В таежном краю», «Тайга покоренная», «Свердловск», «Уралмаш»...

И все же главным для меня, да и для тебя, читатель этой книги, в творчестве Юрия Яковлевича Хазановича остается то, что написал он для юношества. «Свое имя»... «Байкаловские огоньки» — небольшая документальная повесть о жизни и труде ребят села Байкалово Свердловской области... Повесть «Дело» — о жизни и революционной борьбе молодого уральского большевика Николая Давыдова и его друзей...

Продолжить этот список уже нельзя. Тяжкая болезнь не дала Юрию Яковлевичу свершить многих задуманных дел. Он умер июньским утром 1969 года. В его письменном столе остался незаконченный роман «За все в ответе» — о молодых, только что со школьной скамьи, рабочих.

«За все в ответе вы»,— хотел сказать писатель юному поколению, поколению завтрашних хозяев нашей прекрасной страны.

Он читал мне отрывки из этого романа. И в этом произведении живут люди поиска и высокой цели — такие же, каким был сам Юрий Яковлевич Хазанович.

Олег Коряков



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ПУСТЫРЬ

Мальчишки из поселка паровозников были убеждены, что во всем Горноуральске нет лучшего места, чем этот пустырь. Конечно, ничего плохого нельзя было сказать и о парке, и о городском стадионе, и о гранитной набережной пруда. Но разве можно все это сравнить с пустырем, на котором мальчишки были полновластными хозяевами!

Начинался он сразу же от серого ступенчатого здания паровозного депо и тянулся до каменистого подножия Лысой горы. Ржаво-красная колея вливалась в широкие деревянные ворота, разветвлялась и стремительными лучами пересекала огромный пустырь. На рельсах стояли паровозы всевозможных серий, конструкций и размеров.

Однако это были не те паровозы, что могут выбросить в небо облако дыма, шумно задвигать стальными дышлами и тронуться в путь. Это были машины, отслужившие свой век. Потому-то пустырь и назывался паровозным кладбищем.

Оно напоминало Мите музей. Заброшенные паровозы рассказывали ему о прожитой жизни, о краях, где им довелось бывать, о том, как много потрудились творцы машин, какими нелегкими и долгими путями пришлось им идти.

В глубине кладбища на узкой колее стояли два карлика, вероятно, ближайшие потомки первого русского «сухопутного парохода». И, хотя они больше походили на неуклюжую телегу с железной бочкой-котлом на колесах и высокой толстой трубой, мальчишки окрестили их «самоварами».

Тут же примостился и маленький приземистый немец «Карлуша». Эта машина была помоложе «самоваров» и поэтому выглядела аккуратнее.

Далее громоздилась «Фита» — весьма странная, на нынешний взгляд, машина: казалось, будто два локомотива, сильно разогнавшись, врезались один в другой, да так и остались. У «Фиты» был очень длинный котел и удвоенное количество паровых цилиндров и колес. Букву «фиту» сразу же после революции выкинули из русского алфавита за ненадобностью, а паровоз «Фита» исчез несколько позднее.

В один ряд выстроились на пустыре старички — ветераны серий «Г», «Ч» и «О», прозванные по первым буквам «гробами», «черепахами» и «овечками». Особняком стояла «Аннушка» — машина изящная, стройная, со следами былой красоты. Высокие колеса как бы говорили о том, что в пору своей молодости «Аннушка» была легкой и подвижной, и вряд ли какой-нибудь другой паровоз того времени мог за ней угнаться.

Зимой пустырь выглядел непривлекательным. Лютые ветры продували его насквозь, заносили тяжелыми сугробами. Дорожек в снегу никто не пробивал, и снег лежал до самой весны, сверкая нетронутой голубизной.

А летом здесь буйно разрастались бурьян, крапива, пахучая седая полынь, и паровозы по самые ступицы стояли в зеленом разливе трав. Росли на пустыре еще тоненькая серебристая пастушья сумка, солнечный одуванчик, и под самыми колесами можно было увидеть храбрую, веселую ромашку.

Удивительно, что на пустыре не жили птицы, хотя для них нашлось бы немало укромных мест. Может быть, они не свивали здесь знезд, боясь перепачкать оперение в ржавчине и копоти, но, скорее всего, птицы опасались мальчишек. Вороны и галки пролетали над пустырем на почтительной высоте, недосягаемой для ненавистных рогаток. Даже воробьи предпочитали держаться подальше от пустыря.

В жаркие летние дни паровозы на кладбище как бы оживали. Они так раскалялись на солнце, что над ними начинало струиться едва заметное марево. И, как от всякой живой машины, от них до позднего вечера жарко веяло разогретым воздухом и горьковатым запахом копоти и мазута. Даже чудилось: вот-вот машины вздохнут, выбросят в небо легкие хлопья пара и укатят отсюда.

Давным-давно стоял на пустыре бронепоезд — старенький, хорошо сохранившийся паровоз серии «О», на тендере которого мальчишки крупно вывели мелом: «Грозный Урал». Машинистом на «Грозном Урале» был когда-то Митька Черепанов, первый знаток паровозов, а командовал бронепоездом Митин друг Лешка Белоногов. Перечитав все «морские» книги, какие только имелись в школьной библиотеке, Алексей бредил морем, которого никогда не видел. Зимой и летом он носил тельняшку, в самые немилосердные уральские морозы ходил в распахнутой шубейке, чтобы закалить организм. У него и походка была совершенно

«морская», вразвалочку, словно он все время шел по штормовой палубе. Даже с паровоза спускался Лешка не так, как все паровозники — лицом к машине, а как моряки сходят по трапу — «носом вперед». По вине скупой природы, не наделившей Горноуральск морем, Алешка вынужден был снизойти до пребывания в сухопутных войсках.

Он выходил на середину пустыря и кричал «морским» голосом:

— Станови-ись!

Войско строилось. Алеша неторопливо и важно продвигался развалистой походкой вдоль шеренги, внимательно оглядывая солдат, бросая короткие, резкие замечания о позорно мокрых носах, слабо затянутых ремнях и неряшливо выбившихся рубахах.

Шеренга была невелика — на другом конце услышали бы даже шепот, — однако Алеша рупором складывал ладони и орал, краснея от натуги:

— На две ар-р-р-мии стр-р-рройся!

Это был самый трудный момент в подготовке к военным действиям. Большинство ребят неизменно хотело попасть в «красные», и войско противника всякий раз оказывалось настолько малочисленным, что просто не было смысла начинать войну. В таких случаях командир бронепоезда своей властью уравновешивал силы: он мог приказывать не только своей армии, но и армии противника, — обстоятельство, которому позавидовал бы любой полководец.

Когда обе армии, «красная» и «белая», наконец выстраивались, и воины нетерпеливо топтались на месте, Алеша поднимался на цыпочки и кричал:

— Пехота — на исходные рубежи! Команда бронепоезда «Грозный Урал» — по местам!

Сражения гремели до темноты, а назавтра вспыхивали с новой силой, особенно, если в школе были каникулы...

Сколько поколений горноуральских мальчишек сражалось на этом пустыре! Воевал здесь и старший брат Мити — Ваня, служивший теперь на Дальнем Востоке, и даже отец его, Тимофей Иванович Черепанов, в ту пору, когда он был просто Тимкой. Потом мальчишки вырастали и пересаживались с «самоваров» и «карликов» на настоящие машины. Впрочем, из бывших участников баталий вышли не только паровозники: единственная и, казалось, заброшенная колея вела с пустыря к бесчисленным жизненным дорогам.

Митю Черепанова и Алешу Белоногова эта колея никуда еще не вывела. Но их давно уже манили на паровозное кладбище не бронепоезд, не войны, а футбольное поле. Вместе с друзьями Митя отвоевывал его у пустыря: корчевал и жег ребристые стебли бурьяна, сооружал ворота из старых дымогарных труб.

Он был вратарем команды, отстаивавшей спортивную честь улицы Красных зорь.

Но сегодня Митя пришел сюда не ради футбола.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

С утра он сидел над книгой, которую вчера принесла Леночка. Такой книги он еще не читал. Это были невыдуманные и потому волнующие рассказы о простых людях, очутившихся в тылу врага. Всего полтораста страниц, а сколько судеб, сколько событий прошло перед ним!

Дочитав книгу, он задумчиво перелистывал страницы, прислушиваясь к беспокойному чувству, охватившему его.

За шесть дней каникул он вволю наигрался в футбол, прочитал две книжки. Но и футбол и книги лишь подчеркивали неожиданную пустоту этих долгожданных дней. Ну, прочтешь еще пять или десять книжек о хороших людях, совершающих большие дела, а сам-то, сам что сделаешь?

Когда-то, очень давно, поздним вечером он забрел с мальчишками на станцию. У перрона стоял поезд. В голове состава, около паровоза, шла таинственная, непонятная работа. Парень с черными сверкающими глазами держал в одной руке дымный факел, в другой — гаечный ключ, а старик, похожий на волшебника из сказки, копошился возле колес машины. Зыбкое пламя факела освещало его строгое, цвета бронзы лицо.

Митя поглядывал издали на паровоз. Это была небольшая старая машина, но тогда она показалась ему громадной и великолепной. Паровоз громко дышал, готовый ринуться в темноту; его сухое, жаркое дыхание обдавало Митю, и он щурился. Как назло, старик очень быстро кончил работу и поднялся в будку. Следом ловко взобрался молодой парень. Раздался свисток кондуктора, и паровоз обрадованно ответил ему таким острым и диким свистом, что Митя вздрогнул и невольно заткнул пальцами уши. Медленно, тяжело задвигались дышла, похожие на гигантские локти, и по земляному перрону поплыл светлый квадрат от паровозного окошка.

И долго еще вспоминались Мите и факел, шипящий на ветру, и чудесная машина, и бронзовое лицо старика. В тот вечер Мите захотелось быть машинистом.

Со временем он «пересел» с паровоза на самолет, «исследовал» Арктику, «поднимал» затонувшие корабли, а однажды решил было заняться археологией.

Но весной этого года снова вспыхнула давнишняя привязанность к железной дороге. Случилось это после экскурсии в депо. Правда, если прежде Митя собирался всего только управлять паровозом, то теперь его привлекало нечто большее.

В техническом кабинете висел макет паровоза в разрезе. Стоило покрутить хотя бы одно колесико — и начинали двигаться шатуны, плавно покачивалась кулиса, взад-вперед ходил поршень. Митя засмотрелся на макет и не заметил, как вошел инженер Пчелкин. Высокий, с резкими чертами худощавого лица, он положил руку на плечо школьника, спросил:

— Что, интересно?

— Все видно, прямо как в разрезанной курице!.. — восторженно сказал Митя.

Ребята засмеялись, засмеялся и инженер. Потом, развертывая перед экскурсантами большие, как скатерть, синие листы чертежей, он говорил:

— Перед нами новая разрезанная курица. Посмотрим, что она собой представляет и в чем ее особенности...

Пока инженер рассказывал, как создаются паровозы, Митя решил стать конструктором. В самом деле, придумать такую машину, какой до тебя не бывало на свете,— что может быть интереснее! Ты придумал, рассчитал, вычертил на бумаге, а сотни людей разных специальностей сделали ее, собрали по винтикам, опробовали, и вот она — новая машина, живет, действует, и, как родного человека, ее называют твоей фамилией.

Вспоминая теперь прежние увлечения, Митя был почти уверен, что изменит и конструкторскому делу, и с тоской думал, что так, наверное, бывает со всеми пустыми, никчемными людьми. Впрочем, со дня экскурсии прошло уже много времени, почти полгода, а ничего нового пока не возникло...

Но как бы то ни было, до конструирования еще далеко. А что делать сейчас? Что делать сегодня, завтра, послезавтра, целых два месяца?

С этими мыслями он отложил книгу и встал из-за стола.

К АЛЕШКЕ

Марья Николаевна остановила машину, оборвала нитку, привычно быстрыми движениями тонких морщинистых рук сложила сшитую гимнастерку и, кинув ее на кушетку, где возвышалась зеленая стопка таких же гимнастерок, оглянулась на сына. Рослый, с мальчишески длинной шеей и прямыми плечами, со смуглым крутым лбом и чуть выдавшимся вперед подбородком, он остановился на минуту перед зеркалом, приглаживая русый жесткий ежик.

По ссадинам на Митиных коленях и локтях, заживавшим только зимой, Марья Николаевна знала о его пристрастии к футболу. Игра эта не очень нравилась ей, но после экзаменов, после того как он столько дней, не разгибаясь, просидел над книжками, неплохо и размяться. И, глядя поверх очков, она

пожелала сыну удачной игры. Мите в этом пожелании почему-то послышалась насмешка, и он заторопился из комнаты.

В сенях, по привычке, запустил ногу под скамейку — мяча на месте не оказалось. «Опять Егор!» — подумал он, на этот раз без раздражения. Так и есть: Егорка играл во дворе. У него были неожиданные в черепановском роду голубые глаза, такой же, как у матери, небольшой, слегка вздернутый носик, открытый лоб и густая русая челка.

Мальчик клал мяч на землю и вприпрыжку лихо налетал на него, метя в квадратную дыру собачьей будки. Жук, большой черный пес «дворянской» породы с мордой овчарки, у которого одно ухо всегда настороженно торчало, а другое безразлично свешивалось, предусмотрительно покинул свое жилище. Впрочем, опасения его были напрасны: Егорке не удавалось забить мяч в будку. Одна из лямок штанишек то и дело сваливалась с его плеча, обнажая белую полоску, наискось пересекавшую румяную от загара спину, и была, наверное, причиной неудач. Егорка дергал плечом, озабоченно сопя, клал мяч в исходное положение и снова разбегался...

Летом сорок второго года, когда Ваню призвали в армию и отправили на Дальний Восток, Леночка, его жена, приехала с Егоркой в Горноуральск. Мать утверждала, что с этой поры дом их ожил, но Митя был иного мнения. Против Лены он, правда, ничего не имел, но Егорка... Мальчишка зачастую мешал учить уроки, постоянно таскал карандаши, угольники и перья, а совсем недавно добрался даже до готовальни. И, когда Леночка растолковывала ему, что чужие вещи трогать нельзя и что нужно слушаться дядю Митю, он убежденно заявил: «Дяди такие не бывают!» Митя чуть не прыснул, услыхав эти слова.

И все-таки Егорка продолжал не признавать его. Вот и мяч запрещалось брать. Сейчас не мешало бы для поднятия авторитета всыпать ему, да попробуй разозлись на этого шпингалета!

Увидев Митю, Егорка перестал сопеть. Разгоряченное, с пухлыми щеками и облупившимся от загара носом лицо сделалось вдруг обиженным и скучным

— На, играй,— вяло сказал Егорка и обеими руками протянул мяч.

Митя принял мяч, сбил с него пыль и сжал между ладонями, как сжимают арбуз, определяя его зрелость. Мяч не потерял упругости, хотя во вчерашней игре ему крепко досталось. Синевато-черная кожа покрышки податливо скрипнула: «Все в порядке!»

Подмигнув Егорке, Митя послал мяч в небо. Егорка запрокинул голову и даже раскрыл рот — вот «свечка» так «свечка»! Когда же мяч приземлился и, поднимая пыль, запрыгал посреди двора, мальчик удивился еще больше: Митя уже быстро шагал по улице.

Красный диск солнца стоял на голой макушке Лысой горы. Казалось, вот-вот он сорвется, звеня, покатится по каменистому склону и с шипением плюхнется в спокойную воду пруда. Значит, еще один день долой. А сколько впереди таких дней...

Митя свернул за угол и направился к бревенчатому двухэтажному дому с двумя балконами, стоявшему в глубине двора, сплошь засаженного картошкой.

Первое окно от угла на втором этаже было распахнуто. Митя остановился, негромко позвал:

— Лешка!

За полупрозрачной гардиной смутно вырисовывалась чья-то фигура, и он скорее угадал, чем увидел, что это Вера.

— Здравствуй, Митя,— сказала Вера, отодвинув локтем гардину и щуря зеленоватые глаза.

Губы ее со вздернутыми кверху уголками, казалось, в любую минуту были готовы расплыться в улыбке.

— Здравствуй,— ответил он тихо и переступил с ноги на ногу, точно на морозе.— А Лешка где?

— Выполняет одно хозяйственное задание. Неужели с самого утра не виделись?

Вера заплетала косу, тонкие пальцы ее проворно бегали, будто перебирали струны какого-то инструмента. При этом она не сводила с Мити насмешливых глаз.

— Где же его найти? — задумчиво проговорил Митя.

— Не волнуйся, найдется, прибежит на пустырь,— и тихонько засмеявшись, добавила: — Какая неприятность, растерялись дружки!

— Ну, я пойду,— сказал Митя, не двигаясь с места и не решаясь взглянуть на Веру.

— Что ж, не смею вас задерживать,— скороговоркой отозвалась она и, хихикнув, отошла от окна.

Идя к калитке, Митя чувствовал на себе Верин взгляд, споткнулся и, не сумев перебороть себя, оглянулся.

В окне колыхнулась гардина. Возможно, ее шевельнул ветер, а может, это Вера отпрянула от окна.

ИЗВЕСТИЕ

Алеши на пустыре не было. Команда еще не собралась. Двое активистов прочерчивали затоптанный круг и штрафные линии.

Чтобы не попадаться футболистам на глаза, Митя направился в глубь пустыря.

Возле бронепоезда «Грозный Урал» шли какие-то военные приготовления. Со снисходительной улыбкой Митя поглядел на суетливое и шумное воинство — даже не верилось, что когда-то и он был таким же смешным, как эти мальчишки.

Вдруг раздался остренький, словно шильце, голосок:

— Привет, Митя!

Вежливо, как подобает старшему, Митя поздоровался с ребятами, и Вовка Черепанов, его двоюродный брат, с места в карьер стал рассказывать, что их машинист Васька Жуков не знает, что в бронепоезде паровоз ставится в середине состава, между бронеплощадками. Не может даже назвать все части паровоза!

Добродушно улыбаясь, Митя утешил, что Васька со временем овладеет своей высокой должностью...

Боясь, как бы его не заметили футболисты, он попросил разрешения посидеть на бронепоезде. Польщенный, Вовка даже свистнул от радости. А Митя слегка подтянул рукава рубашки и неторопливо, с достоинством поднялся в будку, весело подмигнул ребятам:

— Только, смотрите, не завезите куда-нибудь...

Солнце скатилось за Лысую гору. Вечерело. В такой час на пустыре особенно хорошо, даже немного таинственно. Паровозы выглядят необычно: на зеленоватом вечернем небе резко, словно залитые тушью, вырисовываются их черные силуэты. Кажется, будто они сделались выше, теснее прижались друг к другу. И, сидя в темной паровозной будке, продуваемой певучим сквознячком, легко представить, что ты мчишься в далекие, захватывающие и никому не известные края...

Но Мите давно уже ничего не представлялось в паровозной будке. Где там неизвестные края, если за окном вот она — Лысая гора! Не иначе как что-то случилось с его воображением...

Занятый своими мыслями, он не заметил криков ребят. Он знал, что разговор с Алешкой будет не из легких. Надо наконец покончить с бреднями и решать, решать по-настоящему...

В разгар сражения на ступеньку поднялся Вова Черепанов:

— Алеша идет!

Митя обрадованно вскочил с железного ящика, остановился в дверях.

Худенький, быстрый мальчуган, подпоясанный широким, с большой выпуклой звездой ремнем, поднял белый флаг и громко скомандовал:

— Обе армии, стройся! Смирно! Замри!

Военные действия прекратились. Войска торжественно затихли. С нетерпением наблюдая церемонию встречи, Митя не нарушил ее только потому, что не хотел обидеть ребят.

Алеша приближался медленно, по обыкновению, вразвалочку, почему-то опустив голову. Так выходит к доске ученик, не знающий урока. Это было не похоже на Алешку. Даже в подобном положении он не бывал так угрюм. Вот он молча пробежал взглядом по шеренге и, остановившись на самом маленьком воине, позвал негромко:

— Вовка!

Малыш чеканным шагом вышел из строя и отдал честь:

— Пулеметчик Вова Черепанов прибыл!

Не ответив на приветствие, Алеша сказал:

— Иди домой, Вовка...

Мальчик обиженно оглянулся:

— Вот еще новости...

— Так надо. Иди, говорю...

— Меня мамка до девяти часов отпустила. Что ты пристал?

— Я не пристал. Я приказываю: иди домой.

— Не ты надо мной командир! — огрызнулся Вовка.

Алеша внимательно и строго посмотрел на него.

— Ты должен сейчас же идти домой. Понятно тебе?

— Ничего не понятно! — дерзко уставился на Алешку мальчик.

И Алешка, этот морской волк, не выдержал взгляда малыша и отвернулся.

Худенький мальчишка с широким ремнем заглянул в Алешины глаза, ничего не спросил и, подойдя к Вовке, тоненьким голосом прикрикнул:

— Пулеметчик Черепанов, выполняйте приказание!

— И ты привязался! Ладно, я реветь не стану! — Вовка потянул носом, нахохлился и мрачно побрел с пустыря.

— Смотри, будь взрослым парнем! — вдогонку бросил Алеша.

Голос у него вдруг осекся, и, чтобы скрыть это, он кашлянул.

— А чего мне бояться? — обернувшись, пробубнил Вова.— Я уже за похоронами не хожу, на станцию не бегаю...

Кто-то из шеренги засмеялся. Алеша, наклонив голову, не сводил глаз с удалявшейся маленькой фигурки «пулеметчика» Черепанова. Когда Вова скрылся за воротами пустыря, Алексей повернулся к шеренге и сказал:

— Ребята, с фронта письмо пришло: у Вовки отец убит...

На пустыре вдруг стало тихо. Так тихо, будто на километр вокруг не было ни одного мальчишки. Зашевелился куст бурьяна, осторожно зашуршало что-то в траве, из топки ближнего паровоза приглушенно донеслась несложная песня сверчка.

— Дядя Вася...— прошептал Митя внезапно пересохшими губами, взялся за поручни, но вдруг ноги его подкосились, и он сел на железный грязный пол будки.

РЕШЕНИЕ

Миновав депо, они остановились. Широченный стальной разлив путей простерся перед ними. На высоких, сплетенных из железа мачтах зажглись прожекторы, и рельсы засверкали,

словно гребни волн бесконечного потока, который несся мимо города, мимо депо, мимо бесчисленных станционных построек.

То здесь, то там зажигались неяркие огоньки стрелок; те, что были подальше, тускло мерцали, будто покачивались и медленно плыли по течению...

Переступая через рельсы, мальчишки высоко поднимали ноги, точно шли вброд. На середине потока они снова остановились: дорогу преградил поезд. Он только что отошел от станции и быстро набирал скорость. Колеса стучали все чаще, сильнее. Но грохот не мог заглушить песен, летевших над поездом: о любимом городе, о метелице, о кудрявой березке, стоявшей во поле, о священном Байкале...

Едкий паровозный дымок стлался за поездом. И вдруг откуда-то потянуло пряной лесной свежестью: танки, орудия, автомашины на платформах — все было обвито чуть привядшей пахучей сосновой хвоей.

— Вот и замена пошла,— задумчиво проговорил Митя, когда за последним вагоном пронеслась пыльная позёмка.— Дяде Васе замена...

Алеша широко шагал через рельсы.

— Да, кто-то заменяет дядю Васю...— многозначительно заметил он.

Улица Красных зорь начиналась сразу же за железнодорожным полотном и уходила далеко в гору. Если, стоя на колее, глядеть в даль улицы, то приходится задирать голову. Митя шагал все быстрее и слышал рядом частое Алешино дыхание.

Чем ближе подходил Митя к дому дяди Васи, тем сильнее и неотступнее сковывала его сердце тоска: нет уже дяди Васи. А перед глазами стоял он, живой, шумный, с веселыми черными глазами и большим улыбчивым ртом.

«Смотри мне, племяш,— говорил он полушутя.— Дед твой был крепостной, на демидовской чугунке горбатил. Отец — передовой рабочий человек, машинист. Дядька твой, то есть я, в скором времени техником будет. А ты, по-моему, должен в инженеры выйти. Первый инженер в черепановском роду! Вот какое тебе задание, племяш...»

«А сам не успел...» — горестно подумал Митя, останавливаясь у калитки.

На крылечке в сумрачном молчании сидели Вовины друзья, члены экипажа бронепоезда «Грозный Урал». Мальчишка, перепоясанный широким ремнем, шепнул Алеше:

— Вовка-то герой — даже не заревел...

— А что он соображает! — скривил губы Алеша.

В это время на крыльцо вышел Тимофей Иванович. На нем был рабочий костюм, в руке он держал свой железный сундучок с маленьким медным замочком.

Мальчишки бесшумно посыпались со ступенек. Тимофей Иванович и не заметил их. Он постоял, потирая лоб, словно мучительно припоминая что-то. Потом надвинул на брови картуз и стал медленно спускаться с крыльца.

— Папаня! — позвал Митя.

Тимофей Иванович не услышал и не повернулся. Ступая нетвердо, как слепой, он пересек двор, с минуту шарил рукой, искал щеколду.

«Куда же он?» — встревожился Митя, когда отец свернул в сторону, противоположную дому. Но Тимофей Иванович сделал несколько шагов, оглянулся и повернул домой. Дорога шла под гору, а он едва плелся, согнувшись, точно против ветра.

Митя и Алеша молча двинулись за ним.

Жук встретил хозяина радостным лаем, прыгал, осторожно хватал за руки, бил по ногам хвостом. А хозяин не обращал на него ни малейшего внимания. Тогда Жук бросился на улицу, к ребятам. Митя шикнул на него. Старый пес обиженно опустил хвост и удалился в будку.

Чуть притворив калитку, Митя с улицы наблюдал за отцом.

Тимофей Иванович направился в дом. Вскоре поперек двора от окон пролегли две песчано-желтые стежки света; большая сутулая тень заслонила сначала одну, затем другую и исчезла. Спустя несколько минут Тимофей Иванович вышел без куртки и картуза, и, хотя сундучок оставил дома, руки его по-прежнему тяжело висели вдоль тела, а плечи согнулись, словно невидимый груз давил на них.

Захватив подбородок в кулак, он долго стоял посреди двора, затем решительно зашагал к дровянику, рывком распахнул дверь и скрылся во мраке.

Из дровяника один за другим вылетели и глухо шлепнулись на землю два толстых березовых чурбана и корявая сосновая плаха. Отец положил чурбан на плаху и взмахнул сверкнувшим колуном. Большой рваный лоскут коры, свернутый в трубку, словно чертеж, забелел на земле. Чурбан не поддался, но крепко зажал колун. Тогда отец, ловко крутанув его над головой, с силой грохнул обухом о плаху, и чурбан с сухим треском раскололся. Посыпались размашистые, гулкие удары. Тимофей Иванович работал с остервенением, вкладывая в каждый удар негодующую силу.

Митя не мог понять, зачем отец это делает, когда три стены в сарае заставлены плотными поленницами дров.

Держа за руку Егорку, подошла Марья Николаевна, заглянула сыну в глаза и горько стиснула губы.

— Батя-то, смотри...— прошептал Митя.

Мать качнула головой:

— Пускай, может, полегчает... На слезы-то он не щедрый.—

Она вздохнула и, открыв калитку, обернулась: — Шли бы в дом, ребятки...

— Слышите, ребята? В дом! — приказал Егорка, важно шагая по двору.

Отец продолжал колоть дрова.

Алеша порывисто взял Митю за руку:

— До каких же пор отсиживаться? Комсомольцы мы или кто?

— Я не комсомолец,— угрюмо отозвался Митя.

— Ну, забыл я. И не в билете дело! Главное — душа!

Он забыл... Но Митя разве мог забыть это? В прошлом году накануне октябрьских праздников классная руководительница вызвала в школу Тимофея Ивановича. Из школы отец вернулся сумрачный.

«Ступай-ка сюда, молодчик,— позвал он Митю, задыхаясь от гнева, и обернулся к Марье Николаевне: — Полюбуйся, выкормили сынка! В восьмой класс ходит, слава богу, дитё, а ума... Учительница выкликает Федорова, а он встревает: смотрите, дескать, какой я знающий! Учительница диктовку дает, все пишут, а этот умник сидит сложа ручки. «Почему не пишешь, Черепанов!» — «А что, мне тоже надо?» Видала такого профессора? Всем надо, а ему можно и не писать.— Тимофей Иванович перевел дух, приложил к сердцу ладонь.— Над товарищами насмехается, а у самого с этой... с геометрией нелады. Учительница ему предупреждение: если, мол, не подтянешь дисциплину, не выправишь успеваемость, придется поставить о тебе вопрос. «Интересно, а как вы его поставите?» — это он спрашивает. «В другую школу, к примеру, переведем...» И только учительница из класса — он ухмыляется во весь рот: «Хотел бы я, говорит, видеть, как они меня переведут... За Черепанова, говорит, найдется кому заступиться...» Это за кого, я спрашиваю! За тебя, что ли? Какая цаца выискалась! — Отец подступил вплотную, большой, ужасающе грозный, дышал часто и шумно, все в нем кипело. И вдруг схватил Митю в охапку, подмял, опрокинул, и железная ладонь его жарко заходила по мягкому месту. Хотя бы по щекам бил, а то совсем как маленького. Лупил и приговаривал: — Не ты Черепанов, а я Черепанов. Заруби себе. Не ты Черепанов! А ты еще никто... Никто...»

Было обидно и больно. А через три дня все слова о зазнайстве, умничанье, бахвальстве повторили на комсомольском собрании товарищи, и все до одного подняли руки за то, что Черепанов к вступлению в комсомол не подготовлен...

— Думаешь, здесь опять не могут отрезать: «Не подготовлен»? — громко говорил Алеша.— А там — никогда. Там в два счета примут...

— Тише,— попросил Митя.

— И так дождались — война кончается. Разве тут наше место? Не так мы живем, не так...

— Работать нужно,— задумчиво сказал Митя.— Найти бы такое дело, чтоб для будущей специальности пригодилось.

— Патриот! — вспыхнул Алеша.— О своей выгоде... Своя рубашка ближе... Если так рассуждать... Е-если бы все так рассуждали, фашисты давно уже были бы в Горноуральске! Да, да!

В споре Алеша всегда кипятился, начинал заикаться, был не очень разборчив в выражениях, угрожающе подходил к собеседнику и готов был, казалось, вот-вот дать волю рукам.

Митя с усмешкой заметил:

— Но ведь даже такого патриота, как ты, не пускают.

— И наплевать! Теперь уж обойдемся без них. Чинуши...

Весной прошлого 1943 года, услышав, что на Урале формируется добровольческий корпус, Митя и Алеша явились в военкомат. Выждали огромную очередь и подошли к столу, за которым сидел немолодой и, судя по орденским планкам и нашивкам за ранения, бывалый капитан.

Он прочитал заявление и, с трудом сдерживая улыбку, посмотрел на них красными от усталости глазами.

— Коллективное, значит? Что ж, написано, надо сказать, толково. И чувства у вас хорошие, правильные, товарищи. Все это похвально. Один только моментик упустили...

Они молча переглянулись.

— Указали бы хоть, сколько вам обоим вместе...

Добродушно-насмешливый тон, с которым были произнесены последние слова, не понравился ребятам. Но Алеша, не теряя надежды, решил поддержать этот тон.

— Вместе нам уже порядочно,— сказал он.— Тридцать один год...

Капитан откинулся на спинку стула: видно, он очень устал, и разговор этот совсем не мешал ему отдыхать.

— Так... Тебе шестнадцать,— он остановил взгляд на Мите и тут же перевел его на Алешу: — А все остальное твое. Верно?

— Так точно! — по-военному четко, но без признаков энтузиазма ответил Алеша.

— Да... Сочувствую, конечно, товарищи, но помочь не могу...

— А вы знаете, в сколько лет Аркадий Гайдар командовал целым полком? — сказал Алеша, глядя на капитана своими зеленоватыми дерзкими глазами.

— Насчет Гайдара ничего не могу сказать...— раскинул руки капитан.

В это время к столу подошел какой-то счастливец с повесткой, и капитан любезно вернул им заявление.

Они приходили в военкомат летом, потом перед началом занятий, потом зимой. Капитан встречал их всякий раз с тем

же усталым радушием, охотно беседовал с ними, однажды спросил о родителях, об отметках, но оставался по-прежнему неумолим.

Были они здесь и весной этого года, и несколько дней назад, когда сдали последний экзамен за девятый класс.

За столом сидел не их знакомый капитан, а пожилой тучный человек в форме старшего лейтенанта. И, хотя лицо у него было нервное и желчное, они втайне обрадовались: все-таки новый человек, возможно, и дело обернется по-новому.

Он взял заявление, поднес близко к лицу и тотчас нервным движением положил его на край стола.

— Сводки читаете? — быстро спросил старший лейтенант и, не дожидаясь ответа, отрубил: — Справляется наша армия. А ваше дело — учиться.

— Второй год уже это слышим,— вздохнул Алеша.

Старший лейтенант резко поднял голову, окинул их острым взглядом из-под насупленных бровей. Казалось, он сейчас раскричится. Но глаза его неожиданно потеплели, и он сказал негромким, спокойным голосом:

— Могу добавить: хорошо учиться, дорогие друзья.

Так закончился их последний поход.

— Обойдемся,— со злым упорством повторил Алеша.— Если человек хочет помочь Родине, ему никто не может помешать. Все из-за тебя! Надо было еще в прошлом году мотать отсюда. Теперь про школу помалкивай. Образование за девять классов имеем? А доучимся потом. Девять классов — не шуточки. Мы уже люди!

Митя усмехнулся. Девятый класс Алеша закончил с переэкзаменовкой по алгебре.

— Хмыкай себе! — горячился тот.— На фронте твой аттестат нужен, как рыбе зонтик. Вон парень всего из шестого класса, а какое дело сотворил! — он стал суетливо рыться в карманах и, ничего не найдя, хлопнул себя по лбу: — Забыл, голова! Приготовил и забыл. В «Пионерке» заметка об одном пареньке. Тоже Алешка, тезка мой. Фамилии не помню. Представь, немцы из его города драпали, а он рельсы мазутом вымазал на подъеме, фашисты и присохли. Тут наши подоспели, фашистов расколошматили, эшелон с награбленным отобрали, а Алешке — медаль. Гениально? Теперь этого Алешку на всем Урале, на Алтае, на Камчатке, где хочешь — всюду знают. Вот тебе из шестого класса парень.

Мечтательно глядя перед собой, Митя вздохнул:

— Попробуй додумайся — вымазать рельсы мазутом. Какой умница!..

Алеша живо проговорил:

— Уверяю, мы тоже могли бы отколоть дельце. А? Что ты молчишь?

— С мазутом — это случай,— размышлял Митя.— А чтоб воевать по-настоящему...

— Чудак, честное слово! Хоть снаряды подавать, и то лучше, чем загорать в тылу!

Митя представил себе маленького паренька, крадущегося в потемках к насыпи, и подумал, сжимая кулаки: «Надо, надо что-то делать! Но что?»

В это время во дворе вдруг стало тихо. Разметав чурбаны в щепки, отец отставил колун, рукавом вытер лоб и принялся за плаху. И опять застучали частые, яростные удары, раздававшиеся на всю улицу.

— Нужно туда, понимаешь? — убеждал Алеша.— А если и там окажутся такие же формалисты, тогда в тыл, к партизанам. Ясно? Там каждый человек на вес золота...

Смуглое лицо Мити, освещенное скупым светом дворовой лампочки, внезапно оживилось, глаза возбужденно заблестели, и он рассказал о книжке про партизан, которую прочитал сегодня.

— Там есть бабка Меланья Кондратьевна. Хорошая такая старуха! А внук у нее ни то ни се. Она ему и говорит: «Как же ты живешь? Что делаешь для общей пользы? Людям сможешь потом в глаза смотреть?» Читаю, и кажется, будто это ко мне она... даже голос ее слышу. А голос почему-то в точности, как у мамы...

— Ух и сказала! — восторженно прошептал Алеша.— И ты еще раздумываешь?

— Я пошел на пустырь с тобой поговорить, а тебя нет.

— Гениально старушенция сказанула! Действовать, действовать, чтоб не было потом стыдно.

— Действовать можно и тут...

— Опять грузчиками? — запальчиво оборвал Алеша, вспомнив прошлогодние каникулы, когда они разгружали вагоны с углем.

Поработать, правда, пришлось всего двенадцать дней: на ладони у Алеши вскочил большой, как фасолина, пузырь, сменившийся нарывом...

— Лучше уж грузчиками, чем так околачиваться,— упрямо твердил Митя.

— Чепуха! Нужно мстить, нужно сделать что-то такое...— у Алеши перехватило дух.— Что-то большое, чтобы все узнали. А тут не развернешься...

— Постой! — всполошился Митя, прислушиваясь и напряженно глядя в глубь двора.

Алешка тоже прислушался.

Во дворе наступила тишина. Топор умолк. Тимофей Иванович, сгорбившись, постоял некоторое время посреди белевших на земле поленьев и щепок, потом, бросив на землю колун, по-

тащился в сад. В тишине было отчетливо слышно, как он всхлипывал.

Холодок пробежал по Митиной спине, будто за воротник бросили ледяшку. Страх наполнил все его тело невыносимой тяжестью.

— Что делается! — с отчаянием прошептал Алешка и хлопнул себя по бедрам.— Они гробят наших людей... а ты сиди и смотри, как взрослые ревут! Эх!

Проводив взглядом надломленную фигуру отца, Митя ребром ладони рубанул воздух, сказал внезапно осипшим голосом:

— Ладно, решено! Что будет, то будет!..

ОН ВСТРЕТИТ ОТЦА

Алеша лежал на боку, согнув руки в локтях и раскинув ноги. Прямые светлые волосы, будто ветром, отнесло назад. Белое летнее одеяло лежало на полу возле кровати.

Анна Герасимовна подняла его и осторожно прикрыла ноги сына. Так было всегда, с тех самых пор, как его перестали пеленать. Обычно отец ложился позднее всех и несколько раз за ночь укрывал его...

Тонкая морщинка пересекла загорелый Алешин лоб. Золотистая, выгоревшая на солнце бровь шевельнулась, лицо сделалось озабоченным. Но в тот же миг уголки губ поползли кверху. Что-то снится ему? Может, командовал сейчас серьезным морским боем и выиграл сражение?

Анна Герасимовна неслышно подошла к столику, быстро написала что-то на клочке бумажки и положила записку на книгу, посредине стола. Сколько дней подряд она видит сына только спящим: уходит рано, возвращается поздно, и никак не удается им посидеть, потолковать, как бывало...

Ослепляющий солнечный столб косо пересекал комнату, будто подпирал стену. Алеша блаженно зажмурился. На сердце было тоже светло и радостно. Захотелось полежать с закрытыми глазами, вспомнить вчерашний вечер, обещавший такие перемены в жизни.

Первое, о чем он подумал, проснувшись, была встреча с отцом. Раньше Алеша как-то не замечал, что видится с ним редко: инженер Горноуральского отделения железной дороги часто выезжал в командировки на линию. Даже когда отец еще не уехал на фронт, но уже не жил дома, Алеша почти не вспоминал о нем. Потом он все сильнее стал чувствовать его отсутствие, все больше недоставало отца. Уже целый год он не видел его. Нет, он не представлял себе, как это бесконечно долго — триста шестьдесят пять дней!

Много раз казалось: вот он приходит из школы и застает

отца дома. Подняв голову от толстой книги с чертежами и формулами, отец спрашивает с ехидцей: «Что принесли, Алексей Андреич? Впрочем, вижу. И как они вмещаются, эти троечки, в такой небольшой сумке?» Алеша бежал домой, врывался в одну комнату, в другую — отца не было. И ничего не напоминало о нем: ни одной его книги, ни галстука на спинке стула, ни окурка в зеленой стеклянной пепельнице...

Совсем недавно, вечером, когда он готовился к переводным экзаменам, ему послышался голос отца. Алеша бросился в столовую.

— Где он?

Мать и Вера посмотрели на него с удивлением.

Поняв, что его подвел радиорепродуктор, Алеша смутился и медленно, понуро вернулся к учебникам. Подошла мать: «Ложись, Алеша, лучше завтра пораньше встань...» Разве объяснишь ей, что это у него совсем не от усталости.

А сколько раз за последнее время он мысленно разговаривал с отцом! Беседовал, как мужчина с мужчиной, обо всем, даже о побеге на фронт и переэкзаменовке. Ни с мамой, ни с Верой так не поговоришь...

Правда, Алеша мог бы вспомнить, что за всю жизнь не разговаривал с ним столько. У отца все не было времени поговорить, помочь решить задачу; он хмурился, дергал плечом, когда Алеша соображал медленнее, чем ему хотелось: «Думай, думай, ради бога. Шевели мозгами!»

Но сейчас Алеше вспоминалось лишь самое лучшее, самое светлое. Оно заслоняло все остальное, разрасталось, наполняя сердце тоской. Он стыдился этого чувства, скрывал его от всех, но отделаться от него не мог.

И пускай Вера болтает, что отец для них чужой, что он все равно не вернется. Алеше нет до этого никакого дела, он хочет к отцу! И он верил в свое счастье. Здесь, в тылу, по номеру полевой почты никто не скажет, где действует воинская часть, а на фронте можно докопаться. Он непременно найдет отца, и они будут вместе воевать, жить в одной землянке, есть из одного котелка. Вместе вернутся. И тогда Вера поймет, как она ошибалась...

Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. Вера и мама разговаривали негромко, чтобы не разбудить его.

— Я говорю: пойду оформлюсь. А задумаюсь — и страшно. Кажется, я ничего-ничего не сумею...

— А ты не бойся,— улыбнулась мать.— Все это я переживала, когда институт кончила. А после первой операции прошло.

— Вообще иной раз мне кажется, что я совсем-совсем маленькая...

— А ты уже взрослая, да? Почти старушка? — засмеялась мать.

«Вот именно, старушка. Баба-Яга!» — подумал Алеша.

— Так я сегодня пойду,— не то спрашивала, не то утверждала Вера.

— Что ж,— ответила мама.— Раз ты решила... И все-таки я за то, чтобы ты ехала. Сима Чернышева правильно поступает.

— У Симы другие обстоятельства. Мамулька, ведь мы договорились,— умоляюще произнесла Вера.

— Ты все перезабудешь...

— Я буду готовиться, увидишь.

— Ох, это только говорится.

— Слово даю. Ты же меня знаешь, я не Алешка...

Его подбросило на кровати от возмущения: «Вот змея! Подрывает авторитет!»

Мама, наверное, позавтракала и теперь, торопясь на работу, готовила обед.

— А тебе не обидно, что ты не слыхала передачу? — спросила Вера после молчания.

— Расписал, должно быть, так, что уши вянут? — рассеянно сказала мама.

— Нет, хорошо. А кто писал?

— Корреспондент.

Алеша вспомнил: вчера не успел он войти в дом, как Вера, захлебываясь, стала рассказывать, что вечером о маме говорили по радио.

— Если бы ты знала, муся, до чего приятно и странно! Слушаешь будто о чужом человеке: «Военврач, хирург Анна Герасимовна Белоногова сделала операцию на сердце...» Так ведь это моя родная мамка! И, как назло, дома никого. Еще упоминали, что у тебя двое детей и что ты хорошо их воспитываешь. А откуда корреспондент знает? Он же нас не видел.

— Два часа выспрашивал. Я сидела как на иголках: одному раненому после операции было плохо. Статья, думаю, не опоздает, а врач к больному может опоздать. Извинилась и побежала в палату... А насчет воспитания он сам придумал. И, боюсь, переборщил...

— А как теперь Авдейкин? — спросила Вера.

И Алеша оценил ее способность вовремя переводить разговор.

— Авдейкин уже герой. Из поильничка отказался пить, подавай ему только чашку. Садится уже...

— Знаешь, чего мне жаль? — сказала Вера.— Ведь это радио дальше нашего Горноуральска нельзя услышать...

«Дура! — подумал Алеша и заерзал на кровати.— Мама догадается, куда она гнет. И зачем напоминать!»

— Ничего, дочка,— с улыбкой ответила мама,— тысячи людей в Горноуральске узнали про твою маму. Разве этого мало?

Сейчас она подпоясывает гимнастерку широким потертым

ремнем. А теперь перед зеркалом прилаживает синий берет с маленькой звездочкой.

— На обед подогреешь суп,— сказала мама.— Кашу сама сваришь, дочка, мне уж не успеть. За Лешей последи. Недели две пускай отдохнет — и за алгебру.

«Да, да! Недели через две и след простынет! — усмехнулся Алеша и прислушался.— Сейчас Верочка даст характеристику».

Но Вера промолчала, видимо, решив не расстраивать маму.

Они расцеловались, мама велела передать привет сыну, и дверь захлопнулась за ней.

Алеша вскочил с постели, стал одеваться. На глаза попала записка: «Дорогой Леша! Времени сейчас вдоволь, можно и почитать. Взяла для тебя «Овод». Чудесная вещь. Кажется, ты не читал. *Мама*».

Он полистал книгу, заглянул в оглавление, не очень внимательно просмотрел рисунки, зевнул: к сожалению, некогда, надо готовиться к отъезду...

— Привет! — громко сказал Алеша, заходя в столовую и приложив к виску два пальца.

Он был в серых брючках, поношенных спортивных тапках на босу ногу и в неизменной тельняшке, на которой синие полосы поблекли, а белые изрядно посинели.

— Доброе утро, братец,— отозвалась Вера.— Никогда не думала, что моряки могут дрыхнуть, как обыкновенные сухопутные сурки.

— Поспать не вредно и морякам,— лениво потянулся Алеша.— Кажется, меня сосет голод. Позавтракаем, что ли?

— Как только моряк умоется и заправит постель...

Пока он приводил себя в порядок, Вера подала завтрак. Она все делала споро и без суеты. Мама недаром называет ее своей правой рукой. Она умеет и обед приготовить, и убрать в квартире, и починить белье. Мама постоянно любуется ее штопкой: художественная работа! Вероятно, всех девчонок природа наделяет «хозяйственным» талантом...

Эти способности сестры хотя и облегчали Алеше жизнь, но имели и оборотную, не совсем приятную сторону. Чувствуя себя второй после мамы хозяйкой в доме, Вера командовала братом. Право командовать давало ей и то обстоятельство, что нынче летом она окончила десятилетку, тогда как брат только перешел в десятый класс.

Наконец, у нее имелось еще одно немаловажное основание, чтобы «руководить» братом: ей посчастливилось на год раньше появиться на свет. Размышляя в связи с этим над своей судьбой, Алеша приходил к убеждению, что, когда человеку не везет, он даже родиться не может вовремя.

Характеры у них были разные. Бабушка, мать Андрея Семеновича Белоногова, так говорила о своих внуках: «Неслыш-

ный ребенок — наша Верочка, золотое дитё, ангел. А Лешка — крикун и поперешная душа...»

И выросли они непохожими друг на друга: Вера — спокойная, уравновешенная, Алеша — упрямый, горячий, заносчивый. Одно только общее было у них — беспощадно острый язык. Правда, в стычках с сестрой Алеша быстро сникал, выдыхался.

Подчинялся он сестре неохотно, через силу, хотя и сознавал, что ее приказания разумны и справедливы. За столом она тоже держала себя как старшая. Могла сделать замечание, если он брал нож в левую руку или норовил вытереть пальцы о край скатерти, а заметив, что брат не наелся, подкладывала из своей тарелки.

— Съешь еще немного,— сказала Вера, добавляя ему картошки.— Если бы я так носилась в футбол, я, наверное, могла бы съесть целого быка.

— А мешок конфет?

— Больше месяца уже не видела конфет...

— Пустяки, после войны досыта наешься,— усмехнулся Алеша.— Ну-ка, расскажи поподробней, что передавали про маму. А то вчера тебя трудно было понять.

— Домой надо являться раньше,— упрекнула Вера и торопливо, сбивчиво пересказала все, что слышала.

— Гениально! — он тряхнул головой, и волосы у него рассыпались, упали на лоб.— Неплохо бы и папке нашему отличиться, а?

С печальным удивлением Вера взглянула на брата. Давно уже все в доме, не сговариваясь, не вспоминали об отце. Она молча отвернулась и задумчиво сощурила глаза, словно смотрела вдаль.

ВОСПОМИНАНИЕ

Немного больше года назад Андрей Семенович Белоногов оставил семью.

Вера хорошо помнила это время. Что-то недоброе чуяла она в отношениях между отцом и матерью, но понять ничего не могла. В доме стало тоскливо и напряженно. А как-то вечером, возвращаясь от подруги, Вера встретила отца. Он шел, непривычно сгорбившись, держась поближе к домам, торопливой и как будто крадущейся походкой. В одной руке у него был чемодан, в другой — пухлый старый портфель.

— Папа,— позвала Вера, когда он прошел мимо.

Отец вздрогнул. Поставил на землю чемодан, но плечи его почему-то не выпрямились.

— Верочка? — растерянно и виновато прошептал он, а глаза его суматошно забегали.

— Ты в командировку, папа?

— Да, да, в командировку,— подхватил он обрадованно.— В командировку, детка...

Вера не успела спросить, куда он едет, надолго ли,— отец, часто дыша, скороговоркой сказал: «Подрастешь, Верочка, все тебе будет ясно...»,— чмокнул ее в висок и, схватив чемодан, побежал прочь.

Она непонимающе посмотрела вслед и быстро пошла домой, с тревогой вспоминая загадочные слова.

Мать сидела на диване и, обхватив голову, раскачивалась из стороны в сторону. Вера увидела бледное, неузнаваемо осунувшееся лицо.

— Ты плакала?

— Нет, нет, моя девочка, тебе показалось,— мать стала поспешно поправлять волосы, заслоняясь локтями.

— Почему ты плакала? Разве папа надолго уехал?

— Надолго, девочка. Навсегда...— вырвалось у нее вместе с рыданиями.— Семнадцать лет жизни... Все зачеркнуто...— она судорожно обвила руками тонкие Верины плечи.— У нас совесть чиста. Мы не виноваты, Верочка. Ни я, ни вы...

Вера прижалась щекой к влажной и горячей щеке матери и тоже заплакала. Отец больше не любил ни ее, ни маму, ни Алешку, они не нужны ему. Но почему он вдруг разлюбил их? Куда ушел? Мать отвечала: «Со временем все поймешь». Примерно то же самое сказал и отец,— сговорились они, что ли? А ей надо сейчас же, немедленно узнать. «Со временем!» Кто скажет, когда оно придет, это время.

Оно пришло неожиданно скоро. Спустя неделю, в воскресенье.

Вера стояла с подругами возле кинотеатра и вдруг увидела отца: он тоже направлялся в кино.

Забыв обо всем, Вера чуть не бросилась к нему, но заметила, что отец не один. Он шел с какой-то женщиной под руку, как ходил когда-то с мамой, и так был занят разговором, что не увидел дочь. Вера слегка посторонилась, чтобы отец не задел ее локтем. Не глядя на подруг, она сказала, что забыла выключить утюг, и убежала. Так вот почему он ушел!

Об этой встрече Вера дома не рассказала. Она перестала говорить об отце, а если и вспоминала о нем, то едва сдерживая обиду. Мысленно говорила ему дерзости, которых сама пугалась, и все же каждый день по привычке ждала его с работы.

Он пришел месяца через полтора. Семья обедала, когда раздался незнакомый, робкий стук, и в дверях показался отец — наружную дверь ему, наверное, открыли соседи. Сняв шляпу, он наклонил голову с аккуратным пробором на боку, сделал два шага и остановился.

— Проходи, присаживайся,— с трудным спокойствием проговорила Анна Герасимовна.

Сердце Веры больно сжалось. Но в следующее мгновение она вспомнила все и, торопясь, вышла в другую комнату, взяла первую попавшуюся под руку книгу, села у окна.

Перед тем как уйти, отец, держа связку своих книг, приоткрыл дверь, спросил негромким и, как показалось ей, медовым голосом:

— Не желаешь и поговорить со мной?

Вера вышла в столовую и положила на край стола черный портсигар из пластмассы с наискось наклеенной на крышке плоской белой папиросой, тоже из пластмассы, перочинный нож с перламутровыми пластинками и две золоченые запонки с овальными камешками яшмы.

— Вот... забыл...— сказала она и, не взглянув на отца, ушла.

Через несколько дней он пришел еще раз. Военная форма изменила его. Он будто стал у́же и длиннее: новая зеленая гимнастерка висела на узких плечах, ноги казались необыкновенно тонкими в просторных голенищах кирзовых сапог, пахнущих резиной, пилотка была великовата, и оттого голова выглядела маленькой.

— Завтра на рассвете нас отправляют,— проговорил он зыбким, с хрипотцой голосом.— Я буду вам писать...—и, несмело поглядев на маму, потом на Веру, спросил: — Могу я надеяться на ответ?

— Будь здоров,— сказала Анна Герасимовна.

Вера старалась не думать о нем, старалась убедить себя, что ей безразлично, как сложится его фронтовая судьба. На первые письма не хотела отвечать: какое ей дело до этого человека? Нет у нее отца, и все.

— Нельзя быть такой черствой,— убеждала мать.

И Вера, не понимая ее, уступила.

Читая его письма, можно было забыть обо всем, что произошло: он интересовался их школьными делами, спрашивал об отметках, о поведении Алеши, специально для него описывал бои, в которых участвовал, советовал маме следить за здоровьем, присылал деньги, иногда справлялся даже о коте Мурзике... Можно было все забыть. Но Вера не забывала.

Вот почему, когда Алеша заговорил о фронтовой славе отца, она, помолчав, сказала негромко и холодно:

— А мне все равно, прославится он или опозорится...

— Ты одурела! — возмутился Алеша.— Родной отец. Ты носишь его фамилию...

— Мало ли есть однофамильцев!

— Бесчувственная! Конечно, тебе что. Выйдешь замуж, совсем забудешь нашу фамилию.

— Вполне возможно,— сухо ответила Вера.

Алеша доел картошку и, отодвинув пустую тарелку, загадочно посмотрел на сестру:

— Ладно, оставим эту тему. Расскажите-ка лучше, Вера Андреевна, куда это вы оформляетесь?

«УЖАСНО ОБИДНО...»

Вера собралась разливать чай, потянулась к электрическому чайнику, но обожглась, отдернула руку, подула на пальцы и спросила:

— Откуда тебе известно?

— Известно,— так же загадочно произнес Алеша.

— А-а, все ясно! — Вера откинула назад светлую косу.— Подслушиваете чужие разговоры? Красиво!

— Во-первых, не подслушивал, а во-вторых, не чужие. Как-никак, я тебе брат?

— Именно — как-никак,— она насмешливо повела тонкой бровью, налила в стакан чаю.

— Секреты? — обиженно сказал Алеша, засопев отсыревшим носом.

— Никаких. Просто не хотелось говорить до поры до времени. Я поступаю на работу...

— Ну-у? — изо рта у него чуть не вывалился оплывший кусочек сахару.

— Только прошу тебя: не болтай никому, еще неизвестно, примут ли.

В прошлом году, когда Алеша и Митя разгружали уголь, Вера уехала на Северный Урал с геологоразведочной партией. Поэтому Алеша спросил теперь:

— В самом деле на работу? Или так, на летние гастроли?

— На постоянную работу.

— Куда, если это не засекречено?

— В паровозное депо. Нарядчицей. Заменяю человека, который идет на фронт.

— Метишь в исследователи уральских недр, а поступаешь нарядчицей? — с нескрываемой иронией проговорил Алеша.— А геология?

— Откладывается до мирного времени.

— «Не хочу учиться, а ходу жениться»?

— Мне казалось как-то, что ты умнее.

— И не ошиблась. Почему же все-таки не едешь в Свердловск, в горный институт?

— Бросить маму одну?

— Мама не ребенок. И почему — одну? А я не в счет?

— О, был бы ты другим человеком, спокойно уехала бы. Но мама с тобой замучается. Какая от тебя помощь?

— Лирика! Если решают сделать что-то важное, о мамах не думают...

— А я так не могу,— задумчиво сказала Вера.— Потеряю год или два, пускай... А маму сейчас не оставлю. У нее в этом месяце было два сердечных приступа...

Алеша допил чай, вытер ладонью влажный лоб.

— Значит, решила — нарядчицей? Что ж, для женщины вполне подходящее дело...

Вера громко рассмеялась. Ее худенькие прямые плечи под легким голубым платьем вздрагивали и ежились.

— А для такого, как ты, мужчины не нашлось бы дела? Хотя бы в каникулы. Но некоторые мужчины предпочитают гонять мяч до потери сознания.

Когда она смеялась, вместо глаз оставались узенькие щелочки, в которых бились, трепетали острые зеленоватые огоньки. Алеша побаивался и не любил эти огоньки. Он встал, подошел к окну.

— Представь себе, эти «некоторые» скоро займутся достойным делом.

Вера перестала смеяться.

— Правда? Ах, чертенок, скрываешь от нас?

Засунув руки в карманы, Алеша прошелся взад-вперед, покосился на сестру:

— Зачем до поры до времени говорить.

— Тайна?

— Как хочешь.

— О, раз тайна, то я догадываюсь. Морская пехота? — и, взглянув на брата, засмеялась: — Угадала! Определенно угадала!

Алеша вызывающе поднял голову:

— Ты же доказывала, что у меня непостоянная натура.

Вера, смеясь, подняла руки:

— Беру свои слова обратно. Ты очень, очень постоянная натура! — смех душил ее, она бросилась на диван и, приложив руки к щекам и откинувшись на мягкую спинку, беззвучно хохотала.

Алеша смотрел на сестру осуждающе. Он мог бы осадить ее, но стоило ли перед разлукой ссориться, оставлять дурную память?

— Нет, с тобой серьезно не поговоришь,— сказал он разочарованно.— Пустосмешка. А еще норовит в работники депо!

Вера по-детски кулачками протерла глаза, поправила волосы и принялась убирать со стола. В самом деле, хватит заниматься пустяками, ведь ей нужно в депо.

— А Митя Черепанов? — спросила она, хозяйничая.— Митя, наверное, не собирается, он парень толковый...

— Митя не может быть бестолковым, поскольку он нравится тебе. И все-таки, представь себе, едет...

— Такие ребята! — упавшим голосом сказала Вера, сметая крошки в согнутую совочком ладонь.— Ужасно обидно...

Когда она подмела пол и вернулась, вытирая руки переброшенным через плечо полотенцем, Алеша подошел к ней.

— Я хотел тебя попросить...

— ...не говорить маме? — оборвала его Вера.— Стану я волновать ее из-за каких-то выдумок...

— Да я совсем не про то...— заискивающе произнес Алеша.— Почини мне штаны...

— Опять? На той неделе целый вечер провозилась.

— Не на той, а на позапрошлой,— осторожно возразил он, выставил вперед ногу и двумя пальцами приподнял штанину.— Позор. Тебе тоже должно быть стыдно.

— Мне? — Вера насмешливо сузила глаза.— А я почему-то не сообразила...

Брюки были серого цвета. Но и этот спасительный цвет не мог скрыть неизгладимые следы Алешиной неопрятности. Невозможно было даже предположить, что к ним когда-нибудь прикасался утюг, зато нетрудно было догадаться, какие серьезные невзгоды им довелось перенести. Сзади они просвечивали, словно папиросная бумага, на коленях безобразно выпучивались, и каждую штанину увенчивала пышная бахрома из серых курчавых ниток.

— Разве я виноват, что такая слабая материя?

— Никакая материя не выдержит, если ею подметать тротуары. Думаешь, не знаю, отчего эти висюльки? Морской клёш изображаешь. Не буду чинить! — решительно закончила Вера.

«Ух, змея зеленоглазая!» Алешу ошеломила убийственная наблюдательность сестры. Но у него не повернулся язык, чтобы возразить ей.

— Ладно, не нужно,— почти жалобно проговорил он и отпустил штанину.— Ничего. Так всегда бывает: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Сейчас тебе все равно, а уеду — пожалеешь...

— Еще одно слово — и я зареву! — притворно-плаксивым голосом сказала Вера, взглянула на брата и, подумав, добавила серьезно: — Надеюсь, сегодня ты еще не отбываешь на фронт? А вечером, так и быть, сделаю. Учитывая твое бедственное положение. Только условие: когда поедешь, предупреди. Договорились?

«Нашла дурачка!» — мелькнуло у Алеши. Он спросил игриво:

— Проводы устроишь?

— Как бы не так! У меня, знаешь, какой расчет? Дальше Сортировки ты, понятно, не доедешь. Там тебя благополучно высадят, и ты начнешь добираться домой. А мама тем временем будет беспокоиться о милом сыночке и может неудачно сделать операцию. Но, если я буду знать, когда ты выехал, я ей скажу, что ты с ребятами на экскурсии. Понял? А потом сыночек явится собственной персоной. Что, плохо придумано?

— Гениально! — кисло усмехнулся Алеша.

НАХОДКА

Сборы в дорогу Митя вел в строгой конспирации, хотя бояться, в сущности, было некого.

Тимофей Иванович дома бывал редко. Когда началась война и нужно было увеличить количество маршрутов на запад, а паровозных бригад не хватало, Тимофей Иванович предложил закрепить паровоз только за одной его бригадой. Обычно к каждому паровозу прикреплены две бригады, которые чередуются между собой. Машинист Черепанов, его помощник и кочегар приняли на себя двойную нагрузку, зато высвободили одну бригаду. Теперь в Горноуральском депо так работали многие паровозники.

Черепанов приводил поезд в Горноуральск, а здесь его уже ожидал новый состав. Времени между поездками иногда выпадало меньше, чем требовалось на дорогу от депо до дома. И почти всегда в таких случаях возле паровоза оказывалась Марья Николаевна, невысокая, тоненькая, с голубыми тревожными глазами. Она поднималась в будку, расстилала на железном ящике газету, доставала из корзины алюминиевую кастрюльку с горячим супом, хлеб, завернутый в вышитую белоснежную салфетку, и, пока Тимофей Иванович ел, рассказывала о домашних делах, о Леночке, о Егорке, о Митиных отметках и своей работе.

Домой Тимофей Иванович являлся не чаще двух-трех раз в неделю. Марья Николаевна целыми днями просиживала за машиной. Леночка работала диспетчером отделения дороги и в доме была гостьей: утро ее уносит, вечер приносит, как она сама говорила. Даже Егорка не представлял для Мити опасности: его на весь день уводили в детский сад.

В ящике Митиного стола уже хранилось все необходимое для человека, отправляющегося на фронт: немного сухарей, позаимствованных из небогатого маминого запаса, билет ученика 9-го класса «А» Черепанова Дмитрия, кружка с отбитой эмалью и алюминиевая ложка. Недоставало только рюкзака.

Вспомнив, что у Вани был когда-то хороший рюкзак, Митя решил произвести раскопки на чердаке.

Железная лестница была холодная и мокрая. Капельки росы, густо усыпавшие металл, словно пропитались ржавчиной и отсвечивали йодом.

Взобравшись на чердак, Митя вытер о штаны руки и огляделся.

На чердаке было сумрачно, пахло горьковатым дымком и пылью, от дымохода тянуло сухим и душным теплом, под ногами оглушительно хрустел шлак.

Вот и она, глубокая плетеная корзина со старьем. Чего здесь только не было: сапоги без голенищ, старомодные дамские ботинки, дырявые валенки, промасленная куртка, с которой были срезаны пуговицы, детские парусиновые туфли со сбитыми носками и крохотные сандалии. Отсутствовало, как обычно, лишь то, что Митя искал. Напрасно он перепачкался, роясь в пыльном и затхлом тряпье, напрасно потерял время.

Без всякой надежды заглянув напоследок в корзину, Митя приметил на дне ее что-то похожее на одежду. Он вытащил эту вещь и, зажмурившись, сильно встряхнул несколько раз. Осмотрев находку, тихо ахнул: в руках у него был мешок. Грубоватая прочная материя линялого зеленого цвета, лямки, скрученные веревками,— все говорило о том, что это воинский заплечный мешок.

В нижнем углу его была небольшая дыра, скорее всего не пробоина, полученная в бою, а след мышиных стараний, но как бы то ни было, изъян не нарушил радостной ценности находки.

Чей же он, этот мешок? Кто носил его за плечами? Как попал сюда? На дне корзины он увидел кожаный картуз с потрескавшимся, разрисованным малахитовой плесенью донышком и сломанным козырьком.

Митя хотел было швырнуть старье обратно в корзину, но воспоминание удержало его. В толстом альбоме с потрепанными углами и медной застежкой есть желтоватый, блеклый снимок: отец в кожаном картузе, лихо надетом набекрень, в сапогах с высокими, закругленными у колен голенищами стоит возле бронепоезда...

Сомнений быть не могло — Митя держал в руках картуз машиниста бронепоезда Тимофея Ивановича Черепанова. Значит, и мешок тоже отцовский, с тех времен?!

Но раздумывать было некогда. Быстро спустившись с чердака, он кое-как зашил дыру, выстирал мешок в бочке с дождевой водой, пахнущей болотом, и разостлал на крыше. Мешок сделался светлее, податливей; после стирки стало особенно видно, что он стар.

А в поисках полотенца Митя сделал не менее ценную находку. На дне одного из ящиков комода, под бельем, лежала картонная папка с черными завязками. В папке оказались документы отца, пожелтевшие, ветхие бумаги. Чернила на многих

выцвели, и с первого взгляда казалось, будто написаны они на чужом, незнакомом языке.

Взяв папку к себе, Митя принялся читать. Одна старая бумага особенно взволновала его. Когда он перечитывал документ, наверное, в третий раз, в столовой вдруг раздался голос отца.

Митя успел бросить папку в ящик стола, и в тот же миг дверь в комнату отворилась.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРТЕЖ

— Вечер добрый, сынок.

Поспешно задвинув ящик, Митя поднялся.

Всякий раз, возвратившись после трех-четырехдневного отсутствия, Тимофей Иванович ставил в прихожей свой железный сундучок и, потирая руки, ходил по комнатам, внимательно заглядывая в каждый уголок, расспрашивал Егорку о домашних событиях и лишь после «обхода» переодевался.

Видно, Митя сильно увлекся бумагами: отец уже был в растоптанных сандалиях и поношенном узковатом пиджаке, из которого будто вырос...

Митина комната, когда-то отведенная для сыновей, была так мала, что, сидя за столом, легко достанешь книгу с этажерки, стоящей в углу, откроешь окно, а наклонив стул, дотянешься и до двери. Когда же сюда заходил отец, комната делалась еще теснее.

— Чем занимаешься? — спросил Тимофей Иванович.

Митя посмотрел на стол и, не обнаружив ни одной раскрытой книжки, сказал, что отдыхает.

— И то дело, Митяй. Припасай силенок, в десятом классе сгодятся...

Смуглое лицо его побрито, отчего резче обозначились глубокие, запеченные на студеном ветру морщины. Короткие русые, как и у Мити, волосы влажны после душа; в них просвечивают прямые и частые бороздки, оставленные расческой. В глубоких черных глазах, слегка обведенных несмываемой копотью, мерцает не то печальная, не то рассеянная улыбка, появившаяся после известия о Василии Черепанове. Но это «Митяй» означает, что настроение, в общем-то, неплохое, что на работе у него полный порядок.

Митя пододвинул стул, спросил, как прошла поездка. Тимофей Иванович присел.

— Вполне удачно, Митяй. Уголька сберегли порядком, вес подняли солидный, скорость показали хорошую. И еще один момент. Сейчас доложу тебе...

Он похлопал себя по карманам, вспомнил, что на нем до-

машний пиджак, и вышел. Через минуту вернулся, не спеша листая страницы записной книжки в черном клеенчатом переплете.

Руки у него большие, бронзово-коричневые от загара, с красивыми длинными пальцами и розовыми ногтями.

Чего только не умели эти руки! Они твердо лежали на регуляторе или реверсе, могли творить чудеса, орудуя за слесарными тисками. Но, когда к ним попадала какая-нибудь маленькая вещь, они становились неуклюжими и робкими. Книжечка была определенно мала для них, и руки, словно опасаясь своей силы, осторожно нащупывали и переворачивали странички.

— Вот,— Тимофей Иванович ладонью прикрыл книжку.— Ну-ка, где наша писанина?

Митя достал с этажерки сложенную вчетверо «Правду»; в ней, как в папке, лежала тетрадь, исписанная его ровным, округлым почерком, и небольшие чертежи на листках из альбома для рисования.

То, что Тимофей Иванович называл писаниной, было его рационализаторским предложением. Месяца два назад у него «вызрела думка»: как без особого труда, не надрываясь, «лечить» греющийся тендерный подшипник. Беда эта обычно приключается в пути, вдали от депо, и проклянешь все на свете, пока избавишься от нее...

Тимофей Иванович попросил тогда Митю переписать начисто свои заметки и сделать чертежи. Но перед этим объяснил ему смысл приспособления.

Он впервые говорил с сыном о деле и не то чтобы тревожился, но с интересом присматривался, доходит ли до Мити рассказ, разбирается ли парень, не пустая ли это затея.

Первое, что заметил Тимофей Иванович,— Митя умел слушать. Когда же сын задал несколько вопросов, из которых явствовало, что он все понял, Тимофей Иванович подумал с радостью: «Паровозник! Прирожденный паровозник!»

— Ну, как считаешь, верная моя мысль? — спросил он, стараясь не показать своей радости.

— По-моему, все верно,— серьезно отвечал Митя.— Но я бы еще посоветовался с каким-нибудь инженером...

«Скажи, какой рассудливый!» — подумал Тимофей Иванович.

— Это резон. Только сначала, брат, сами все проверим, сами себе докажем, а тогда уже передадим инженерии.

Задание пришлось Мите по душе — он вообще любил рисовать, чертить.

Тимофей Иванович остался очень доволен первым чертежом. Вернувшись из поездки, он нашел его у Мити на столе, сын в это время был в школе. Щурясь от удовольствия, Тимофей Ива-

нович долго разглядывал чертеж, подносил его к лицу, смотрел издали и прищелкивал языком.

Потом осторожно взял чертеж обеими руками и понес показать его жене.

— Ты только погляди, Маня. Ты погляди, какая работа...

Марья Николаевна отложила шитье... Бледное, озабоченное лицо ее осветила улыбка:

— Чистенько.

— «Чистенько»! — добродушно передразнил Тимофей Иванович.— Тут всего человека видать, если хочешь знать. Верный глаз, рука твердая, старательность...

Он прибегал к помощи грамотея-сына вовсе не потому, что не мог обойтись без этого. Тимофей Иванович обращался к сыну с тайной мыслью «прирастить» его к железнодорожному делу.

Он побаивался, как бы что-нибудь не спугнуло этой Митиной привязанности к паровозу. «Сердцем прирастет к делу, тогда ничем его не отдерешь»,— размышлял Тимофей Иванович.

Вот почему, нарушая существующие на дороге правила, несколько раз брал Митю с собой в поездки, нагружал заданиями, советовался с ним...

Сегодня, впервые за целую неделю вспомнив о «писанине», он просмотрел чертежи и протянул сыну записную книжку.

— Понимаешь, Митяй, кое-что мы с тобой не додумали. А как сработает наше приспособление в таком положении? Задачка? Ночью в поездке до меня дошло. Эскизик вот намалевал. Разбираешь? Тряско на паровозе, да и рука у меня того... тяжелая на эти вещи. Давай-ка изобрази, сынок. А я не буду тебе мешать.

Он провел пятерней, словно огромной гребенкой, по Митиному ежику и вышел. А Митя достал из ящика готовальню, снял со стены линейку и прилежно склонился над белым листом.

«Последний чертеж»,— подумал он. И вдруг стало жаль расставаться с этой работой, и с отцом, и с этой комнаткой, и вообще со всем-всем, что окружало его в жизни...

«ЗАВТРА В ДВАДЦАТЬ НОЛЬ-НОЛЬ»

— Я думал, он сборы заканчивает, а он пустяками занимается!

Митя удивленно вскинул голову: он не слышал, как в комнату вошел Алеша.

— Пустяками? Знаешь, какое это дело? Садись,— и он стал объяснять другу смысл того, что чертил.

Алеша слушал с сонным равнодушием, в глазах его отразилась такая скука, что Митя махнул рукой:

— Подожди минутку, мне тут немного...

Пока Митя чертил, Алеша передал разговор с Верой. Эта «зеленоглазая змея» разгадала их тайну и даже придумала, что скажет матери, когда исчезнет сынок.

Однако о словах Веры, касающихся Мити, Алеша умолчал, опасаясь, что они могут оказать на него разлагающее действие.

Митя слушал настолько внимательно, что провел лишнюю линию.

Пришлось прибегнуть к резинке...

— Что-то ты молчаливым стал,— сказал Алеша, закончив рассказ.— Не скис?

Вместо ответа Митя достал из-за этажерки вещевой мешок и, покосившись на дверь, протянул Алеше. Тот оглядел мешок, иронически сложил губы:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Не понимаешь?

— Мешочек, честно говоря, так себе... А больше ничего не понимаю.

— По-моему, батькин. Еще с гражданской...

— Да? — безучастно вымолвил Алеша.— Ветеран, значит. А видок у него бледненький,— и снова без интереса и уважения посмотрел на мешок.

Едва сдержавшись, чтобы не бросить едкое слово, Митя положил мешок на место, вытащил из ящика папку и отыскал желтую, изорвавшуюся на сгибах бумагу.

— Ну-ка, почитай. Что ты теперь скажешь? — он сел на кровать, с горделивым спокойствием следя за Алешкой.

В документе говорилось, что Тимофей Иванович Черепанов, член Российской Коммунистической партии большевиков, в одна тысяча девятьсот девятнадцатом году был машинистом бронепоезда «Красный Урал», освобождал Урал от Колчака и показал себя как сознательный и храбрый боец с белыми, что подписями и печатью удостоверяется.

— Это да! — выдохнул Алеша.

— Надо взять с собой, верно? — оживился Митя, бережно складывая листок. — Такая бумага может сыграть...

Алеша задумался. Он понимал: документ чудесный, взять его, конечно, стоит, но ведь у него, у Алеши, такой бумаги нет, значит, они окажутся в неравном положении...

— Бумага хорошая, да не твоя, — тихо заговорил он, глядя в пол. — Люди еще и посмеяться могут. «Батька, мол, у тебя сознательный и храбрый, а ты-то какой? Может, ты такой храбрый, что ночью на улицу боишься выйти, не то что, к примеру, по лесу пройти или по кладбищу».

Митя подавленно молчал, Алеша же, увлеченный своей мыслью, заерзал на стуле.

— Слушай, а ведь это идея — пройтись ночью по кладбищу.

— Зачем?

— Проверить себя.

— Я смотрю — тебе бы еще на «Грозном Урале» воевать...

За окном стемнело. Митя задернул занавеску и хотел было включить свет, но Алешка остановил его.

— Не надо,— сказал он заговорщически.— Давай решать, когда едем.

После короткого совещания решено было выезжать завтра. Мимо Горноуральска днем и ночью идут эшелоны на запад, на фронт. Пока такой эшелон стоит на станции, можно пристроиться в тамбуре и отлично докатить до прифронтовой полосы, а там недалеко и до передовой.

Если же случится, что их высадят в пути, не беда: поезда бывают не только прямого сообщения, — придется сделать пересадку и ехать дальше...

— Сегодня ночью сверяем по радио часы, — оживленно проговорил Алеша. — А сейчас пойдем прогуляемся напоследок...

В столовой никого не было. На кушетке сложенные стопками лежали готовые гимнастерки, в сумерках поблескивали золотистые пуговки. Алеша тронул Митю за локоть:

— Примерить бы, а? Как нам в форме.

Митя колебался недолго.

— Быстренько только, — прошептал он.

Спустя минуту они стояли перед дверью шкафа, подталкивая друг друга локтями: вдвоем в зеркале не помещались.

На Мите гимнастерка сидела мешковато. Он собрал ее на спине и показался выше и стройнее. Алеше гимнастерка пришлась почти до колен, он попросту утонул в ней. Кисти рук исчезли в рукавах, и оттого вид у него был неуклюжий, беспомощный.

Митя посмотрел на друга и засмеялся, прикрыв рот ладонью.

— Голова! — обиделся Алеша. — Эта гимнастерка одному только Илье Муромцу подойдет. А нам подберут по росту, факт...

Внезапно их ослепил неяркий электрический свет.

— Это кто тут моей продукцией распоряжается? Ах вы, шкодники этакие! — певуче проговорила Марья Николаевна.

Ребята стояли посреди комнаты смущенные и растерянные.

Марья Николаевна оглядела каждого, притронулась к Алешиным, потом к Митиным плечам и, задумчиво склонив голову набок, улыбнулась:

— Да, раненько вырядились. И одежонка показывает, что раненько...

Друзья переглянулись. Во дворе Алеша с упрямым задором сказал:

— Ну, это еще будет видно, раненько или не раненько!

Улица Красных зорь, широкая, ровная, обсаженная березами и похожая на аллею, была одной из самых красивых в поселке.

Но Митя почему-то заметил это только сегодня. Только сегодня почувствовал, что ему милы и мостовая с пробившейся меж серых булыжников травой, и домики с узорчатыми наличниками и цветами на окнах, и весь Горноуральск, размашисто и чудесно открывавшийся с горы.

Где-то в другом конце города глухо ударил взрыв. За ним — второй, третий. В горах, окружавших город, прошел раскатистый гул, казалось, под ногами слегка покачнулась земля: это на горе Крутихе взрывали породу.

— Прямо артиллерийская пальба, — заметил Алеша. — И небо-то, смотри, как над полем боя...

Небо было такое, как всегда над Горноуральском в ночную пору: раскаленное, жарко-багровое, тревожное, оно полыхало, подожженное высоким, неугасающим заревом домен. Сильные отсветы огня, пробившиеся из огромных окон металлургических цехов, трепетали на облаках.

Сегодня зарево было ярче и больше прежнего: на днях горноуральцы задули новую домну.

Митю охватило чувство не испытываемой ранее гордости за родной город, где все так живо напоминало о войне, о фронте.

Молча побродив по городу, друзья вышли на привокзальную площадь. Здесь Алеша остановился, отрывисто сказал:

— Пока. Завтра в двадцать ноль-ноль. Без опозданий. А я на «проверку».

Митя попытался задержать его, но Алеша приложил к козырьку два пальца и быстро зашагал в сторону кладбища.

Долго шел он светлой и довольно людной улицей, постепенно устремлявшейся в гору. Потом началась другая улица, узкая, полутемная и почти безлюдная. Никогда еще он не испытывал такого недостатка в чужих, незнакомых людях, именуемых прохожими. Шаги его отдавались в тишине одиноко и тревожно.

Впереди, на холме, в густой зелени показалась каменная церковь; небо окрасило ее в бледно-розовый цвет. Там, за каменной оградой, в лесочке, было городское кладбище.

Медленно вошел Алеша в церковный двор, выложенный плоскими плитами серого камня, огляделся. От тяжелых каменных ступеней паперти в обе стороны ветвились широкие дорожки.

Он выбрал ту, которая была по левую руку: ему показалось, что там светлее.

Позади что-то хрустнуло. «Наверное, ветка», — подумал он. Но обжигающе-холодная волна пробежала от головы до пяток. Алеша до боли сжал кулаки и, чтобы не греметь каблуками по твердой каменистой дорожке, пошел на цыпочках. Когда он успокоился, сбоку что-то пискнуло, остро и протяжно. Не отдавая себе отчета, Алеша быстро нагнулся, нашел камень и замер, прислушиваясь. Что бы это могло быть? Не иначе, какая-то

птица, возможно, сова. Стоит ли обращать внимание на всякие пустяки?

Он с трудом заставил себя двинуться дальше, однако камень не бросил. Эх, надо было свернуть не налево, а направо, здесь не так уж светло...

Дорожка суживалась. Алеша старался держаться середины ее, но железные и деревянные кресты, каменные плиты и земляные холмики все ближе подступали к нему.

От далеких паровозных свистков он вздрагивал. Ему непреодолимо хотелось оглянуться, но он не мог повернуть голову, не мог пошевелить рукой, страшно отяжелевшей от небольшого камня.

Дорожка плавно свернула влево. За темными стволами деревьев неожиданно поднялось что-то высокое и белое; Алеше почудилось, будто кто-то огромный, широко раскинув ручищи, движется прямо на него...

Он вскрикнул и бросился назад. Через минуту понял: чудовище это — обыкновенный каменный крест. Однако остановиться уже не мог, вылетел из церковной ограды, не заметив, как чья-то тень промелькнула впереди за старой толстой сосной.

Алеша бежал почти до привокзальной площади. Только здесь он вспомнил о камне, который держал в руке, и кинул его за изгородь сквера. Вытер влажный лоб и устало потащился домой.

«Было бы это боевое задание, все вышло бы совсем по-другому, — размышлял он. — К тому же на фронте человек при оружии, не то что тут...»

СОМНЕНИЯ

Все утро Митя не отходил от отца. Но после завтрака в калитку постучалась рассыльная: Тимофея Ивановича просили немедленно явиться в партийный комитет.

Как только Митя остался один, ему сразу сделалось беспокойно: видно, Алешка все-таки твердый, постоянный человек, решил — и никаких сомнений. А у него семь пятниц на неделе. Вечером уверен, что поступает правильно, а утром кажется — он не на той дороге. Скорее бы уж условленный час, и не болтаться от решения к решению! Но время летит без оглядки, когда на письменной по математике у тебя не выходит задача. А если приходится ждать, оно тянется так, что с ума можно сойти.

Будильник напоминал раздавшегося вширь человечка с поразительно маленькой головкой-звонком и короткими тонкими ножками. Он был стар, работал только в лежачем положении и все же никогда не врал. Но Митя не верил ему сегодня. Впрочем, и стенные часы, висевшие в столовой, не могли утешить: время ползло черепашьим шагом.

Наконец он нашел способ «подогнать» время: старательно подмел двор, приколотил висевшую на одном гвозде доску в заборе, смазал керосином петли на входной двери, чтобы не скрипели, полил цветы на окнах, потом вспомнил, что крыша в будке Жука стала протекать.

Пес вертелся возле него, благодарно виляя пушистым хвостом.

— Сейчас отремонтируем твой дом, — приговаривал Митя. — Дело, Жучок, к осени идет... А я уезжаю. Небось заскучаешь без меня...

Ему стало грустно, а на Жука эти слова не произвели ни малейшего впечатления — пес по-прежнему жизнерадостно мотал хвостом.

Митя оглянулся, испугавшись, что разговаривает чересчур громко.

Но почему он боится, почему прячется? Не потому ли, что делает необдуманный, неверный шаг?

Закончив ремонт собачьей будки, Митя предложил матери свои услуги. Как и большинство людей его возраста, он считал, что самое скучное и неподходящее для мужчины занятие — это хождение в магазины. Но чего не сделаешь, чтобы скоротать время!

Он стоял у прилавка третьим, когда в магазин влетел коренастый юркий паренек — быстрые черные, как у цыгана, глаза, маленький, аккуратный, весело вздернутый нос, чернявый мягкий пушок над пухлыми розовыми губами. На цыгански смуглом лице паренька темнели отпечатки измазанных мазутом пальцев. Но не только лицо, вся одежда его — черная, длинная и широкая, словно с чужого плеча; тужурка с металлическими пуговицами, брюки и форменная фуражка железнодорожника, щегольски сдвинутая набок, — была великолепно измазана машинным маслом и тускло лоснилась.

В руке у него был железный сундучок. Правда, неказистый, даже, можно сказать, неприглядный, с гвоздем, согнутым подковой, вместо замка, но, судя по вмятинам и царапинам, видавший виды сундучок.

По Митиным предположениям, паренек был не старше его. Не поднимаясь на носках, Митя видел масляные пятна на донышке его фуражки. И все же перед ним стоял настоящий рабочий человек.

Пока он с завистливым вниманием разглядывал паренька, тот успел подать продавщице хлебную карточку.

— И очереди-то нет, а ему вперед надо! — проворчал Митя.

Паренек бросил на него косой взгляд.

— Да, да, про тебя говорю, — вызывающе сказал Митя. — Уважать надо чужое время...

— Три ха-ха! — насмешливо воскликнул парень, пряча хлеб

в сундучок. — Это твое-то время уважать? А у тебя его нехватка, что ли?

— Уж ты шибко занятой!

— Смотри-ка, соображаешь!

— Потише, петухи! — крикнула продавщица.

Мите было стыдно перед покупателями, но другого способа затеять разговор с незнакомым человеком он не нашел.

— Интересно, чего это ты привязался? Чистюля! — беззлобно проговорил парень и хотел провести локтем по белой Митиной рубашке.

Митя вовремя отодвинулся. Впервые в жизни ему сделалось неловко за свою чистую одежду, за чересчур чистые руки. Наверное, только у бездельников бывают такие руки.

— Вымазался, как черт, и уже думаешь — рабочий! — сказал Митя, когда они вышли на улицу.

— А ты помозолься кочегаром, посмотрю я, какой будешь!

Паренек, по всей вероятности, был совсем не злой, даже огрызался беззлобно, с усмешкой.

Чтобы продлить разговор, Митя недоверчиво фыркнул:

— Вроде ты кочегар?

— Скоро в помощники переведут, — с чувством неоспоримого превосходства ответил паренек. — Человек с понятием угадает паровозника за километр и по одеже, и по всему, — добавил он, выставляя сундучок.

Слова эти задели Митю за живое.

— Разбираемся, не думай.

— Оно и видно.

— Один только ты железнодорожник!

— А может, и ты тоже?

— Представьте себе.

— Каким боком?

— А таким. У меня и отец, и дед, и прадед — все паровозники!

Парень захохотал и так запрокинул голову, что фуражка чудом удержалась на его голове.

— А бабушка твоя не ездила на паровозе? Видали, предками козыряет! А сам-то ты на железной дороге кто? Пассажир! Еще, может, безбилетный?.. — и он смеялся громко, весело, от души.

Удар был неожиданный и тяжелый. Смех этот мешал сосредоточиться, сбивал с толку. Конечно, можно сделать вид, что надоело слушать болтовню, повернуться и уйти.

Но это было бы малодушием.

— Глупо,— сказал Митя, успокоившись.— Сам сочинил глупость и доволен. И как таких пускают на паровоз?

— Пустили, как видишь. И, доложу тебе, неплохо езжу, справляюсь, — доброжелательно улыбнулся кочегар. — Даже благодарность имею от начальника депо...

— На какой серии работаешь? — открыто и простодушно спросил Митя, подошел поближе, щелкнул пальцем по сундучку, желая подчеркнуть свое миролюбие.

Парень поставил сундучок на землю, достал из кармана ножик, сделанный из слесарной пилы, вытер его о брюки...

— Пока объяснялся с тобой, жрать захотелось.— Повертев хлеб в руках, словно прикидывая что-то в уме, он осторожно, чтобы крошки попали в ладонь, отрезал тонкий ломтик, одним махом высыпал крошки в рот, а остаток хлеба спрятал в сундучок.

— На какой серии, спрашиваешь? — со вкусом жуя, сказал он. — Почти на всех переработал. Милое дело, скажу тебе, паровозная служба! Как пустишь машину, разгонишь курьерским ходом — только держись! Бывает, дух спирает от скорости...

— С каких это пор кочегары управляют паровозами?

— А мне машинист разрешает. Сам иной раз просит: «Миша, говорит, поведи машину, а я чуток отдохну...» И веду за милую душу...

— Далеко ездить приходится?

— Спрашиваешь? Чуть не весь Урал изъездил. К примеру, где Златоуст, знаешь?

— На карте видел.

— На карте! А мы сели — и махнули в Златоуст.

— Тебя, значит, Мишей зовут? — по-дружески спросил Митя.

— Ага, Мишка. Михаил Самохвалов. А тебя?

— Такую фамилию — Черепанов — слыхал? — с едва скрываемой гордостью проговорил Митя.

— Машинист Черепанов — твой батька?

— Именно.

— О, знатная фамилия! — уважительно и удивленно протянул Миша. — Как не слыхать...

— А род наш, будет тебе известно, идет от тех самых Черепановых.. Настоящий железнодорожник должен их знать... — добавил Митя.

Несколько лет назад, когда он высказал отцу свое предположение относительно происхождения их фамилии, Тимофей Иванович громко засмеялся: «Ишь ты, к кому в родичи полез, губа не дура! Не печалься, Митяй, но только родство это не установлено. Много на Урале Черепановых...»

Ответ этот не удовлетворил Митю: он был убежден, что родоначальники его фамилии — знаменитые Черепановы, которые жили и работали в этих краях. Они-то и передали потомкам и фамилию и любовь к паровозному делу. А если, как говорит отец, родство не установлено, то его невозможно и опровергнуть...

Вполне насладившись впечатлением, которое произвело на Самохвалова его сообщение, Митя спросил:

— Тяжело кочегаром?

— А ты думал, легко? Как перешвыряешь за поездку весь уголек из тендера в топку, узнаешь, что у тебя руки есть... Но зато важная работа. Недаром же к армии равняется...

— Как это — к армии?

— Очень просто. У нас ребята заявления писали в военкомат, чтоб на фронт, а военком вызвал и говорит: «Не имеем права призывать вас, товарищи. Ваша, говорит, работа равняется как на фронте». И точно, с какой стороны ни поверни... Думаешь, по случайности мы, железнодорожники, звезду носим, как и военные? — он постучал ногтем по красной звезде на черном околыше своей фуражки и цокнул языком.—Армия и транспорт — родные братья.

У Мити закружилась голова.

— Ты на паровоз пошел, чтоб фронту помочь? — горячо спросил он, взяв Мишу за руку.

— Как тебе сказать. И это было. И еще другое. Батька мой раньше слесарил в депо, а вернулся с фронта без руки. На пенсии сидит. Мать одна работает. А у меня еще братан меньшой. Я думал: закончу десятилетку, в транспортный подамся. А пришлось, видишь, отодвинуть свой план. Из ремесленного — прямо на паровоз...

— С твоим заработком дома легче? — участливо поинтересовался Митя.

— Главное — снабжение, рабочая карточка. Ну, и на заработок, понятно, жаловаться не приходится. Если бригада дельная, старательная, про заработок можешь не беспокоиться. А у нас бригада во! — он показал большой палец. — Фронтовая...

— Как узнать, какая бригада?

— Поработаешь — узнаешь, иначе как же? Да ты, я вижу, что-то больно интересуешься. Не надумал ли, товарищ железнодорожник, тоже на паровоз?

— Все может быть...

Пока они с Алешкой думали действовать, этот паренек уже действовал, помогал. «У меня еще братан...» А как он хлеб резал! Высчитывал, наверное, чтоб никого не обидеть. А они с Алешкой сидят на шее у родителей, на всем готовеньком. Пассажир! Да еще безбилетный...

— Взяли бы на паровоз? — доверительно и взволнованно спросил Митя.

— Кого, тебя? — Миша Самохвалов отступил на шаг, окинул его оценивающим взглядом, пощупал свой узенький, ощетинившийся редким чернявым пушком подбородок.

— А что? Из тебя может выйти паровозник, — проговорил

он, с трудом сохраняя серьезный вид. — Люди нам нужны. Попросись, может, возьмут. Только учти: пока выучишься на кочегара, я уже в помощники перейду.

— А мне-то что до этого?

— Очень просто. Вдруг попадешь на мою машину, трудненько придется: я работу люблю спрашивать. Так что держись, браток!

Миша весело засмеялся, вскинул к глянцевому козырьку ладонь: «До встречи!» — и пошел, легко и небрежно размахивая сундучком.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ?

Отец ходил по комнате, расправив плечи, спрятав за спину руки. На нем был темно-синий китель с белыми блестящими пуговицами и орденскими планками, который он надевал по праздникам, и сапоги, начищенные до такой степени, что в них можно было смотреться.

Мать, закатав до локтей рукава кофты, месила тесто. Увидев Митю, засуетилась, поспешно вытерла о фартук руки, заглянула в печь. Глаза у нее были красные, может, оттого, что в них отражалось пламя.

С тех пор как началась война, мать ни разу не затевала стряпню. Митя однажды размечтался о шаньгах, и она сказала, что у нее есть горстка муки, которую бережет «на крайний случай». Так неужели этот случай пришел?

Мать определенно избегала его взгляда. Что произошло в доме, пока его не было? Почему мать возится с тестом? И почему она такая?

В комнату вбежал Егорка.

— Смотри, что я нашел! — На его потной ладошке с черными от грязи складками блестел стальной шарик.

— Что это делается у нас, Егор? — спросил Митя, взяв племянника за плечи.

— Пельмени, — серьезно ответил малыш.

— Да не о том я. Что случилось? Бабушка почему расстроена?

— Откуда я знаю? — шмыгнул носом Егорка. — Я ничего не сделал... Смотри, какой шарик...

Митя, махнув рукой, направился в столовую. В дверях он столкнулся с отцом.

— В шахматы срежемся? Кажись, так ты говоришь?

— Можно, — вяло ответил Митя и, доставая с этажерки коробку, мельком взглянул на будильник, подумал: «К Алешке успею».

— Мать сказывает, хозяйством сегодня занимался?

— Было такое, — расставляя фигуры, сказал Митя.

— Молодцом! У меня совсем не хватает времени...

Тимофей Иванович всегда играл медленно, не спеша, тщательно обдумывая каждый ход. Во время игры много курил и мурлыкал под нос песни, старые и новые, грустные и веселые, какие приходили на память. Поблажек сыну в игре никогда не давал и неизменно выигрывал.

Сегодня Митя присматривался к отцу и плохо следил за игрой. Все шло как обычно, разве только отец был более серьезен и медлителен.

Тимофей Иванович любил наступательную тактику. Он и сейчас повел решительную атаку, но сын быстро разгадал его планы и перехватил инициативу.

Вскоре Тимофей Иванович проиграл пешку. Потом лишился слона. Митя даже подумал, не поддается ли отец. Но эта мысль рассеялась. На виске у Тимофея Ивановича вздулась тоненькая синеватая жилка, лоб сосредоточенно нахмурился и, казалось, еще круче навис над глазами. В пепельнице — большой чугунной ракушке — уже лежало три желтых махорочных окурка.

Заметив, что проигрывает, Тимофей Иванович помрачнел, перестал мурлыкать и сопротивлялся с яростным упорством.

Открывая окно, чтобы выпустить дым, Митя посмотрел на будильник: стрелки показывали четверть седьмого. Игра была в разгаре.

И Митя решил хитрить, чтобы побыстрее закончить партию. Он сделал заведомо ошибочный, пагубный для себя ход. Сейчас отец встретит коня, в два-три хода завоюет преимущество, обрадуется, запоет, и дело с концом.

Но отец не заметил его ошибки. Он выпустил на поле боя второго слона, который прикрывал королевский тыл. Явный промах. Никогда еще он так не играл! Да играет ли он сейчас, о шахматах ли думает, видит ли их?

Когда Митя окружил короля и отцу осталось признать свое поражение, он еще долго, наверное, минут пять, глядел на доску, подперев кулаками голову.

— Ты смотри, — проговорил он наконец, подняв на сына рассеянное, взволнованно-радостное лицо. — Выиграл ведь. Отца обставил! — Поднялся, ткнул Митю пальцем в пряжку ремня. — Насобачился же ты!

Митя улыбнулся: он больше двух месяцев не играл в шахматы.

Отец закинул руки за голову, потянулся, распрямил грудь.

— Хороша игра! Радость у тебя либо печаль — она мозги проясняет...

Хотел еще что-то сказать, но из столовой послышался голос матери:

— Тимофей! Гостя встречай!

«Что еще за гость?» — недовольно подумал Митя и следом за отцом вышел из комнаты.

То, что он увидел в столовой, поразило его больше, чем странное поведение матери и проигрыш отца. На столе, накрытом белоснежной накрахмаленной скатертью, стояло не пять приборов — для семьи, а больше. Посредине возвышался графин с водкой: ребристая пробка, переливаясь, сияла.

— Давно, видать, не был тут, пес не признал... — с одышкой проговорил гость.

— Порядком уж не заглядывали, Максим Андреич, — упрекнула Марья Николаевна. — Совсем нас забыли...

— Некогда все, некогда, Николаевна. Одна надежда — поживем долго: помирать тоже не будет времени... — он засмеялся, обнял Марью Николаевну, затем торжественно подал руку отцу.— Слыхал я, Тимофей Иваныч, слыхал. Вот и заявился...

Машинист Максим Андреевич Егармин, старенький, сухой и суетливый, казалось, постоянно торопится куда-то и чему-то тихонько ухмыляется; взгляд у него быстый, чуть прищуренный и колючий. Поглаживая жестковатые короткие усы, желтые от старости и табачного дыма, он прошел в столовую торопливой походкой.

— Здорово, Димитрий! — громко проговорил старик, внимательно, с усмешкой глядя Мите в глаза. — Какой, брат, парень, а? — он слегка откинул голову, не выпуская Митиной руки из своей, сухой и твердой. — Выгнало-то как! Ай-яй! Да я же его помню сосунком. И, ровно, не так давно это было...

— Года, года! Они побыстрей курьерского, — Черепанов не без гордости посмотрел на сына. — Присаживайся, Максим Андреевич.

Митя перебирал в памяти известные ему даты рождений и праздников — ничего не подходило. Он зашел на кухню, и опять ему показалось, что мать избегает встречаться с ним взглядом.

— Что это у нас такое, мама?

Она притворилась, что не слышит. Когда же Митя повторил вопрос, умоляюще подняла на него голубые тревожные глаза:

— Я тебя прошу, Димочка... Потом узнаешь...

НОВОСТЬ

Стукнула калитка, залаял Жук и умолк. Мать толкнула входную дверь.

На пороге стоял дядя Петя.

— Честь и почтение! Принимаете старого бродягу?

— А что поделаешь? — в тон ему ответила Марья Николаевна.

4 Заказ 464

Помощнику машиниста Петру Семеновичу Демьянову было за тридцать, но в характере его, во внешности, в привычках осталось еще столько юного, что в депо его называли только по имени.

— Слышишь, Тимоша, — строго пожаловалась Марья Николаевна, — Петя со своим хлебом и водкой в гости пожаловал...

— Что особенного? — завертелся Петя вокруг хозяйки.— Время-то какое. Я, к примеру, на горошницу ходил к Пермяковым — тоже свой хлебец прихватил. А горошница была знатная...

Положив большую свою руку Пете на плечо, Тимофей Иванович рассказал анекдот о ловкаче, который, приходя в гости, выкладывал на стол два кусочка сахару, завернутых в газетный обрывок, выпивал с ними чай, а уходя, брал два кусочка из сахарницы и отправлялся в другие гости «пить чай со своим сахаром...»

— Ты, часом, не у этого хвата выучился? — спросил Черепанов под общий смех.

Стенные часы пробили семь раз.

Тимофей Иванович пригласил гостей к столу. Егорка первым занял место. Митю отец усадил между Максимом Андреевичем и собой.

— Какой класс закончил? — наклонился к Мите старик.

Митя сказал.

— О, уже нас перешиб! — проговорил старик с доброй, задумчивой грустью. — А показатели какие имеешь?

— У нас документ имеется... — сказал отец.

— Дал бы глянуть...

— Где-то он спрятан у меня.

— Молодец, не хвастун, — сощурился Максим Андреевич. — Уважаю таких. А все-таки достань.

Митя принес табель. Максим Андреевич надел очки в коричневой роговой оправе.

— Особенный документ, — задумчиво сказал он, обращаясь к Тимофею Ивановичу. — Бесценная бумага. Тут, я вижу, плохих показателей не водится.

— Имеем надежду и дальше не сбавлять, — Тимофей Иванович значительно подмигнул Мите, как бы говоря: «Не подведи!..»

Марья Николаевна принесла блюдо с дымящимися пельменями.

— Закусывайте, пожалуйста, дорогие гости.

Тимофей Иванович сосредоточенно и неторопливо разлил водку.

— Максим Андреевич, вам слово, — сказал Петя. — По старшинству...

Старик поднял рюмку и, щурясь, посмотрел на свет.

— Говорить много не обучен. Одно скажу: верно решило начальство. Большая тебе честь, Тимофей Иваныч, и тебе, Петро.

Почетный маршрут. Счастливо доехать вам, товарищи, счастливо домой воротиться!

Старинные граненые рюмки сошлись над столом и тускло звякнули.

— А сына-то, сына забыл. — Максим Андреевич придвинул к Мите пустую рюмку, Тимофей Иванович наполнил ее. Митя поежился.

— Ничего, за отца выпей маленько, — подтолкнул его старик.

Еще раз все чокнулись. Митя закрыл глаза, хлебнул обжигающей влаги, напряженно думая: «Что за почетный маршрут? Куда собрался отец?»

— Славный гостинец повезете, — произнес Максим Андреевич. — Всего хватит, чтоб им панихиду справить...

Выбритые до синевы смуглые щеки отца с запеченными морщинами зарумянились, глаза блестели горячо и влажно. Он расстегнул китель и говорил чуть громче обычного:

— Эх, Максим Андреич, хочется полный расчет с ними сделать. За Василия, за всех...— Взглянув на Марью Николаевну, он осекся и только потряс в воздухе увесистым коричневым кулаком.

Митя понял: отец поведет эшелон на фронт.

Такие эшелоны уже не раз отправлялись из Горноуральска.

Но Митя понял не только это: отец радуется предстоящей поездке и прячет от матери свою радость.

— Завидно мне, Тимофей, — говорил тем временем Максим Андреевич. — Ой, до чего завидно, если б ты знал! Скинуть бы годочков эдак двадцать. Ведь ученые-то бьются, хотят человеку прибавку в жизни сделать. Да по всему видать, не поспеть мне под их науку...

Возле самого дома зашумела машина, хлопнула калитка. Жук залился свирепым лаем. Марья Николаевна, почти не присаживавшаяся к столу, пошла открывать дверь.

— Дома хозяин? — раздался в прихожей хрипловатый несильный голос. — О, да тут целое застолье! Здравия желаю, товарищи!

— Просим, просим, Антон Лукич, — обрадовался Тимофей Иванович.

Это был Непомнящий, начальник депо. Митю всегда поражало несоответствие между голосом и внешностью этого человека. Высокий, энергичный и быстрый («на пружинах», — говорили о нем), а голосок слабый и хриплый, с клекотом и присвистом, как у глубокого старика.

— Ровным счетом на одну минутку, люди ждут,— сказал начальник депо, садясь за стол.— Решил: заскочу, попрощаюсь, так сказать, неофициально. А завтра уж официальные проводы...

Петя наполнил рюмки. Начальник депо взял свою, шумно

отодвинул стул, поднялся быстро, повернул к Черепанову худощавое лицо с глубокими провалами на висках.

— Дорога, Тимофей Иванович, дальняя и ответственная. Надо быть совершенно спокойным в такой дороге. Так вот я и хочу, чтобы ты ни о ком, ни о чем не тревожился, не журился. Все будет в полном порядке, можешь на нас положиться...

Тимофей Иванович приложил руку к груди, поклонился:

— За нас тоже не беспокойтесь, Антон Лукич, не подведем Урал...

Теперь, когда все выяснилось, Митя, улучив момент, сказал отцу, что ему нужно к Алешке. Тимофей Иванович поглядел на него с незлым осуждением и спокойно сказал:

— Завтра я уеду, сынок. Посиди с нами...

Весь этот вечер Митя чувствовал какое-то особенное, настойчивое внимание отца. Тимофей Иванович все время был возле, Митя не раз ловил на себе его взгляд, строгий и добрый, и ему казалось, что отец то ли следит за ним, то ли ищет случая сказать что-то такое, чего никто не должен был услышать. Поэтому у Мити не возникло даже мысли тайком улизнуть из дому. Часы пробили половину восьмого. Начальника депо словно током ударило, он вскочил со стула, начал прощаться...

Митя вышел в свою комнату, бухнулся на кровать, зарылся головой в подушку. «Все пропало, уедет Алешка, уедет...»

В столовой задвигали стульями.

— Будем прощаться, — сказал Максим Андреевич. — Налей посошок, Тимофей. Чтоб все ладно было, чтоб встретиться нам вскорости!..

Митя вскочил. Сейчас наконец-то гости уйдут, он проводит их вместе с отцом — и к Алешке. Может, еще успеет...

Когда за гостями закрылась калитка, Тимофей Иванович обнял сына, заглянул ему в лицо:

— Разговор у меня к тебе, Митяй...

Так в обнимку они и вошли в дом и направились в Митину комнатку — в столовой Марья Николаевна занималась уборкой.

Тимофей Иванович опустился на стул, тяжело уперся руками в колени.

— Хотел поговорить с тобой, сынок, — начал он после молчания. — Ты здесь у нас и за меньшого и за старшого. И хочу я с тобой говорить не как с Митькой, а как с Дмитрием Черепановым...

«Больно высоко поднимает батя...» — беспокойно подумал Митя.

— Не могу с человеком разговаривать, если он глаза от меня прячет. Подними голову. Ну вот. Ты слыхал, уезжаю я...

— Сам поведешь эшелон? — встрепенулся Митя, словно впервые услышал эту весть.

— Две бригады поведут: моя и Королева Владимира Федо-

рыча. Если ладно все будет, недельки за две обернемся в оба конца. Так-то, сынок. Ты на это время — один мужик в доме. Дома глаз хозяйский нужен. Мать у нас хотя и не старенькая, а здоровьишко-то у нее неважное. Без твоей подмоги не обойтись. Семья, хозяйство все-таки, небольшое, да хлопотливое. Ленушка рада бы помочь, да видишь, как сама работает. Такие-то дела, Дмитрий Тимофеич...

Отец достал из кармана круглую алюминиевую табакерку, сложил желобком прозрачно-тонкий листок бумаги, насыпал махорки и начал вертеть папиросу. Желтые зернышки махорки посыпались на стол, на брюки: бумажка почему-то разорвалась. Он смял ее, бросил за окно и больше не стал свертывать папиросу, должно быть, забыл.

— Чертежики наши и записки сбереги. Ворочусь — доделаем. Как раз вчера инженеру Пчелкину рассказывал. Говорит, должно получиться.

— Все спрячу, не беспокойся, — заверил Митя.

Голова у него горела. Чувство гордой радости переполняло сердце: сколько в депо паровозников, а повести эшелон на фронт доверили Черепанову и Королеву.

Завтра об этом узнает весь поселок, весь город!

— Что же ты молчишь, сынок? Сказал бы что-нибудь батьке...

— Все будет... все будет, как ты сказал, — взволнованно пролепетал Митя.

На улице раздался негромкий острый свист. Отец не обратил на это внимания. Он закрыл табакерку, хлопнул по ней ладонью, медленно поднялся.

— Вот и все. Теперь мне спокойнее, теперь и ехать можно... Только смотри не возгордись, нос не задирай и мать слушай. Приеду, отчет с тебя спрашивать буду...

Не успел отец выйти из комнаты, как свист повторился. Теперь он звучал громче, острее, требовательнее. Алешка! Он здесь, он не уехал!..

РАЗРЫВ

Было уже темно. Неяркая дворовая лампочка скупо освещала часть двора.

У калитки стоял Алеша; Жук бил его по ногам пушистым хвостом. Увидев Митю, Алеша двинулся к нему. Взгляд его исподлобья был грозен.

— Как это называется? — озлобленно прошептал он.— Предательство!

— Постой, не горячись. Я не успел тебя предупредить...

— Вот как! — глаза его блеснули сухо и злобно.— Все ясно!

— Слушай, Алешка, не то мы с тобой затеяли, — торопливо

заговорил Митя, боясь, что он оборвет. — Дурость это, честное слово! Ты только пойми. Самохвалов Миша — кочегаром на паровозе...

— Хватит, — насмешливо отрубил Алеша. — Сагитировали. Я, как дурак, приперся на станцию, почти договорился с одним сержантом. Мировой парень, обещал пристроить, даже подарил пакетик гречневой каши. Спрашивает: «Где же твой дружок?» А мой дружок нюни распустил...

Митя открыто, умоляюще посмотрел ему в глаза:

— Алешка, дай слово сказать! Вроде тебя завели. Подумай...

— Все обдумано, нечего крутить — едешь или не едешь?

— Никуда я не еду, — с облегчением выдохнул Митя.

— Так я и знал! — с торжествующим негодованием воскликнул Алеша и засунул руки в карманы.

— У меня отец на фронт уезжает.

— И что же? Твой только собирается, а мой воюет. Придумал бы что-нибудь потолковей.

— Я и без того решил. У меня другой маршрут...

— Знаем эти маршруты! У рака такой же маршрут — попятился, передрейфил!

— Я попятился? — Терпение у Мити иссякло. Алешка только обвинял и оскорблял, не желая выслушать.

— Трус! Вот ты кто!

— Храбрец нашелся! — дрогнувшим голосом сказал Митя.— Я не проверял свои нервы, но будь спокоен, не побежал бы ни с передовой позиции, ни с кладбища...

Алеша покачнулся, как от удара, выхватил из карманов руки, словно терял равновесие.

— Ах, так? — почти беззвучно протянул он.

— Да, именно так.

Но Алеша быстро поборол замешательство и метнул на Митю взгляд, полный презрения.

— Наплевать. Сиди под маминой юбкой, сами не заблудимся...— круто повернувшись, он быстро зашагал со двора и сильно хлопнул калиткой.

Жук неожиданно залаял ему вслед.

Митя присел на ступеньке крыльца. Есть над чем призадуматься человеку, поссорившемуся с другом. Это тяжело. Сколько чувств и мыслей о жизни, о людях, о дружбе внезапно обрушивается на тебя, и обжигают, и холодят, и больно ранят сердце...

Семь лет дружили они. Мать вспоминала недавно, как Митя впервые привел его в дом: «Это Алеша Белоногов, мой подруг».

До пятого класса они учились врозь: Митя был на год старше своего друга и опережал его на один класс. Но он заболел скарлатиной, пропустил всю последнюю четверть и остался на

второй год. В этом горестном событии была своя приятная сторона: Алеша догнал его, теперь они будут вместе.

И они везде и повсюду бывали вместе. В один и тот же день они вступали в комсомол, только Митю не приняли, и, когда шли с собрания, у Алеши был такой страдальческий вид, что, казалось, ему было бы легче, если бы не приняли и его.

Но нельзя сказать, чтобы они все время жили мирно. Случалось, и спорили, и дулись друг на друга, пересаживались на разные парты, и не разговаривали по нескольку дней. Был случай, когда дошло до рукопашной схватки. Всякое бывало, особенно на первых порах. Но связывала дружба. Казалось, крепкая, настоящая. Да настоящая ли? Дружба — это когда шагаешь вместе, в ногу, у тебя нет больше сил идти, и тебя подхватывает рука друга. Дружба — это когда шагаешь трудной дорогой, тебе непереносимо тяжело, но ты забываешь об этом, потому что друг выбился из сил и нужно помочь ему. Дружба — это уважение и согласие. Согласие и споры. Отчаянные, беспощадные споры, если друг сворачивает с дороги. Строгое согласие и добрая требовательность. Понятно ли это Алешке? Сколько наболтал он тут грубых, злых и несправедливых слов!

Митя поднялся, без всякой цели вышел на улицу. Жук поплелся за ним.

Откуда-то слышались звуки знакомого марша, который постоянно играли по радио после хороших сводок. Значит, освободили еще какой-то город.

От этих звуков, от сознания, что он избавился наконец от мучивших его сомнений, на душе сделалось покойно и легко...

А Тимофей Иванович после разговора с сыном вышел в столовую, остановился за спиной жены. Марья Николаевна снова уже сидела, склонясь над машиной.

Тимофей Иванович обнял ее, поцеловал в висок.

— Ох ты, моя номерная фабрика, надомница ты моя, опять трудишься...

— Если б не работа, еще трудней было бы ждать,— помолчав, сказала Марья Николаевна.

Он присел рядом, долго смотрел на бледное, знакомое до мельчайшей морщинки дорогое лицо, на тонкие проворные пальцы.

Она чувствовала этот взгляд, но не поворачивалась к мужу — боялась расплакаться.

— Так-то, Марьюшка... еду,— негромко проговорил Тимофей Иванович.— Может, хоть под конец войны и я свою руку приложу, душу отведу.

Она обернулась. Лицо у нее было не печальное, а скорее торжественно-строгое и решительное — выражение, столь характерное для простой русской женщины, когда в ее доме или в ее стране — все равно — наступила трудная минута.

— Верно поступаешь, Тимоша,— прошелестели губы, а глаза будто спрашивали: «Когда же свидимся?»

Она уронила пуговку. Та, звякнув, покатилась по полу. Тимофей Иванович поднял ее и положил свою большую теплую руку на руку жены. Так сидели они и молча смотрели друг на друга, беседуя без слов, вспоминая совместную жизнь, счастливую и беспокойную, состоявшую из расставаний и встреч...

— Здоровье, Марьюшка, не надсажай,— сказал наконец Тимофей Иванович.— Норму выполнила, и будет с тебя. Ночами не сиди.

— А ты-то сам на одной норме живешь?

Пробили стенные часы. Тимофей Иванович достал из кармана свои выпуклые большие часы с белой серебряной цепочкой.

— Где-то завтра ты будешь в этот час? — тихо промолвила Марья Николаевна.

Он не ответил. Тяжелые часы лежали на его широкой дубленой ладони и тикали на всю комнату, отмеряя время...

ВЫЗЫВАЛЬЩИК

Утром в калитку громко постучали.

Марья Николаевна отставила блюдце с чаем, посмотрела на мужа.

— Кузьмич,— сказала она с таким радостным облегчением, словно ждала этого стука.

За калиткой действительно стоял вызывальщик, высокий, немного сутулый старик с понурыми седыми усами и редкой бородкой.

Есть свои неписаные законы на каждом производстве, немало их и на железной дороге.

Так уж издавна повелось в паровозной службе: хоть бригада и знает, когда выходить в наряд, все равно к машинисту, помощнику и кочегару заблаговременно явится вызывальщик и напомнит номер поезда и час отправления.

И, когда бывалый паровозник оглядывается на гулко пролетевшие годы, он прежде всего вспоминает старика-вызывальщика, который объявил о первой в его жизни поездке...

Вызывальщики всегда почему-то старики. Молодые неохотно идут на эту работу, да и старики не желают уступить им столь ответственный участок.

В горноуральском широколинейном депо вызывальщиком был старик Кузьмич. С детства Митя помнил Кузьмича, и ему казалось, что вызывальщик всегда был таким же древним, как сейчас, что он и не был никогда молодым...

Каждый день его видели на улицах поселка. В домах у мно-

гих паровозников уже были телефоны, но Кузьмич заходил и сюда, не очень доверяя технике. Телефон телефоном, а надежнее оно, если видишь перед собой человека, которому сообщаешь важные вещи.

Собаки не терпели его, должно быть, из-за толстой суковатой палки. Мальчишки посмеивались над тем, что он зимой и летом ходил в огромных подшитых валенках и в ушанке.

Как-то, лет пять назад, когда Кузьмич забарабанил палкой по калитке черепановского дома, Митя вздрогнул от неожиданности и в сердцах обозвал старика огородным чучелом.

Тимофей Иванович вышел к вызывальщику, а вернувшись, сказал сыну:

— По валенкам да по ушанке нельзя о человеке судить — легко ошибиться...

Митя услышал тогда большой и печальный рассказ, после которого совсем по-другому стал смотреть на старика...

В восемнадцатом году, когда Горноуральск заняли колчаковцы, паровозный машинист Иван Кузьмич Ушаков был тяжело болен. Железнодорожный лекарь признал воспаление легких. Но через три недели машинист, похудевший, с острым лицом и синими подглазьями, явился к колчаковскому начальству: «Хочу приложить свои старания во имя спасения России». Скоро ему доверили ответственные маршруты, ставили в пример другим: «Вот это честный русский человек, пекущийся о своей Отчизне!»

Однажды ночью из депо тихо вышел паровоз, так же тихо, словно крадучись, выбрался на главный станционный путь, где в это время стоял эшелон с колчаковцами, замер на минуту и потом, быстро набирая скорость, ринулся к станции.

Стрелочник видел, как с паровоза выпрыгнул человек, упал, но мигом подхватился и, хромая, скрылся в темноте. Оцепенев от ужаса, стрелочник, вместо того чтобы перевести стрелку и направить паровоз на другой путь, кинулся в свою будку и почему-то запер дверь на засов. Но и сквозь закрытую дверь он услышал шипение пара, железный грохот обвала, протяжный треск и крики...

Той же ночью было установлено, что в воинский состав врезался паровоз, на котором работал машинист Ушаков, и что за час до происшествия Ушаков со своей бригадой вернулся из поездки. И хотя двое слесарей и деповский сторож видели машиниста Ушакова, когда тот уходил домой, а сторож показал, что даже позаимствовал у машиниста махорочки на самокрутку, Ивана Кузьмича поздно ночью привели в контрразведку.

Он остановился в дверях, спокойно осмотрелся.

Капитан с низким морщинистым лбом и большими, настороженно оттопыренными ушами смерил его подозрительным взглядом.

— Где ваш паровоз?

— Как это — где? — удивился Ушаков.— Из Екатеринбурга я воротился в двадцать три пятнадцать, сдал машину дежурному по депо — и домой, спать. Поездка трудная была, ухайдакался я...

— Спать, значит? — прищурился колчаковец.

— Так точно, спать.

В это время Ушаков переступил с ноги на ногу и, словно от боли, чуть присел, сморщился и закусил губу.

Капитан внимательно посмотрел на сапоги машиниста, мигом перевел взгляд на лицо. Большие оттопыренные уши шевельнулись, он вскочил со стула:

— Ну-ка, подойди сюда!

Машинист медленно двинулся к столу. Видно было, что он делал отчаянные усилия, чтобы не хромать, и все же сильно припадал на одну ногу.

— Почему ковыляешь? — закричал капитан; в злобных глазах его сверкнула догадка.— Отвечай! Быстро!

Ушаков смущенно усмехнулся:

— За картошкой в подполье лазил, зашибся...

— В подполье? А ну, разувайся! Разувайся, тебе говорят! — и он выругался.

Ушаков опустился на краешек стула, неторопливо стащил сапоги и поднялся.

— Косточку сильно зашиб...

Колчаковец взял со стола плетку и, стремительно подойдя к машинисту, стукнул его по коленям тугой кожаной рукояткой.

Ушаков вскрикнул и, рухнув на стул, схватился за правое колено.

— Косточка, говоришь, мерзавец? Задирай штаны!

На колене была свежая рана. Содранная кожа висела окровавленными лохмотьями, а нога вокруг раны затекла, набухла, сделалась темно-лиловой...

Допрос длился всю ночь. Ушаков молчал. На рассвете трое солдат бросили машиниста в мокрый подвал, пахнущий плесенью и мышами.

На утреннем допросе капитан рукояткой нагана угодил Ушакову в глаз. Его снова били, обливали из ведра и снова допрашивали.

Потом почему-то долго не трогали. Он лежал, избитый, закоченевший, не в силах повернуться, пошевелить пальцем.

И вдруг наверху загремели частые удары. Кто-то колотил железным по железу. Было похоже, будто сбивают с двери замок. «Ключ потеряли, что ли? Сейчас прикончат...»

Но это пришли свои: Красная Армия вышибла колчаковцев из Горноуральска...

Почти пять месяцев Иван Кузьмич отлеживался в больнице, больше года из-за кровохарканья пролежал дома. Вернуться на паровоз он уже не смог. Несколько лет был дежурным по депо, нарядчиком, а когда врачи запретили работать, упросил начальство и стал вызывальщиком. Зимой и летом у него страшно зябли ноги, один глаз был постоянно прикрыт тонким и сморщенным, словно кожица печеного яблока, веком, и оттого казалось, что Ушаков все время хитро щурится.

Он стучал палкой в калитки, в подоконники, и паровозники мигом угадывали Кузьмича и выходили к нему.

— Черепанову на сто двадцать первый, сегодня, в восемнадцать тридцать,— глухим, сипловатым голосом пробубнил старик, когда на крыльце показался Тимофей Иванович.

— Есть, Кузьмич. Понятно!

На этом обычно разговор заканчивался, и вызывальщик, опираясь на палку, шел дальше. Но сегодня он снял шапку, почтительно поклонился:

— Легкой дорожки тебе, Тимофей Иваныч. Дорожка-то неблизкая...

— Благодарствую, Кузьмич. Счастливо оставаться...

Вернувшись в дом, Черепанов негромко, задумчиво сказал жене:

— Ходит вот Кузьмич, стучит, будит. А мне иной раз сдается, что старый не просто на работу выкликает, а еще и напоминает вроде всем про те времена... Не забывайте, мол, товарищи, ничего не забывайте...

Марья Николаевна не ответила мужу. Стоя у окна, она думала о своем. То, что перед этой тревожившей сердце поездкой, как всегда, явился старик, немного успокоило ее.

МИЛАЯ ДЕВОЧКА

С утра нудно шумел дождь. Стекло было в крупных перламутровых брызгах, похожих на рыбью чешую. Лужа посредине двора кипела и пенилась, стеклянно-прозрачные пузыри вскакивали на воде и тотчас лопались.

Митя лежал с книгой, но не читал. Вспоминал проводы отца, митинг на площади. Думал об Алешке. Уехал он или образумился? А что, если сейчас к нему? В такой-то ливень?

Он понимал, что обманывает себя: конечно, не ливень сдерживал его, а еще свежая, не забытая обида. Самое лучшее — встретить бы Веру и узнать... Но что это? Может, ему мерещится?

Он вскочил с кровати и, прильнув к двери, перестал дышать.

— Чуть не загрызла меня, злюка!

«Она! Зачем она пришла? Случилось что-то?»

— Нет, Жучок наш не кусается,— проговорила Марья Николаевна.— Он только шумный, а незлобливый.

— Извините, что побеспокоила. Я сестра Алеши Белоногова. Знаете такого?

— Как не знать! Нашего Мити дружок-приятель. Тебя Верой, кажется, звать? Вон ты какая стала. Раздевайся. Промокла небось? Ну заходи, заходи...

— У меня туфли мокрые, я наслежу.

Митя облизнул губы и тихо отворил дверь.

Вера обернулась, по ее невысокому чистому лбу пробежала тень.

— Ты дома?

— Дома,— почти машинально ответил Митя. Ему почудилось, будто на него жаром дохнула раскаленная печь, так запылали щеки.

— А его нет,— сказала Вера и опустилась на стул.

— Алеши, что ли, нету? — всполошилась Марья Николаевна.

— Вчера ушел и не вернулся. Наверное, уехал все-таки...— Вера суетливо мяла кончик голубой косынки.

— Ничего не пойму, Верочка! Куда уехал?

— На фронт,— с отчаянием сказала Вера.— Без него, видите ли, армия не справится, а в тылу ему нечего делать...

— Спаси бог! — всплеснула руками Марья Николаевна.— Как же так? Кто ему позволил? Что за самовольство такое?

— Еще в прошлом году собирался. Я думала, и теперь так будет, не верила... Пропадет он там...— губы у нее задрожали.

Когда-то Алешка говорил Мите о своей сестре: «Язык — настоящая бритва, а сердце — уральский гранит. Легче из камня выдавить каплю воды, чем из нее слезинку...»

Нет, не знает Алешка своей сестры! Вот она заплачет сейчас, как обыкновенная девчонка.

— Маму жалко. Ночью просыпалась раза три: «Нет Леши?» Я придумала, что он в туристский поход ушел. Не верит...— она приложила косынку к глазам, и на легкой ткани сразу появились два расплывчатых пятнышка.

Марья Николаевна обняла прямые тонкие плечи Веры, и та совсем по-детски уткнулась головой в ее грудь.

— Ну, успокойся, моя девочка. Успокойся. Посидим, подумаем, потолкуем, как беде помочь. А тебе друг-приятель не сказывал про свою выдумку? — мать повернулась к Мите.

Вера могла бы ответить за него, но ей было интересно, что он за человек.

— Я знал,— негромко сказал Митя, ни на кого не глядя.

— Знал? — ужаснулась Марья Николаевна.— И никому ни слова? Ты ведь постарше, мог подействовать, вразумить...

— Мы вместе собирались.

Вера откинула за спину косу и посмотрела на Митю мокры-

ми сияющими глазами. Губы ее разжались и, как показалось Мите, одобрительная светлая улыбка задрожала на них.

Марья Николаевна выпрямилась, взялась за край стола.

— Ты тоже?

— Да.

— Горе мое горькое! — она приложила пальцы к побелевшим щекам.— Никогда не ожидала. Никогда. Считала, сын у меня — понимающий человек...

— Почему же ты отстал от дружка? — как будто с упреком спросила Вера. Она понимала, что Митя поступил правильно, и в то же время досадовала на него — почему отпустил Алешу одного, не отговорил, не удержал...

— Так получилось,— нахмурился Митя.— Потом я доказывал, уговаривал, да разве ему докажешь?..

— Когда видел его в последний раз?

— Позавчера.

— Позавчера и я его видела. А еще?

— Больше не встречались.

Марья Николаевна беспокойно взглянула на сына, но поняла, что он говорит правду. Вера помрачнела, тонкие пальцы ее снова засуетились, свертывая и распуская кончик косынки.

— К военному коменданту пойду... в милицию...

Забыв проститься с Митей, Вера направилась к двери.

— Подожди, Верочка,— сказала Марья Николаевна,— тебя Митя проводит, а то Жук опять напугает...

Дождь перестал. Лужа посреди двора светилась прозрачной голубизной. Было слышно, как с полированных листьев рябины перед домом осыпаются в траву тяжелые стеклянные капли.

За калиткой Вера остановилась.

— Правда, ничего не знаешь, или взаимная выручка?

— Слово даю! — Митя с жаром положил руку на грудь.— Да ты не переживай, честное слово. Все будет в порядке...

— Спасибо за утешение,— холодно произнесла Вера. Ее все-таки печалило и злило, что он не удержал Алешу.— Значит, сначала ты решился, а потом отстал?

— Когда увидишь, как плачет взрослый человек, мужчина,— и не на такое решишься,— после некоторого молчания сказал Митя.— Только я вовремя одумался...

Она внимательно посмотрела на него, потом спросила:

— А почему вы не виделись перед его бегством? Поссорились?

— Почти.

— Хороши!

Он почувствовал, что Вера сейчас уйдет, и, чтобы удержать ее, спросил:

— А ты не едешь в Свердловск, в институт?

— Нет. Я на работу поступаю.

— Да? По геологии?

Прошлым летом, когда Вера уехала на Северный Урал, Алешка говорил Мите: «Тихое помешательство на почве геологии. Чем бы дитя ни тешилось...»

Трудно было поверить, что вот этими маленькими ножками она исходила сотни километров, что она тонула в трясине (Алешка предупредил: мать по сей день не знает), что это лицо ел таежный гнус.

— Для геологии не пришло еще время,— сказала Вера, думая о чем-то своем.— Ну, пока! — она махнула рукой, круто повернулась, отчего разлетелись косы.

Глядя ей вслед, Митя решил, что у Веры походка гордячки: она шла неторопливо и плавно, высоко подняв голову и не размахивая руками. Как, однако, точно отражает походка характер человека!

Когда Вера стала приближаться к перекрестку, ему почему-то захотелось, чтобы она оглянулась. Но Вера скрылась за углом, не оглянувшись. Митя понуро побрел в дом.

Марья Николаевна на минуту оторвалась от работы:

— А дружок твой непутевый парень. Да и ты тоже... А Верочка-то, видно, умница. И милая какая!

— Ничего в ней нет милого! — выпалил Митя и покраснел.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА



Как-то в праздник, когда закончилась демонстрация и через площадь шли люди со свернутыми знаменами, с отгремевшими и закинутыми за спину жарко начищенными трубами, отец сказал Мите:

«А сейчас в гости с тобой подадимся...»

И они пошли мимо тихой зеленой воды городского пруда, за Лысую гору, в поселок Елань. Вероятно, это было давно, потому что отец держал его за руку.

Теперь Митя с трудом угадывал дорогу. Здесь и там среди черных поселковых домишек повырастали большие каменные здания, и Елань невозможно было узнать. В ту пору не было и в помине ни этого клуба с куполообразной крышей, ни этого дома с красивой каменной аркой...

Но какой-нибудь древний, ничем не приметный домик, или всего-навсего узорчатый карниз, или обыкновенное дерево на краю тротуара до мельчайших подробностей воскрешали в памяти далекий майский день.

Вот каменная коробка крепостной кладки, поросшая вверху бурьяном, с глубокими впадинами окон, перехваченными ржавыми, в руку толщиной прутьями,— демидовская тюрьма.

Мимо этого огромного камня, словно выросшего из земли на углу двух улиц, Митя проходил тогда с отцом. На камне сидел парень с черной курчавой, как у цыгана, головой, и кудри его касались гармошки. Он играл, а вокруг камня плясали парни и девушки.

А вон из того переулка вылетел мальчишка-велосипедист и, смешно ерзая в седле и едва доставая ногами до педалей, помчался прямо на Митю. Наверное, он бы сшиб его, если бы отец не потащил Митю к себе...

5 Заказ 464

Так шел он, вспоминая, узнавая и не узнавая дорогу, и уже начинал беспокоиться, найдет ли ее, как вдруг увидел в палисаднике перед бревенчатым домом две елочки, положившие на изгородь синеватые колючие лапы. Он вспомнил их, но тут же засомневался: и елочки и дом, казалось, были гораздо выше тогда. Сомнения исчезли, как только Митя отворил калитку и увидел по-старинному крытый уральский двор и чисто выскобленный желтый тротуарчик в три доски — от калитки до порога.

Дверь в дом была открыта, но Митя постучался. Из кухни с ножом и луковицей в руках выплыла Екатерина Антоновна, маленькая, полная старуха.

Он поздоровался, спросил, дома ли Максим Андреевич.

— А вы кто будете?

Он назвал себя.

— Митя! — Екатерина Антоновна обрадованно взмахнула руками.— Скажи на милость! Совсем ослепла, старая. Ну-ко, заходи. Сколько же я тебя не видала? Вытянулся-то как! Молодцом.

Она торопливо расспрашивала об учении, о родителях, о семье покойного дяди Васи. Митя отвечал односложно, нетерпеливо. Чего доброго, целый час будет расспрашивать, а потом объявит, что Максим Андреевич на работе.

Когда он совсем отчаялся, женщина, взяв его за руку, привела в столовую, а сама пошла звать «своего старика», который, по ее словам, «копался» в саду.

В столовой было прохладно. На узких подоконниках и на круглых трехногих столиках стояли цветы. Над диваном висели рядом два портрета в одинаковых рамах из темного дерева старинной кропотливой резьбы. У девушки было круглое, как полная луна, лицо, капризно-недовольные губы. Чудилось, что она в любую минуту расплачется. И сдерживало ее, казалось, соседство юноши с открытым и добродушным лицом, с волнистой копной волос над умным, красивым лбом и насмешливой улыбкой, плескавшейся в его сощуренных светлых глазах.

На противоположной стене в простой тонкой рамке под стеклом поблескивала золотом «Грамота Герою Труда», под которой стояла разборчивая подпись: «М. Калинин».

На небольшом овальном столе рядом с чугунными стремительными конями, на которых скакали партизаны, возвышалась стопка разноцветных тонких альбомов. На гладкой коричневой коже верхнего было четко выведено золотом: «Максиму Андреевичу Егармину».

Поколебавшись, Митя стал рассматривать альбомы. В каждом лежал плотный лист бумаги с поздравительным письмом. Письма были напечатаны в типографии, на машинке, написаны от руки завидно красивым почерком. И во всех бросалась в глаза одна и та же цифра — 50. Самым интересным было письмо

от начальника дороги. В нем говорилось, что за полвека старший машинист Егармин, не зная аварий, прошел на своем паровозе около трех миллионов километров... Три миллиона километров! Запустив пальцы в густой и жесткий ежик, Митя стал прикидывать в уме, сколько раз старик объехал вокруг земного шара, но так и не успел сосчитать: из коридора послышался голос Максима Андреевича:

— Кто тут меня спрашивает?

Он вытер о половик ноги и,— как был в старом картузе, увенчанном кисеей паутины, в твердом брезентовом фартуке, прожженном и обляпанном известкой,— мелкими, быстрыми шажками направился в столовую. На пороге остановился, бодливо наклонил голову и поверх очков посмотрел на гостя.

— Димитрий? — не то удивленно, не то разочарованно произнес Максим Андреевич. И вдруг всполошился: — От отца что-нибудь?

— Ничего еще нет,— сказал Митя, с уважением глядя на старика.

— Не управляется нынче почта... Подарки мои разглядываешь? — Он усмехнулся, качнул головой.— В сорок первом это было. Так одарили старика, даже совестно...

— А я совсем не признала его, Максим,— заговорила Екатерина Антоновна, входя в столовую.— Даже на «вы» стала величать.

— Как же его признаешь! Парень зря время не теряет — растет.

— Я к вам по делу, Максим Андреевич,— сказал Митя, опасаясь, что какой-нибудь ненужный, затяжной разговор помешает ему.

— Слыхала? — подняв пепельные брови, значительно проговорил Максим Андреевич.— «По делу!» А мне сдается, ровно вчера еще держал его на коленях и беспокоился, что он окропит меня. Ну, раз по делу, тогда садись.

Посмеявшись и покашляв, он снял картуз, вылез из негнущегося фартука, отдал все это жене и тоже сел за стол. Митя молчал. И что за привычка у стариков — непременно вспоминать, как они носили тебя на руках или качали в люльке, и при этом удивляться, как быстро летит время и как ты вырос! Очень трудно говорить о важном деле с человеком, который помнит тебя маленьким, несмышленым сосунком.

— Слушаю тебя,— сказал старик, снимая очки.

— У нас каникулы сейчас, Максим Андреевич. Вы хотя и говорите, что я зря не теряю время, а оно все-таки пропадает...

— Нехорошо. Время беречь надо.

— Вот именно. Хочу на работу, Максим Андреевич. Надо пользу приносить. И потом, пора подумать о специальности.

Старик достал из кармана трубочку, похожую на вопросительный знак, не спеша набил ее зеленоватым самосадом и прикурил от зажигалки — маленького бронзового снаряда. В глазах Максима Андреевича не потухали колючие насмешливые огоньки.

— Что ж, может, и пора...— Он задумчиво потрогал усы.— А мать что?

— С мамой договорились. Полное согласие.

Максим Андреевич молча передвигал по столу очки, точно салазки с загнутыми кверху полозьями, потом спросил, куда решил он пойти.

— А вы куда посоветуете? — не без хитрости закинул Митя.

Максим Андреевич, огорченно выпятив губы, почесал морщинистый лысый лоб.

— Нет, голубок, я ничего не посоветую. Душа сама должна подсказать, куда ее тянет. Хочешь железо варить? Вари, пожалуйста! Золото надумал добывать? Вот тебе драга, а золото тут всюду. Захотел по механической части? Дела сколько угодно. Может, плотничать желаешь? Вот тебе стройка. Камень-самоцвет тебя манит? Или на гранильную фабрику. Гора зовет? Кругом рудники, иди в гору. И никуда ехать не требуется, все под боком, все в твоем Горноуральске. Счастливый город. И поучиться есть у кого, мастера по любому делу есть первостатейные, уральские мастера...

— А про железную дорогу вы и не помянули,— с упреком заметил Митя.

— Разве ж все упомнишь? — благодушно усмехнулся старик.— Дорога. Да вашему брату теперь что? На любую дорогу выходи — семафоры открыты. Всюду тебя приветят, всюду ждут...— Он помолчал, посасывая трубку, в которой шипело и булькало.— А раз дороги открыты, выбирай такую, чтоб по душе была, чтоб после не жалеть и назад не ворочаться...

Он сидел перед Митей, прямой, худощавый, положив на стол большие, натруженные, перевитые выпуклыми жилами руки, несколько крупноватые для всей его щуплой фигуры. Голова с мягкими редкими волосами склонилась набок, бледное лицо было задумчивым и усталым.

— Я решил на паровоз,— негромко сказал Митя.

Старик поднял глаза. Насмешливых огоньков как не бывало.

— Так я и думал. Отговаривать не стану, сам понимаешь. Но дорожку выбираешь нелегкую...

— А мне легкой и не надо,— порывисто отозвался Митя.

— Золотые слова. А завтра не захочешь в летчики? Нынче все вы больше в летчики да в моряки метите...

— Ну, что вы, Максим Андреевич! Все-таки мне уже не десять лет!

— К слову, голубок,— Максим Андреевич расправил желтые прокуренные усы.— Покуда восемнадцать не стукнуло, к паровозу не допускают...— В уголках его глаз тонкими лучиками сбежались бесчисленные морщинки.

«Неужто ждать целый год?» — испуганно думал Митя. Ему казалось, будто старик доволен, что он не подходит: сами собой отпадали возможные просьбы, хлопоты, беспокойства...

— Но ведь в депо есть мои погодки,— упавшим голосом сказал он, вспомнив Самохвалова.— И люди-то нужны...

Максим Андреевич раскинул в стороны руки, давая понять, что это от него не зависит.

Разумеется, старику не хуже Мити было известно, что людей в депо не хватает и что с начала войны многим юнцам делали скидку на возраст. Но когда речь зашла о годах, ему вдруг захотелось посмотреть, как поведет себя парень.

— Максим Андреевич,— после долгого молчания несмело проговорил Митя,— а если похлопотать? Может, хоть из уважения к Черепанову примут?

— Про какого это ты Черепанова?

— Про Тимофея Ивановича, батьку моего...

Максим Андреевич сдвинул пепельные брови:

— Не пойму я что-то...

— Как же! Папаня все-таки в депо не последний человек, уважают его, ценят. Так неужто сына не смогут принять?

Старик смотрел на Митю с таким выражением, будто увидел в нем что-то новое, удивительное, чего прежде не замечал.

— Вот оно что! Я думал, ты только за столом у Тимофея Ивановича иждивенец, а ты в иждивенцы и на знатность его суешься? «Из уважения»! — повторил он сердито и насмешливо.— Ловко, однако!

Митя пролепетал что-то, но старик, все еще хмуря брови, махнул рукой.

— Ладно, потолкуем с начальником. Ежели люди нужны, возьмут без всякого уважения. А разговор твой, Димитрий, не нравится мне...

Максим Андреевич достал из кармана часы. Они были точь-в-точь такие же, как у отца,— большие, толстые, с выпуклым стеклом, только цепочка была другая, тонкая, гибкая, свитая из маленьких белых колечек. Отставив руку, сощурясь, он посмотрел на циферблат, сказал, что собирается в депо, и предложил пойти вместе.

Екатерина Антоновна велела передать всем «по привету» и просила заходить.

Митя рассеянно кивал в ответ и, пятясь к выходу, думал о том, что разговор, так хорошо начавшийся, кончился обидно плохо и кто знает, как теперь все обернется...

Максим Андреевич суетливо вышагивал, молчал и думал. Думал о том, что немало отсчитал годков, вволю потрудился, испытал вдоволь и радости и счастья, узнал уважение и почет. В одном только получилось не так, как желал: принесла ему Екатерина Антоновна четырех дочерей. А дочери, известное дело, выросли и разлетелись кто куда. Грешно жаловаться, выросли они хорошими, сердечными людьми, пишут старикам ласковые письма, шлют подарки, привозят показать внучат... И все-таки не то! А он мечтал когда-то: возьмет сынка на свою машину, как говорится, под свою руку, и обучит, выведет в машинисты. Но всю жизнь довелось обучать чужих ребят. Они становились близкими, дорогими ему. Он шутя называл их «двоюродными сыновьями». Сколько их было — и не припомнить.

Когда-то «обкатывал» он и Тимофея Черепанова. Это был рослый, нескладный парень, на редкость старательный и по тем временам большой грамотей — окончил трехклассную церковно-приходскую школу... А теперь, возможно, паровозную науку будет проходить у него уже сын Тимофея Черепанова. Бегут, без оглядки бегут курьерские года! Так пришли к Максиму Андреевичу невеселые, докучливые мысли о старости.

Митю начало тревожить молчание старика. Чтобы затеять хоть какой-нибудь разговор, он сказал, что из нового поселка до депо куда ближе, чем из Елани, и что Максиму Андреевичу, должно быть, утомительно ходить такую даль.

— Намекаешь, что я старый? — охотно отозвался машинист. — А я вовсе не старый, просто долго живу. И не замечаю, что далеко. Привык.

Справа по отлогому берегу протянулся завод; за его каменным старинным забором тяжело ухали молоты, шипел пар. На угловой башенке ржаво поскрипывал флюгер. Вырезанные в рыжем железном флажке цифры просвечивали голубизной неба — 1725.

Максим Андреевич приостановился и, наклонив голову, будто прислушиваясь, сощурился лукаво:

— Что за специальность такая — светильщик, знаешь? То-то же! В музее она теперь. А я иду и припоминаю...

Он пришел на этот завод в тринадцать лет. На паровоз еще не брали, а дома требовалась подмога. В литейном цехе сидел старичок и щепал лучину — щепальщиком назывался, а мальчонки собирали лучину в пучок, зажигали и присвечивали формовщикам. Потому-то и называли их светильщиками. Цех был низенький, прокопченный, присвечивать приходилось не только ночью, но и днем.

— Как двенадцать часов «отсветишь», гривенник твой...

— А на паровоз когда перешли?

— Из светильщиков года через три произвели в ученики литейщика. А вскорости сильно обварило меня. Разливали чугун. Вручную, понятно. Ну и вышла неудача. Друзья сбегали в котельный цех, там в углу перед каким-то чудотворцем неугасимая лампада висела. Взяли они из той лампады масло и меня смазали. После смеялись: «Максиму нашему раз в жизни бог помог!» А потом отец в депо забрал...

Митя держался поближе к машинисту, но прохожие то и дело расталкивали их.

— Ты говоришь — далеко. А мне иной раз дороги не хватает, чтоб все перешуровать в памяти. Вот, скажем, этот завод. Зовут его стариком, потому существует он с петровских времен. А у старика от прежних-то времен и стен почти не осталось. Домны были кургузенькие — самовары... А нынче посмотри. Шапку только не забудь попридержать, не то свалится! Так-то и вся жизнь...

Одышка заставила его убавить шаг. Надоедливые и неотступные приметы старости всегда злили Максима Андреевича, и он снова целый квартал шел молча.

— Меня часом разбирает обида, — заговорил машинист, выждав, пока прогремит трамвай.— На вашего брата обида. Приходит этакий молодец вроде тебя и считает, что все так и лежало готовенькое на блюдечке, дожидалось его милости. Иной еще и носом покрутит — это, дескать, не так и это не ладно. А если у тебя нет понятия, какой ценой за все плачено, если не хочешь поразмыслить, как добились всего, что ты получил, как же ты, спрашивается, дальше жизнь будешь строить? А строить-то ее придется тебе, никому другому. Наш регламент кончается, за тобой слово.

Возможно, Максим Андреевич в какой-то мере и прав, думал Митя, но нельзя же мерить всех одной меркой. Пустили бы его, Митю, строить жизнь, «дали бы слово», как выразился старик, и он показал бы, на что способен... Вообще старики во все времена почему-то ворчат на молодежь, это даже из литературы видно...

Они подошли к депо. Напротив конторы, под узорчатой и зыбкой тенью тополей, среди портретов лучших ударников висел портрет Черепанова. Тимофей Иванович смотрел перед собой со своей обычной задумчивой улыбкой.

Митя мимоходом взглянул на портрет; он мог бы поклясться, что отец подмигнул ему ободряюще-весело.

«Примут, — с радостной уверенностью подумал Митя. — Как-никак, Черепанов! Кого же тогда принимать?»

За зданием конторы путь перегородил паровоз «ФД» — «Феликс Дзержинский», или просто «Федя», как его ласково называют паровозники. Великан только что остановился, сильно и мерно дыша. На лбу у него алела большая звезда. Черная

стремительная туша котла матово поблескивала, узкие бронзовые обручи, туго перехватывавшие его туловище, солнечно сияли. Дышла застыли в таком положении, будто великан стоял на старте, готовый в любую минуту ринуться вперед.

Мите почудилось, что Максим Андреевич направляется к паровозу, и он ускорил шаг. Но старик, усмехнувшись чему-то, взял его за локоть:

— Нет, Дмитрий, это не наш.

Жаль. Впрочем, в депо немало таких машин. Не может быть, чтобы герой труда работал на каком-нибудь допотопном паровозе. Но почему Максим Андреевич ведет его на узкую колею?

— Вот и наш красавец, — машинист кивнул в сторону водоразборной колонки, где стоял маленький паровоз, настоящий карлик в сравнении с «Федей». — Притомился. Водичку, видишь, попивает...

Митя растерянно остановился:

— Разве вы... Так это же... А я думал, вы на широкой колее...

— Был на широкой, голубок, был... — Максим Андреевич тоже остановился, достал потертый кожаный кисет и начал неторопливо набивать самосадом трубку, похожую на вопросительный знак.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

В Горноуральске было две дороги: обычная, широкая, и узкоколейная. Широкая подходила к городу с юга, опоясывала его, словно стальным кушаком, и устремлялась на север, чуть ли не до Ледовитого океана. А узкая начиналась в самом городе и убегала на юго-запад, в лесную чащобу, пересекала Уральский хребет и обрывалась на дне глубокой, образованной горами чаши, в старинном поселке Кедровнике.

Горноуральск находился в Азии, и потому здесь можно было услышать шутливое: «Еду в Европу», то есть в Кедровник...

Завод, возникший в Кедровнике во времена Петра Первого, ковал цепи и якоря, отливал пушки для строившегося тогда русского флота. В Отечественную войну 1812 года завод послал на фронт столько пушек и ядер, что заслужил благодарность фельдмаршала Кутузова.

Но время шло, завод в глубинке постепенно терял прежнее значение. Замирало и движение на узкой колее, называвшейся когда-то «чугункой». Над узкоколейкой посмеивались, о ней ходили анекдоты. Одни из них рассказывали так. Узкоколейный паровоз поравнялся с женщиной, шедшей по тропе рядом с колеей. Машинист высовывается из окна, кричит: «Эй, тетка, садись, подвезу!» А она отвечает: «Спасибо, милый, я уж лучше своим ходом, тороплюсь...»

Поезда Горноуральск — Кедровник и в самом деле были ужасно медлительны и ходили довольно редко.

Осенью сорок первого из Ленинграда в Кедровник переехал артиллерийский завод. Старый уралец приютил ленинградца в своих невысоких и не очень просторных корпусах с арочными сводами и толстыми крепостными стенами. А рядом со старыми цехами уже рыли котлованы и закладывали фундаменты новых корпусов. Днем и ночью у поднимавшихся стен горели костры — на их огне подогревали жаровни с цементным раствором, согревали задубевшие пальцы.

Еще не кончилось строительство, еще под сводами копошились казавшиеся крохотными фигурки верхолазов-монтажников, невиданно яркими звездами вспыхивали огни электросварки, а снизу уже поднимался неумолчный шум работающих станков, и из Кедровника в Горноуральск загремели частые и длинные поезда с артиллерийскими орудиями...

С первых же дней войны железнодорожники стали наводить порядок на узкой колее: спешно чинили полотно; ремонтировали подвижной состав — паровозы и вагоны, послали с широкой колеи опытных паровозников.

Митя не имел представления обо всем этом. Но если бы он и знал о преобразованиях на узкой колее, то вряд ли стал бы испытывать к ней уважение. Он не мог без пренебрежительного умиления смотреть на крохотные узкоколейные паровозы и вагоны: что-то было в них игрушечное, несерьезное. То ли дело широкая колея! Там все другое — большое, внушительное, настоящее. Можно ли сравнить, например, «Феликса Дзержинского» даже с самым лучшим узкоколейным паровозом! Когда идет «ФД», на тендере у которого свободно поместился бы узкоколейный паровозик, земля чувствует, что по ней движется великан, и дышит взволнованно, часто.

— Нет, — с печальной уверенностью сказал Митя, — я не ушел бы с широкой колеи. Никогда не ушел бы...

— Я тоже не рассчитывал, голубок, — улыбнулся старик. — А видишь, пришлось...

И он рассказал историю своего перехода на узкую колею.

Летом сорок первого года, вскоре после юбилея Максима Андреевича, в гости к машинисту заглянул Степан Хохлов. Старик не удивился: председатель месткома был одним из его многочисленных учеников и, хотя с уходом на выборную должность оставил паровоз, время от времени навещал учителя.

После чая со свежей малиной из хозяйского сада Хохлов прошелся по комнате и стал рассматривать поздравительные адреса, которые сам зачитывал на недавнем юбилейном вечере.

— Насчет отдыха не задумывались, Максим Андреевич? — вдруг спросил он, не отрываясь от бумаги.

Максим Андреевич взглянул на жену и сразу все понял.

— А я отдыхаю, Степа, — с невинным выражением отозвался он. — В Крыму был раза три, в Кисловодск ездил, на наших уральских курортах гостевал...

— Не о том я, Максим Андреевич... — Хохлов помолчал и наконец набрался духу. — Разве пенсии вам не хватило бы?

«Так и есть, — решил Максим Андреевич, — обработала парня!»

— Это у меня спрашивать надо, — не выдержала Екатерина Антоновна. — Хватит нам пенсии, Степан Федосеич. Пировать мы не пируем, огород свой, садик. Да что говорить, проживем...

— Выходит, никому не нужен машинист Егармин? — подавленно произнес Максим Андреевич. — Выставляют, значит, на пенсию, в тираж.

Разговор в тот вечер был большой и безрадостный. Максим Андреевич признался:

— Она меня, Степа, уже целый год ржавой пилой пилит. А я как подумаю уйти, оторваться от дороги, веришь — ровно все во мне переворотится...

— Зачем же отрываться? Можно, к примеру, на курсах преподавать, машинистов готовить. Все ж нагрузка поменьше.

— А за сердце хвататься лучше? — наступала Екатерина Антоновна. — Никогда не бывало такого: утром встает и за сердце держится...

У Максима Андреевича в самом деле «пошаливало сердчишко», и он сдался. В отделе кадров получил обходной лист — «бегунок» — и с гнетущей тоской поплелся в депо, мысленно прощаясь со всем и всеми. Люди с сочувствием ставили на бумажке подписи и говорили ему какие-то добрые слова.

Потом Максим Андреевич передавал паровоз. Он так тянул, так медлил, что напарник, быстрый и шумливый дядька, взорвался бы от нетерпения, если бы не догадывался, что творится у старика на душе. Вдруг Максим Андреевич оборвал на полуслове разговор, пожал напарнику руку и ушел. Через полчаса он получил расчет и, боясь повстречать знакомых, быстро пошел домой.

На другой день, в воскресенье, он узнал, что началась война, и в понедельник утром явился к начальнику депо: «Ставь на работу!»

Начальник был в кабинете не один. Возле стола стоял сильно осунувшийся за день Хохлов, а спиной к окну, глубоко засунув руки в карманы, покачивался на длинных ногах парторг Рыбаков.

— Кто покажет пример, говоришь? — парторг, продолжая разговор, живо блеснул глазами и подошел к Максиму Андреевичу: — Вот кто. Коммунист Егармин. Лучше не придумаешь. И сам пойдет и других поведет...

Максиму Андреевичу объяснили, о чем шла речь. Он покрях-

тел, подымил трубочкой, как всегда, когда был взволнован, пощипал желтые усы и дал согласие. Так перешел он на узкую колею — «на укрепление»...

— Вот какие бывают дела, дорогой товарищ, — закончил старик и усмехнулся: — А друзья с той самой поры зовут меня «однодневный пенсионер»...

Митя носком ботинка ворошил сверкающие кусочки шлака. Слушал он вполуха. Что слушать человека, который добровольно перешел на узкоколейку!

— Очень хотелось мне на широкую колею...

— А я и не подумал, что тебе тут будет узковато, — сдержанно сказал Максим Андреевич.

Митя не ответил, хотя уловил насмешливый тон этих слов. Совсем рядом беспрестанно громыхали огромные чудесные паровозы, и он не мог оторвать от них глаз.

— Как ошибаются люди! — негромко, проникновенно проговорил Максим Андреевич. — Разве ж в том вопрос, какая она из себя, колея, — чуточку пошире или чуточку поуже? Пустой вопрос. Главное, чтоб она правильная была, эта колея, самостоятельная, своя. Случается, неумелый, неопытный человек сразу на большую дорогу попадает и, глядишь, теряется, с толку сбивается от простора...

— Я бы не сбился, — с отчаянием произнес Митя.

Он хотел еще сказать, что мечтал о настоящем, большом деле, но, боясь обидеть старика, промолчал. Максим Андреевич будто понял, о чем думал парень.

— Кто считает, что мы тут, на узкой колее, в холодочке посиживаем, тот сильно ошибается. На своем «Феде» я горя не знал, а сейчас маюсь. Вон Лобанов на широкой был знатный машинист, а тут чуть не плачет. Машины-то старые, а нагрузка военная. И все же управляемся...

Митя молчал с горьким упрямством.

— Что ж, вижу, не доходят мои слова. — Максим Андреевич, крякнув, нагнулся, выколотил трубку о рельс и спрятал ее в карман. — Силком тебя не тащу. Сам пораскинь головой и решай. Матери кланяйся.

И пошел суетливой и бодрой походкой, оставив Митю на перепутье...

ПОЛТОРЫ МАНИ

Как неожиданно и быстро меняется все в жизни! Несколько минут назад он был уверен, что нашел свое место, «определился». На самом же деле ничего не изменилось. И вот он один среди бесчисленных путей, стрелочных постов и разъездов, длинных верениц вагонов, готовых в путь, посреди этого большого

мира, с детства знакомого и неведомого, неуютного и чудесного...

А навстречу, лениво двигая гигантскими локтями дышел, негромко погромыхивая высокими колесами, неторопливо и гордо шел все тот же «ФД». Из цилиндровых кранов вырвались две сильные струи пара, и было похоже, что у паровоза выросли пышные седые усы. Он дохнул на Митю сухим и душным теплом, пахнущим железом, паром, машинным маслом, и запахи эти, знакомые с детства, показались ему сейчас недосягаемо прекрасными.

На тендере копошился кочегар. Перестав кидать уголь, он выпрямился. Кепка надета козырьком назад, на безусом чумазом лице резко поблескивают, словно подкрашенные синеватой эмалевой краской, белки веселых глаз. Мальчишка. Перед ним даже Миша Самохвалов — солидный человек. Есть на свете счастливые люди!

Тяжко гремя на стрелках, «ФД» направился в депо. Митя поплелся следом. На патефонной пластинке поворотного круга паровоз замер, затаил дыхание. Машинист махнул рукой старику, сидевшему в будке, тот нажал кнопку, и пластинка медленно-медленно завертелась, поворачивая паровоз. Сделав пол-оборота, она остановилась. Паровоз осторожно вошел в распахнутые ворота депо.

В конце сумеречного и прохладного пролета на сильных домкратах, словно на носилках, лежал другой «ФД»; колеса из-под него выкатили, на листе фанеры, прикрепленном к мостику, наспех было написано мелом: «Выпустим из ремонта досрочно». На котле, лихо свесив ноги в грязных резиновых спортивках, восседал щуплый паренек в фуражке ремесленника. Он работал ключом возле сухопарника и пронзительно, с чувством высвистывал «Катюшу».

Да, нужно было год назад махнуть в ремесленное, и жизнь сложилась бы по-другому, не было бы нужды ни в помощи Максима Андреевича, ни в этой несчастной узкой колее. Жаль только, что умные решения не всегда приходят вовремя!

Ни на секунду не забывая о своей неудаче, Митя задумчиво шел вдоль ступенчатого здания депо. Вдруг в глаза ему бросились крупные линялые буквы на деревянном щите: «Привет фронтовым бригадам!» От нечего делать он приблизился к щиту и в длинном списке паровозников неожиданно нашел фамилию Максима Андреевича. Не ошибся ли? Как попал машинист с узкоколейки в бригадиры фронтовой бригады? Но, заглянув в полуоткрытые ворота депо, Митя понял, что находится во владениях узкой колеи.

«Все как у больших», — подумал он насмешливо.

Напротив ворот на носилках домкратов покоился маленький паровоз. И, хотя в помещении он выглядел немного солиднее,

чем на воле, все же вид у него был довольно жалкий. Что и говорить, даже в таком беспомощном состоянии «ФД» был внушителен и покоряюще хорош.

Митя собрался уходить, но внезапно, как это бывает на Урале, быстрая свинцовая туча заслонила солнце, стало пасмурно, прошелся ветер, и косые искры дождя замелькали в воздухе. Митя прислонился спиной к деревянным воротам, а дождевые капли падали и падали на землю, обволакивались пылью и катались тяжелыми серыми дробинками.

Из калитки, прорезанной в красных воротах депо, вышел стройный, высокий, широкоскулый парень с пустым бидоном из-под смазки в руке.

— О це так да! — напевно сказал он, поглядел на небо бойкими серыми глазами и встал рядом с Митей.

К депо приближался маленький, невзрачный паровоз, родной брат того, который Максим Андреевич назвал красавцем. На тендере возвышалась фигура девушки в темно-синем берете и черном комбинезоне. Если бы не берет, не мягкая каштановая прядка, красиво падавшая на лоб, Митя сказал бы, что это рослый, плечистый парень.

— Хай живе! — закричал ей Митин сосед и, сорвав с головы кепку, помахал ею в воздухе.

— Ваня, открывай ворота! — отозвалась девушка грудным голосом. — Раскиснуть боишься? Какая жуть!

— А я не наймався прислуживать! — миролюбиво огрызнулся парень.

— Открывай, говорю! — и она погрозила ему темным кулаком. — Слезу — хуже будет...

Ваня засмеялся, показав ямочки на щеках, сильно навалился на ворота и, посторонившись, замысловато повертел в воздухе руками, подражая милиционеру-регулировщику.

Когда паровоз заходил в депо, девушка приветливо махнула Ване рукой.

— То-то же, слушаться надо!

— Бачив? — с гордостью сказал Ваня, обращаясь к Мите. — Гроза, а не дивчина.

— Кто это?

— Не знаешь? — удивился парень. — Так це ж Полторы Мани. Наш комсомольский вожак...

— Как, ты сказал, ее зовут?

— Ее Маней звать. Маня Урусова. А за могутний рост прозывают Полторы Мани, — с улыбкой объяснял словоохотливый парень. — Машинист ее смеется: «Прошу тебя, Маня, залезай на паровоз осторожней, чтоб поручни не оборвать...»

— Кочегаром она?

— Пришла кочегаром, а зараз вже полноправный помощник. — Ваня засмеялся. — Спервоначала ее не приймали. На-

чальник депо Горновой на букву закона встал: дивчат ще перед войной на паровоз не брали. Маня «выдала» начальнику: «Буквоед вы и бюрократ!» И в Москву настрочила. До самого наркома. А на нее глядючи, ще пятеро дивчат пришло...

— Справляется она помощником? — поинтересовался Митя.

— Сказав! — насмешливо воскликнул Ваня. — Колобова знаешь? Цей дядька и одного дня не держал бы ее. «Хотя, говорит, при ней труднее мне выражаться, зато работать легче...» Хтось из машинистов переманював ее на широкую колею, а Колобов не пустил. Та вона и сама не схотела.

— На широкую колею не захотела? — изумился Митя.

— А що? Отказалась. «Яка разница?» — говорит.

— Испугалась, наверно.

— Маня злякалась? — рассмеялся парень.— Кто другой, только не Маня. Та вона переворошит лопатой фэдовский тендер и не ойкнет...

— Все еще спасаешься? — раздался вблизи знакомый грудной голос, и в воротах появилась Маня. — Ты на склад? Ну пошли, не бойся: если размокнешь, как-нибудь склеим...

Она мельком взглянула на Митю, отчего ему сделалось не по себе, взяла Ваню за руку, как маленького, и они зашагали по шпалам.

Дождь не перестал, но Мите почему-то стало неудобно прятаться. Размышляя о Мане Урусовой, отказавшейся перейти на широкую колею, он сделал вывод, что на свете много еще несовершенного и несправедливого: то, о чем одни мечтают днем и ночью и чего не могут добиться, другим само идет в руки, хотя они вовсе не интересуются этим...

С этими мыслями Митя забрел на перевалочную площадку.

УЗКАЯ КОЛЕЯ

Площадка, где производилась перевалка грузов с одной колеи на другую, напоминала плот. Он будто стоял на приколе, стиснутый двумя потоками: с одной стороны его омывала широкая колея, с другой — узкая. Подъемный кран, задрав стрелу, застыл на рельсах посреди площадки. Крановщик дремал, уронив голову на руки.

Узкоколейный путь был свободен, а на широкой колее растянулся длинный порожний состав. В раздвинутых дверях товарных вагонов сидели грузчики и молча курили. Чуть охлажденный дождем воздух был неподвижен, серовато-синие пласты табачного дыма висели над площадкой.

На краю платформы в ряд расположились девчата. Одна девушка, повязанная зеленоватым, в цветах, платочком так, что

виднелись только голубые глаза да загорелый нос, положила на колени огромные брезентовые рукавицы, запрокинула голову и затянула негромко:

Мне сегодня — что такое? —
Не спалося долгу ночь.
Все я думала, гадала,
Как бы Родине помочь...

Девчата подхватили песню не очень громко, но с таким расчетом, чтобы ее услышали трое начальников, стоявших на противоположной стороне площадки: высокий, чуть сутулый, с темными пышными бровями и орлиным носом, немолодой майор со скрещенными пушечками на погонах и полный человек в железнодорожной форме.

Как только Митя приблизился к этим людям, он понял, что они встревожены, и по обрывкам фраз догадался: из Кедровника опаздывает поезд.

Майор нервно усмехнулся:

— Слышите, это в наш огород, — и он повторил последние слова куплета, который пропели девчата. — Действительно, попробуй помоги! — Он посмотрел на ручные часы. — Двадцать минут опоздания...

Человек с орлиным носом и полный железнодорожник, будто по команде, беспокойно вскинули головы — большая стрелка электрических часов то и дело судорожно дергалась, отсчитывая минуты.

Запыхавшись, подошел дежурный по станции, маленький сухощавый человек в красной фуражке. Все обернулись к нему. Девчата умолкли настороженно.

— Ну что? — нетерпеливо спросил майор.

— Тридцать три несчастья! — плаксивым голосом произнес дежурный.— Сначала не ладилось с топкой, потом потекли трубы. Но сейчас уже прошли Рудянскую... — Он снял фуражку, вытер влажным платком шею и лоб, на котором, словно шрам, розовела длинная вмятина от околыша.

— Трубы — это уже по вашей части, — сухо, с укором сказал майор, повернувшись к человеку с орлиным носом.

Тот развел руками. Темные с проседью, будто заиндевелые, брови нависли тучей.

— Вы отлично знаете, какой у нас парк. Поэтому ни одна машина не ремонтируется в положенный срок...

— Да-а, — протянул майор. — Причин у нас хоть отбавляй. Тридцать минут. Да еще от Рудянской...

— Шестнадцать минут от Рудянской, — быстро вставил дежурный.

— Итого сорок шесть минут. Три четверти часа опоздания.— Майор поднял плечи. — Да еще пока перегрузим... А за каждую

минуту опоздания там платят жизнью наши люди... — он показал рукой на запад и, не глядя на собеседников, спросил, нельзя ли увеличить количество грузчиков.

Железнодорожник, бесшумно ссутулясь, сказал, что здесь вся его «наличность». Тревога, которой были охвачены эти люди, передалась Мите. Подойдя к краю площадки, он стал смотреть в ту сторону, откуда должен был появиться поезд. Воображение рисовало ему открытое поле, врытые в землю орудия и вокруг, в окопчиках,— наши солдаты. На них во весь рост, под барабанную дробь, как в «Чапаеве», идут фашисты. И, как там, в картине, наши не стреляют, потому что вышли снаряды, а из Кедровника опаздывает поезд...

Черноволосый грузчик с молодым и смелым лицом, с темным отпечатком пятиконечной звезды на полинявшей гимнастерке, прихрамывая, подошел к военному.

— Товарищ майор! — сказал он, лихо стукнув каблуками кирзовых, зеленоватых от пыли сапог. — Так что посовещались мы тут с товарищами. Погрузку сократим самое меньшее минут на тридцать. Опоздание, в общем, нагоним, товарищ майор...

— Спасибо! — лицо майора просветлело. Он козырнул и протянул грузчику руку: — Спасибо, товарищ.

— Служу Советскому Союзу! — браво отчеканил парень, повернулся через левое плечо и, прихрамывая, направился к товарищам.

Девчата снова запели, теперь — увереннее, громче.

Из-за поворота, из высокой зеленой гущины вынырнул поезд.

— Идет! — закричал Митя.

Площадка весело и озабоченно загудела. Грузчики выпрыгивали из вагонов и, надевая брезентовые рукавицы, разбредались по площадке, занимая свои места.

Девчат с платформы будто сдуло. Заработал мотор подъемного крана, стальная ручища поднялась и опустилась, не то разминаясь, не то приветствуя поезд.

Напряженно, до рези в глазах, Митя всматривался вдаль. Ему казалось, что поезд стоит. Но вот над паровозом взлетела и мгновенно растаяла белоснежная струйка пара, а спустя несколько секунд долетел слабый свисток. «Иду-у!» — возвещал он. И как ни был мал и немощен в сравнении с обычными машинами узкоколейный паровоз, он с такой настойчивостью стремился к цели, что воздух расступался перед ним с тревожным нарастающим гулом.

Мимо замелькали платформы с пушками, перекрытыми брезентом. Митя остолбенел: «Вот тебе и узкая колея!»

Поезд еще не остановился, а на площадке все пришло в движение.

Митю отбросило в сторону.

Грузчики на ходу взбирались на платформы, поспешно сдер-

гивали зеленый плотный брезент, высвобождали орудия. А когда зашипели тормоза и вагоны в последний раз стукнулись буферами, стрела подъемного крана уже снижалась над одной из платформ. Помешкав, она стала подниматься и поворачиваться; пушка, чуть покачиваясь на стальном тросе и описывая в воздухе дугу, плыла к платформе, стоявшей на широкой колее.

Мите сделалось неловко: все работали горячо и споро, лишь он один был посторонним человеком и мешал, путался под ногами. Удрученный бездельем, он потащился с перевалочной площадки.

Как только он зашел во двор, стукнув калиткой, Марья Николаевна взяла со стола письмо.

— От папани? — с порога, возбужденно спросил Митя.

По лицу матери он понял, что письмо не порадовало ее. Отец сообщал, что он жив-здоров и что эшелон привели вполне благополучно. Встретили их как полагается, даже пельмешки были, ребята живут сытно. Земляков оказалось столько, что не мудрено было и растеряться: на фронте ты или у себя на Урале.

«Как раз в это время, — писал отец, — коломенцы прислали новый бронепоезд. Команда в полном сборе, а паровозной бригады нет. Меня и моего помощника, знакомого вам Петра, вызвало командование. Как же должен был поступить ваш батька, поскольку он коммунист? И вот с этого времени работает он машинистом на том бронепоезде, с чем и просит его поздравить... Думаю, ты меня не осудишь, Марьюшка. И ты, Дмитрий, тоже поймешь...»

— Факт. Отлично понимаю! — громко сказал Митя и снова углубился в письмо:

«Ходили мы уже в два маршрута. Тут называются — рейды. Фашистам наш поезд шибко не понравился. Сегодня опять собираемся в гости. Считал, что я уже старый черт, а тут замечаю — ничего, пока не хуже, чем в девятнадцатом... У тебя, Дмитрий, каникулы. Набирайся силенок, чтоб учиться как подобает. Время нынче такое: все, что делаешь хорошо, — все на пользу фронту. Будьте здоровы, живите дружно да обо мне не беспокойтесь...»

Не выпуская из рук письма, Митя прошелся по комнате.

— Машинист бронепоезда! Вот подвалило папане! А ты не рада?

— Опасно ведь... — негромко проговорила Марья Николаевна.

— Все будет хорошо, увидишь. Наш папаня еще Героя получит! К Трудовому прибавится орден Ленина, Золотая звездочка. Здорово! Герой Советского Союза Тимофей Иванович Черепанов! — А мысленно произнес: «Сын Героя Советского Союза!» и вслух заключил: — Звучно!

6 Заказ 464

— Совсем ты еще дите, — сказала Марья Николаевна. — А твои-то как дела?

— Плохо.

— Это почему же?

— Максим Андреевич, оказывается, на узкой колее...

— Ну, и что?

— Конечно, и узкая колея имеет значение, но мне хотелось на широкую...

Марья Николаевна засмеялась тихо, от души.

— А мне совсем невесело! — с укором проговорил Митя.

— Я смеюсь, потому что больно ты широкий... Отец-то твой где начинал?

— А где?

— Тут же начинал. Кочегаром, потом помощником. В ту пору как раз мы и познакомились...

— На этой узкой колее?

— Познакомились-то не на колее, а в гостях. А работал он на узкоколейке. — Мать помолчала задумчиво и тихо добавила: — Ну, а ты уж сам смотри...

НЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА

— Кажись, Черепанов? — совсем рядом загрохотал чей-то бас, и жесткие, сильные руки сгребли Митю.

— Владимир Федорович! — удивленно прошептал Митя.

Перед ним стоял машинист Королев, который вместе с бригадой Черепанова вел на фронт уральский эшелон, — огромный дядя с темными и маленькими, как у медведя, глазками, с крупным, немного одутловатым лицом.

— Как видишь, воротился в полном здравии... Ты чего принюхиваешься ко мне, барбос? — весело гремел Королев, тиская Митю. — Ну, пропустил малость по случаю прибытия. Видал, цензура! — шутливо пожаловался он стоявшему рядом человеку.

Этого человека Митя тотчас узнал по широким, раскидистым бровям и орлиному носу: он видел его на перевалочной площадке, когда из Кедровника опаздывал поезд.

— Тимофея Иваныча? — спросил у Королева тот, с интересом рассматривая Митю.

— Ага. Богатырь растет. — Машинист наклонился, заглянул Мите в лицо осоловелыми глазками. — А ты тут что делаешь?

— На работу хочу. На паровоз.

— Знатно! Батьке, стало быть, замена?

— Что еще Горновой скажет, начальник депо?

— Горновой? — живо переспросил Королев. — А что ему говорить? «Добро пожаловать!» — скажет и зачислит.

— Не так-то быстро. У меня с годами неувязка. А Горновой этот, говорят, буквоед. Все у него по букве закона...

Королев громко взревел, затрясся от смеха и схватился руками за бока. У человека с орлиным носом лицо смешно вытянулось, брови взлетели под самый козырек фуражки. Он протянул машинисту руку:

— Заходи по свободе. Я, пожалуй, удалюсь.

Королев корчился от смеха, стонал.

— Не понимаю, чего вы смеетесь? — пожал плечами Митя, считая, что Королев перехватил на радостях.

— А того, что напраслину возводят на человека, — вытирая глаза, сказал машинист. — С виду начальник депо ровно строгий, суровый, а на самом деле—душевнейший человек, верь мне... А твой папаня героем себя показал. Да. Имею задание передать семье самоличный привет и еще кой-что...

Последние слова Королев произнес, значительно приглушив рокочущий бас, даже оглянулся, словно боясь, что могут подслушать, и рассказал, при каких обстоятельствах Черепанов стал машинистом бронепоезда.

Тимофей Иванович не совсем точно писал об этом домой. На прифронтовую станцию, куда они доставили эшелон, действительно прибыл новый бронепоезд и действительно требовалась паровозная бригада. Но командование не вызывало Черепанова: о нем не знали. Он сам пришел к командованию: «Ежели подхожу, рад буду послужить. Только прошу оформить, чтоб у себя в депо дезертиром не числился...» Ему ответили: «Об этом можете не беспокоиться...»

— Марье Николаевне этого сказывать не велел, — продолжал Королев. — «Хотя она, говорит, у меня вполне сознательная, только на всякий случай, не нужно ей знать, что я по своей воле остался. А сыну, говорит, скажи правду». Понятно тебе, Дмитрий Тимофеич? Так-то. А теперь будь здоров, не кашляй и не робей...

Сколько раз вырывалось у отца, что он хотел бы приложить к фашистам свою руку, хотел бы сквитать счеты! И вот добился... А он, Митя, сможет так? Сначала вышла неловкость с Максимом Андреевичем из-за узкой колеи (хорошо, что старик не затаил обиды и вчера обещал замолвить слово Горновому), а теперь как будто стало боязно идти к начальнику...

Навалившись локтями на стол, начальник депо курил. Голова его была окутана сизой кисеей табачного дыма, и разглядеть можно было только руку, водившую карандашом по темно-синему, как ночное небо, чертежу.

Митя подошел к столу, перевел дыхание. Собираясь заявить о себе, он открыл рот, но не произнес ни звука и попятился, увидев лицо начальника — орлиный нос, серые глаза, внимательно смотревшие на него из-под тяжелых заиндевелых бровей...

«Так вот почему заливался Королев!» — пронеслось у Мити в голове. Переборов оцепенение, он резко повернулся и быстро зашагал к двери.

— Черепанов, ты куда? — спокойно спросил Горновой.

Остановившись, Митя повернулся вполоборота.

— Довольно странно, — серьезно продолжал Горновой, — является человек, не говорит ни слова и уходит. Язык за порогом оставил, что ли?

— А нечего теперь говорить, — безнадежно прошептал Митя, глядя в сторону.

— А вдруг найдется. — Горновой поднялся со стула, раздавил в пепельнице окурок и, когда Митя несмело подошел, через стол протянул руку: — Будем знакомы.

— Да вроде уже познакомились, — с печальным смущением сказал Митя, отвечая слабым пожатием.

— То знакомство не в счет. — Горновой показал на кресло.

Митя сел и тотчас схватился за подлокотники: сиденье было такое мягкое, что ему показалось, будто он проваливается.

Неожиданно теплая улыбка тронула строгое лицо Горнового.

— А мы, если хочешь знать, знакомы немного раньше, чем ты полагаешь. — Он остановил на Мите долгий, задумчивый взгляд. — Помню, как-то в воскресенье шли мы с Тимофеем Ивановичем по городу. Он тебя за руку вел, а ты в дудку трубил. Надо сказать, насквозь уши все прогудел...

Митя заерзал в кресле — не хватало еще этих воспоминаний!

— Наверное, это давным-давно было...

— Вижу, что давно, — как бы с сожалением проговорил Горновой. — Да, одни растут, другие стареют... — Он прошелся к окну и, вернувшись, уселся на угол стола. — Максим Андреевич говорил о тебе. В принципе приветствую. Но нужно подумать.

— О чем же?

— О тебе. О твоем будущем.

— Я уже подумал и решил.

— Это хорошо. Однако ты пришел сюда, значит, и я должен побеспокоиться о тебе. Ты вот хочешь сразу на паровоз. А я возражаю...

«Так и есть — «душевный человек!» С неприязнью взглянув на начальника, Митя подумал, что из его бровей могли бы получиться вполне солидные усы...

— И не потому, что у тебя с годами неувязка, — продолжал Горновой. — И не в букве закона дело. У нас много твоих одногодков...

— Я хочу на паровоз, — горячо перебил Митя. — В каникулы поработаю кочегаром, а со временем и дальше...

Он помолчал, не желая поверять свои планы первому встречному человеку, к которому, помимо всего, не испытывал никакого расположения.

— Похвально, — раздумчиво отозвался Горновой. — Если выбрал паровозную специальность, непременно нужно стать машинистом. А быть хорошим машинистом, таким, например, как Черепанов, — не простое дело...

— Я тоже Черепанов, я смогу...— сипловатым голосом вставил Митя.

— Это еще будет видно, — снисходительно улыбнулся Горновой. — Машинист — это механик, понимаешь? Он умеет не только управлять машиной. Он может разобрать ее по косточкам, по винтикам, починить и снова собрать. А ты умеешь держать напильник?

— Выучусь. Я еще не машинист.

— Без слесарных навыков и кочегар не кочегар, а недоучка...

«Зашлет в слесаря, пропадешь со скуки», — мелькнуло у Мити.

Помимо Горнового, он обнаружил в кабинете еще двух своих неприятелей. Это были телефоны. Они звонили почти беспрерывно, то один, то другой, а иногда и разом, перебивая разговор.

— Мне кажется, Черепанов, ты более или менее серьезный человек. А на паровозное дело смотришь как-то легковесно. Подумай: если, скажем, токарь, не имея опыта, встал за станок и испортил деталь — это неприятность. А если паровозная бригада, которая ведет состав, по неопытности допустила брак? Это авария, несчастье...

Митя молчал. Горновой смотрел на него из-под нависших бровей и думал о том, что все они одинаковы, эти мальчишки. Решили и подавай им все сразу, без промедления. А полюбилось какое дело — подсаживай немедленно на самую вершину. Если же ты советуешь взбираться постепенно, шаг за шагом, — значит ты буквоед, сухарь и не понимаешь их души. Вот и этот глядит волчонком. А на Тимофея Ивановича сильно похож: широкая кость, взгляд быстрый, смышленый...

— Без знаний на паровозе работать — все равно что слепому грибы собирать. Вот как железнодорожники говорят. Поработай слесарем, а потом уж просим на паровоз.

— Мне хотелось в каникулы на машине... — теряя всякую надежду, еще раз сказал Митя.

Сцепив за спиной пальцы, Горновой прошелся от стола к двери и обратно.

— Я думал, у тебя планы действительно на будущее. А планы-то, оказывается, куцые, — не дальше каникул. Не справиться тебе на паровозе, поверь мне...

— Сергей Михайлович, знаете что? — Митя быстро поднялся с кресла. — Не справлюсь — сам приду и скажу: «Посылайте в слесаря!» А пока пустите на паровоз.

Горновой молча развел руками. Опять затрещал ненавистный телефон. Начальник упрекал кого-то за плохое качество ремонта; черкая карандашом по бумаге, сломал грифель.

«Испортили человеку настроение, теперь крышка!»

Не успел Горновой положить трубку, как в кабинет неслышно вошел секретарь, узкогрудый, сухонький старичок в потертом до блеска черном кителе.

— Сергей Михайлович, люди на совещание собрались...

— Простите, — сказал Горновой, нахмурил брови и, подойдя к Мите, снова раскинул руки.

С тем и ушел Митя от начальника депо. Не поверили ему. А он, Черепанов, справился бы. Нет у начальника индивидуального подхода к живому человеку, чуткости нет.

«ВАШИ ДОКУМЕНТЫ!»

Поезд начал притормаживать. За тамбурным окошком потянулось высокое здание из красного кирпича со сквозными дырами вместо окон. Наверху чернела выпуклая закопченная надпись: «Лозовая».

Днем, когда поезд останавливался на станциях, Алеша покидал свой роскошный тамбур с откидным сиденьем и застекленным окошком над штурвальным колесом. Он делал это из предосторожности: какой-нибудь бдительный кондуктор мог заглянуть сюда. Кроме того, нужно было попить, размяться, узнать последние сводки.

Оставив рюкзак под сиденьем, Алеша настороженно выглянул и быстренько вышел из вагона.

На станции шум, толчея. Куда ни глянешь — военные. А вдоль здания вокзала на тюках и чемоданах сидят женщины с ребятишками, старики. У них темные от загара и пыли, усталые, радостные и заплаканные лица: люди, наверное, вернулись в родные места.

Алеша смотрел на здание вокзала. Когда-то, видимо, оно было довольно красивым — высокое, сложенное из красного кирпича, с большими овальными окнами. Сейчас — пустая каменная коробка, исклеванная снарядами и осколками.

Чем дальше на запад, тем чаще встречались такие пустоглазые здания, черные, обгорелые деревья, исковерканные вагоны под откосами, глубокие воронки с зеленой водой, опрокинутые в реки железные фермы мостов. Все сильнее чувствовал Алеша обжигающее дыхание войны и думал: то, что война ушла так далеко, конечно, хорошо, но зато добираться до передовой труднее и немало придется натерпеться на этом длинном пути. А как

было бы чудесно ехать на легальном положении, не прятаться, не бояться ни начальников эшелонов, ни кондукторов — никого!

Пока он был занят этими мыслями, старший лейтенант с красной повязкой на левом рукаве, пощипывая широкий бритый подбородок, пристально разглядывал его.

Почувствовав на себе взгляд, Алеша обернулся. Старший лейтенант быстро подошел к нему, козырнул:

— Ваши документы, молодой человек.

Алеша не успел подумать, хорошо это или плохо. Документы, так документы!

— Белоногов Алексей? — негромко прочитал старший лейтенант и уставился на него с таким видом, будто очень обрадовался этой встрече.

— Так точно, — ответил Алеша, не предвидя дурного: в военное время не мешает лишний раз проверить документы.

— Прошу пройти со мной, — вежливо сказал старший лейтенант, пряча в карман Алешины комсомольский и ученический билеты. — Недалеко, вон в ту деревянную пристройку...

Это уже нехорошо. Еще отстанешь от поезда. Может, бежать? Но лейтенант почти нежно подставил ладонь под его локоть.

На некрашеной двери в пристройку — железная табличка: «Военный комендант». Странно, какие у него могут быть дела с военным комендантом?

Капитан, которому представил Алешу старший лейтенант, был менее приветлив. Недовольно хмурясь, он несколько минут смотрел в Алешин комсомольский билет, словно припоминал что-то. Нижнее веко левого глаза, рассеченное розовым шрамом, часто и мелко подергивалось, словно кто-то тянул его за веревочку. Старший лейтенант порылся в папке и, отыскав какую-то бумагу, положил ее перед капитаном. Тот тряхнул головой и обрушился на Алешу: откуда, кто родители, как очутился здесь?

В девятом классе, когда пришлось писать сочинение на свободную тему, у Алеши целый урок ушел на обдумывание. Сейчас все решали минуты. И он справился. Видите ли, у него, у Алексея Белоногова, в Киеве живет родная тетка, сестра матери, одинокая женщина, очень хороший человек. И вот он, преданный племянник, отвечая на многократные приглашения, направляется к этой тетушке на летние каникулы...

Рассказ прозвучал искренне. Только хмурый вид капитана и его веко, задергавшееся чаще, вселяли недобрые предчувствия.

— Как же так, Белоногов? — сказал капитан, сильно окая.— Надо же было предупредить родителей: дескать, отправляюсь к тетушке, не беспокойтесь. А то снялся и никому ни полслова. В Горноуральске вот переживают, разыскивают тебя...

«Все кончено!» — с тоской подумал Алеша.

ЗНАМЕНИТАЯ ФАМИЛИЯ

Когда Митя, по пояс голый, торопливо мылся в кухне, Марья Николаевна, не то размышляя вслух, не то мысленно советуясь с кем-то, негромко сказала:

— Может, мне подойти к начальнику?

После истории с Алешей она, не колеблясь, одобрила Митино желание поработать в каникулы, но, услышав, что начальник отказал, обрадовалась: пожалуй, рановато ему на паровоз. В то же время было боязно: за месяцы безделья он может, как и его дружок, придумать что-нибудь несуразное, — возраст опасный, колобродистый...

Митя фыркнул и повернулся к матери. По смуглому лицу, по длинным, юношеским тонким рукам бежали светлые струйки.

— Еще чего недоставало! — проговорил он, разбрызгивая твердыми губами влажную пыль. — Не в детский сад определяюсь как будто...

Энергично орудуя полотенцем, бросил на ходу: «Можешь не беспокоиться...» — чем еще больше встревожил Марью Николаевну.

Завтракал он вместе с Леной и Егоркой и, торопясь, обжигался горячей картошкой.

— Что так рано? — спросила Лена с простодушной и ясной улыбкой.

— Дело есть.

Не гася улыбки, она качнула головой, соглашаясь, что о незавершенных делах лучше до времени помолчать.

— Митя, — сказал Егорка с полным ртом, — ты покатаешь меня на паровозе?

— Кушай, ради бога! — вмешалась Лена.

Митя понимающе взглянул на нее и повернулся к Егорке:

— Будешь послушным парнем, обязательно покатаю...

И вдруг испугался своей уверенности.

Лена заметила это. Помешивая кашу для Егорки, склонила в Митину сторону свою всегда лохматую головку:

— Помню, Ванюша выписал когда-то слова Толстого: «Все, что ни идет, идет к лучшему». Такая присказка, что ли, была у Льва Николаевича. Хорошо, правда?

Глаза у Мити сузились, и прямые редкие ресницы, словно маленькие пики, устремились на Лену.

— Выходит, если меня не пускают на паровоз, это к лучшему? Далеко уедешь с такой присказкой!

— Это же Толстой так говорил, зачем же сердиться?

— Вовсе я не сержусь, — проговорил он, поднимаясь из-за стола. — Тороплюсь я...

Спустя несколько минут он уже шагал по горноуральским улицам с такой скоростью, что наверняка мог бы заработать по-

хвалу скороходов братьев Знаменских. Лишь возле одноэтажного кирпичного здания, пристроенного к конторе депо, сбавил шаг и в комитет комсомола вошел, успев отдышаться и вытереть сырой лоб.

Это была большая комната с широким закопченным окном. По всему было видно, что хозяевам некогда думать об уюте. Рядом с неуклюжим сейфом, заставленным призами физкультурников — кубками разной формы и величины, за небольшим столом сидела тоненькая девушка лет семнадцати, с короткими, торчащими в разные стороны, словно рожки, косичками, — технический секретарь.

В углу, за другим столом, прикреплено к стене развернутое вишневое знамя со склоненным древком. На мягкую выпуклую складку знамени падал солнечный луч, и плюш светился раскаленным металлом. На столе — ни бумажки, обе чернильницы закрыты медными крышечками — крохотными рыцарскими шлемами. Комсорг, наверное, еще не появлялся.

Когда технический секретарь повернулась к Мите, он увидел, что глаза ее косят. Девушка, вероятно, стыдилась этого и, разговаривая, наклоняла голову.

— Урусова работала в ночь, — сказала она, глядя исподлобья. — Скоро будет. Сдаст паровоз и обязательно придет.

Митя взял со стола газету, присел к окну и стал ждать.

Вдруг он услышал запомнившийся ему грудной голос и поднялся, загремев стулом.

Маня быстро вошла в комнату, высокая, ладная, с гордо посаженной головой и покатыми округлыми плечами. Митя отметил, что она вовсе не так уж велика и громоздка, и, должно быть, прозвище «Полторы Мани» — произведение какого-то злого языка...

С ее появлением все в комнате пришло в движение: и технический секретарь, и плакаты, зашуршавшие на стенах, и парусиновая гардина на окне, и сам воздух.

— Привет, Надюшка! Что у нас нового? Зубки, я вижу, прошли?

— К тебе товарищ, — сказала Надя, любовно поглядывая на Урусову.

Маня поставила в угол сундучок и легким движением поправила коротко остриженные мягкие каштановые волосы.

Урусова слушала Митю, не сводя с него больших голубовато-серых глаз, в которые он не решался заглянуть.

— Толково! — сказала Маня, быстро уловив суть рассказа.— Помогаешь фронту, получаешь специальность. Отлично! — И мечтательно откинула голову: — Вот бы все так в каникулы!

— Как раз! — криво усмехнулся Митя и передал свой разговор с Горновым.

На лице Урусовой упала тень. Но ненадолго.

— Вообще-то он, конечно, прав. Но ведь можно попробовать. И как люди не понимают, просто жуть! — она хлопнула по столу кулаком. — Ничего, сразимся!

Бороться со всякого рода несправедливостью было одним из любимых дел Мани Урусовой. Для этого у нее всегда находились и охота и время. Комсомольцы паровозного депо считали это ее призванием. К ней шли со своими горестями и обидами не только сверстники, но и люди, давно перешагнувшие комсомольский возраст. Слушая рассказ о какой-нибудь несправедливости, она мгновенно вспыхивала и уже не теряла «накала», пока не одерживала победу. Поражений она почти не знала...

Урусова задумалась, решительно сомкнув губы, и быстро повернулась к Мите:

— Где я видела тебя?

Он, конечно, помнил, где видела его Урусова, но не признался.

— Нет, вы меня не знаете,— сказал он, и смуглые щеки его залил румянец.— А вот отца, может быть...

Он собирался упомянуть об отце лишь в том случае, если его, Митина, судьба не найдет сочувствия у комсорга. И хотя сочувствие было налицо, он все-таки «для надежности» пустил в ход отцовское имя. И сразу же вспомнил Максима Андреевича. Нет, старик все равно неправ. Почему человек, трудом заслуживший славу и почет, не может помочь своему сыну?

Митя любил, называя свою фамилию, последить за собеседником. Очень интересно было видеть, как меняется выражение лица человека, услыхавшего знаменитую фамилию. Лицо собеседника обычно расплывалось в улыбке, уважительной, даже радостной, а порой растерянной: «Как же, слыхал!» Или: «Знаю, знаю Черепанова!»

Назвав комсоргу свою фамилию, Митя насторожился.

«САМОТЕК»

Брови Урусовой в веселом удивлении метнулись кверху.

— Тимофея Иваныча сын! Что ты говоришь? Ужасно интересно!

Она так смотрела на Митю, словно не верила, что он может быть сыном Черепанова.

Митя, не подозревая, задел очень отзывчивые струны души комсорга.

Урусова деловито и требовательно протянула к нему руку:

— Заявление?

Он не понял ее.

— Ох, эти мне деятели!— вздохнула Маня, достала из ящика клочок серой бумаги и подала Мите:— Сочиняй.

Первое в жизни заявление. Заявление о том, что он хочет стать рабочим. Но Мите некогда было подумать об этом.

Когда она, взяв заявление, собралась идти, в дверях появился большой полный парень с сундучком в руке. Урусова отложила заявление. Какая-то неуловимая перемена произошла в ее лице.

«Черт возьми,— подумал Митя.— Не раньше и не позже...»

На секунду остановившись, парень приложил к козырьку руку и зашел в комнату. Пока он медленной походкой, в которой было больше лени, чем степенности, двигался к столу, Митя успел его разглядеть. Прямые сильные плечи, круглое, полное лицо с рыжеватыми ресницами и такими же бровями, усыпанное веснушками, будто его брызгали из штукатурного насоса; водянисто-голубые глаза с робким, заискивающим выражением словно прилипли к Урусовой.

Подойдя к столу, парень взял сундучок из правой руки в левую, рассчитывая, вероятно, поздороваться с комсоргом. Но она только кивнула.

Яркий румянец смыл веснушки с лица парня, глаза его попрежнему не отрывались от комсорга, и Митя вдруг понял, что парень не может при посторонних сказать Мане то, что хочется, чем мучается, и что Урусовой это хорошо известно, но она и не собирается облегчить его мучения.

— Познакомьтесь,— повелительно сказала Урусова.— Помощник машиниста Тихон Филиппович Чижов...— Она, видимо, никогда не величала его так и теперь боялась рассмеяться.— Сын Тимофея Ивановича Черепанова. Потомственный железнодорожник. Тоже хочет стать паровозником, да вот начальство палки в колеса вставляет...

Чижов без интереса взглянул на Митю и слегка пожал его руку.

— Максим Андреевич хочет взять Черепанова в свой «университет»,— сказала Урусова и обернулась к Мите: — Чижов — помощник у Максима Андреевича. Так что, если сломлю Горнового, будете работать вместе.

— Нашего полку прибывает,— вяло улыбнулся Чижов.

Митя понял, что помощник машиниста сказал это, чтобы сделать приятное комсоргу.

— Кто знает, прибудет ли..— задумчиво отозвался Митя.

— Что ты говоришь? — воскликнул Чижов.— Раз Маня...— он поперхнулся,— раз товарищ Урусова взялась — дело решенное. Мертвая хватка.

Лицо Мани было серьезно, а глаза смеялись.

— Вот не знала за собой таких страшных способностей!..— И обратилась к Мите: — Жди здесь. Я одна пойду, а то язык мне свяжешь.

С уходом Урусовой Чижов потускнел. Краска сошла с его щек, и снова выступили веснушки.

Митя догадывался, что он испортил Чижову встречу, что поэтому тот холоден к нему, и все-таки спросил, о каком таком «университете» упоминала Урусова.

Помощник машиниста, чтобы скоротать ожидание, стал рассказывать:

— С людьми у нас нехватка, а кадры приходят всякие: кто из ремесленного, кто самотеком. Ты вот, к примеру, самотек. С вашим братом мороки больше, чем с ремесленником,— с самых азов приходится. Потому-то машинисты и открещиваются: «Не надо нам самотека! Мы лучше сами с помощником!» А Максим Андреевич — нет. Он даже метод выработал. Берет человека на свою машину, два-три месяца школит его и выпускает кочегаром. Вот и пошло в депо — «Егарминский университет». Образование, правда, не высшее, всего только начальное паровозное, а для закваски достаточно...

— И успевают обучиться за это время? — с затаенным беспокойством спросил Митя.

— Которые способные, успевают. Попадаются, понятно, и дубы. Таким и полгода — не срок.— Чижов засмеялся, вспомнив что-то.— А старику перепадает и на паровозе и дома. Екатерина Антоновна, жинка его, ноту протеста выставила. И смех и грех. «Кто тебя, дескать, неволит такую обузу на плечи взваливать? Да еще и по карману себя бьешь!» Она, видишь, дозналась, что Максим Андреич учеников на свой наряд берет и через это заработок у него хромает. А старик заявляет ей в таком роде: «Дома ты мой генерал, не спорю. Но только на мою работу твое генеральское звание не распространяется...»

Речь у Чижова была плавная, неторопливая, с ленцой, как, впрочем, и движения его большого тела.

Урусовой не было. Мите казалось, что прошло очень много времени. С чем еще она вернется? В глазах Чижова он читал упрек: «Видишь, что ты наделал, парень! Не появись тут твоя милость, я бы сейчас провожал Маню. Ведь она с ночной смены, ей отдохнуть бы, а ты морочишь голову. И откуда ты только взялся, самотек!»

ПОД РАСПИСКУ

В воскресный солнечный полдень жители Горноуральска наблюдали такую картину. По центральной улице шел солдат, а рядом вразвалку шагал светловолосый коренастый парнишка в распахнутом пиджачке поверх синей рубашки.

Вряд ли они привлекли бы к себе внимание, если бы шли, как все люди, по тротуару. Но они шествовали по мостовой. И, хотя солдат был без винтовки и шел не в затылок пареньку, а рядом, все понимали, что он конвоирует его.

Угрюмый вид парня подтверждал это предположение. Надвинув старую кепчонку на брови, он нелюдимо посматривал по сторонам зеленоватыми дерзкими глазами. Правая рука солдата время от времени касалась его левого локтя, и трудно было понять, напоминает ли он парню о своем присутствии или заботливо поддерживает его.

В общем, их взаимоотношения остались бы для прохожих загадкой, если бы парень вдруг не бросился наутек.

Тяжело топая сапогами, солдат погнался за ним. Впереди сверкали полумесяцы подковок на каблуках у паренька, крыльями развевались коротенькие полы пиджачка.

— Стой! — кричал солдат.— Стой, собачья душа!

Прошмыгнув перед носом легковой машины, паренек метнулся на другую сторону улицы, к трамвайной остановке. Беглец, вероятно, рассчитывал заскочить в вагон. Но из трамвая выпрыгнул высокий дядька в пожарной спецовке, и парень с разгона угодил в его объятия. Он вырывался, сопел, задыхаясь от бега и злости.

— Ну, все,— прерывисто сказал подоспевший солдат и крепко взял его за локоть.— Побаловался, и хватит. Пошли...

— За что это его? — сочувственно спросила женщина из толпы.

— Он знает, за что,— уклончиво ответил солдат, вытирая лоб.

Можно ли было вообразить, что все кончится таким позором? Со станции Лозовая он уехал не на запад, а на восток. Собственно, он не ехал,— его везли, сопровождали, его доставляли по месту жительства, в Горноуральск. Солдату-сибиряку, вышедшему из госпиталя и списанному из армии «подчистую», поручили по дороге домой, мимоездом, «забросить» на Урал беглого...

Не так, совсем не так думал Алеша вернуться! Все было против него. Поездка не удалась. Но могли же привезти его в Горноуральск в будничный день, в дождливую погоду. Так нет, он приехал в чудесное солнечное воскресенье, когда кругом полно людей! Но и этого еще мало. Солдат не мог придумать ничего лучше, как вести его по главным улицам да еще по мостовой...

Ниже надвинув кепку, засунув руки в карманы, Алеша все же вышагивал независимо и степенно. Солдат настороженно косился в его сторону.

— Ведете меня вроде жулика какого! — обиженно произнес Алеша.

— Зачем — жулика? — спокойно возразил солдат.— Жуликов милиция водит.

Самое страшное было впереди: они вышли на улицу Красных зорь, предстояло пройти мимо дома Мити Черепанова.

Мальчишки, как назло, высыпали на улицу. Надо было немедленно придумать что-то. Бежать? Глупо. Мысль работала бы-

стро, напряженно. Решение найдено! Он идет и запросто беседует с солдатом, своим старым знакомым, вот и все.

Но о чем беседовать? Они обо всем переговорили.

— Значит, вам в Сибирь? — спросил Алеша, краснея оттого, что ему было известно, куда едет солдат.

— В Сибирь,— ответил солдат, понимая Алешу и стараясь облегчить его положение.

— Долго воевали?

— Не выполнил я свой план...

— Все-таки вам повезло.

— Не шибко.

— Почему же?

— Имел надежду пленных фашистов по Берлину вести, а приходится, видишь, тебя сопровождать...

— Вас ранило?— быстро перевел разговор Алеша.

— Я же тебе рассказывал, легкое мне пробило. За тобой вот пробежался и уже задохся.

— Ну, вы извините меня...

— Ладно, извиняю,— усмехнулся солдат и подозрительно взглянул на него: что-то больно вежливым стал.

Мальчишки были уже совсем близко. Алеша придал лицу непринужденный, беспечный вид.

Вова Черепанов, игравший на улице, первым заметил его.

— Здорово, Алеша! — закричал он.— Ты уже нашелся?

Алеша отвернулся, а солдат, улыбаясь, сказал тихо, словно про себя.

— Нашелся. Теперь не потеряется...

Вероятно, угадав что-то неладное, никто из мальчишек не решился подойти к нему. А когда Алеша и солдат свернули за угол, мальчишки двинулись в ту же сторону: серьезное дело — когда человека ведут!

Возле своего дома Алешка приостановился.

— Ну, давайте я сам подпишу,— умоляюще простонал он.— Ну какая вам разница?

— Нет, парень, на подлог меня не подобьешь.

Махнув рукой, Алеша решительно пересек двор, засаженный картошкой, и быстро поднялся по лестнице...

Открыв дверь, он понял, что ему не миновать и последней неудачи: Вера, в старенькой блузке с дырами на локтях, в подоткнутой на поясе юбке, мыла пол.

Она услышала, как скрипнула дверь, подняла голову, вскрикнула и, выронив тряпку, раскинув мокрые руки, кинулась к брату, оставляя на сухом полу маленькие отпечатки босых ног.

— Алешка! Лешенька! Чертенок мой полосатый!..— Вера звучно чмокнула его в щеку и, заметив солдата, поспешно поправила юбку.

Солдат, остановившись в дверях и сняв пилотку, поглаживал стриженую голову и растроганно улыбался.

— Ладно, нежности отложим пока,— буркнул Алеша с холодной деловитостью и слегка оттолкнул сестру.— Распишись, что получила меня...

Солдат кашлянул и вошел в комнату.

— Вы ему сестра будете?

Вера закивала, счастливо улыбаясь.

— Тогда распишитесь вот тут. Получила, мол, братца в цельности и сохранности...

Нагнувшись, Вера быстро вытерла о подол руки, нашла на письменном столе карандаш.

— Ценная посылка с доставкой на дом...— Вера не смогла сдержать смех, рука не повиновалась ей, и она поставила какую-то закорючку.

Солдат аккуратно сложил бумагу, спрятал ее в карман гимнастерки, надел пилотку и, поднеся руку к виску, стукнул каблуками.

— Спасибо вам. Уже уходите? — огорченно проговорила Вера.— Садитесь, чаю попьем...

Солдат смотрел на нее с нескрываемой нежностью.

— На поезд надо поспеть. Ждут меня в Кемерове. Такая же девушка, хорошая, как вы...

Солдат ушел.

— С почетом вернулся,— сказала Вера.— Ой, какой же ты худой! Кожа и кости. К тому же кожа очень грязная. А клеш-то, клеш, боже ты мой! Бахрома, как у скатерти...

Алеша ходил по комнате, не слушая сестру. Казалось, он не был здесь вечность. Ему было приятно и горько.

Избегая встречаться глазами с Верой, он спросил об отце, о матери. Вера довольно спокойно сообщила, что от отца писем нет, что мама ушла в госпиталь и обещала вернуться часа через два.

— Что же ты, как гость? Раздевайся...— она сдернула с него кепку, заставила скинуть пиджачок.— Сейчас воду поставлю, помоешься. Грязнуля!

Когда военный комендант обнадежил ее, что Алешу непременно найдут и доставят по месту жительства, Вера дала себе слово не разговаривать с братом. Зайдет Алеша в дом, а она и «здравствуй» не скажет, даже не обернется. Об этом своем решении Вера вспомнила только сейчас и рассердилась на себя: тоже воспитатель! Надо было проучить его хорошенько, а она сразу растаяла, кинулась обниматься. Впрочем, еще не поздно. Надо его не замечать, пусть помучается, пусть осознает. И она действительно не замечала его минут десять. Но, поняв, что это вполне устраивает Алешу, не смогла больше молчать.

— Как воевалось? — небрежно спросила Вера.

Он рассказал, что доехал до фронта и что все было прекрасно. Но убили майора, чудесного, доброго человека, который обещал взять его в свою часть. А когда он обратился к пехотному капитану, тот попросту предал его: приставил к нему солдата и велел отправляться домой. «Войну мы и так выиграем, надо беречь патриотическую молодежь!»

— Вот какие невеселые дела, — закончил он, полагая, что рассказ получился складный.

— А я каждый день, как дура, газеты смотрела...— с досадой проговорила Вера.

Не будь Алеша так взволнован, он угадал бы ядовитый смысл, скрывающийся за этими словами. Но он спросил доверчиво.

— Зачем?

— В списках награжденных тебя искала, — обрадованно выпалила Вера и побежала на кухню.

— Змея! — бросил ей вслед Алеша.

— А я уже работаю,— сообщила она, вернувшись.

Он приложил немало усилий, чтобы изобразить безразличие.

— Не на свои ли собственные средства будешь сейчас меня угощать.

— Очень нужно! Мою зарплату откладываем на книжку. Так решили с мамой.

— Приданое копишь?

— Пустомеля!

Вера принялась домывать пол, совершая тряпкой проворные круговые движения и сообщая брату новости: Митин отец остался на фронте машинистом бронепоезда, а Митя как будто поступает на паровоз.

— Очень большое счастье — на паровоз!

— Что и говорить! Морская пехота — это счастье. По тебе видно.

— Не нужно кипятиться, — многозначительно сказал Алеша.— Я ведь против Мити ничего не говорю...

— А что ты можешь сказать против него?

— Оставим эту неблагодарную тему, — улыбнулся Алеша и положил руки на живот.— Мне совсем не до таких разговоров. Дай лучше укусить чего-нибудь.

ТРЕВОЖНЫЕ МИНУТЫ

Все здесь было белое: стены, подоконники, деревянные диваны и даже кадка, из которой под самый потолок тянулся стройный фикус.

Человек десять подростков в черных гимнастерках со скрещенными молоточками на выпуклых жестяных пуговицах ожи-

дали приема и переговаривались вполголоса. Митя был занят своими мыслями. В голове еще была счастливая путаница, а перед глазами — сияющее лицо Урусовой. Только сейчас до него по-настоящему дошли ее слова: «Ручаюсь за тебя. Пойдешь кочегаром-дублером. Испытательный срок — месяц. Смотри! Горновой сказал: «Пробойный парень! Хорошо, если и в работе себя так покажет!» Я заверила: «Покажет!»

«Будьте спокойны!» — подумал Митя.

Значит, он поездной кочегар. Правда, еще не кочегар, а кочегар-дублер, но ничего не поделаешь. В школьном драмкружке, в футбольной команде тоже были дублеры. Немного обидно, что к драмкружковцам, футболистам и к рабочим применяется одно и то же определение. Назвали б хоть стажером или практикантом, а то — дублер, вроде подставное лицо.

— Долго что-то, — сказал Митя своему соседу, коренастому пареньку с круглым и добрым лицом.

— Эх, лешак его возьми! — вздохнул парень.— Думал, работать сегодня начну. Руки горят, честное слово, хлопцы! А тут тянучка с этой комиссией. Формалистика...

— Месяц назад в училище выслушивали, осматривали с ног до головы. Я еще не успел испортиться,— шутливо-недовольным тоном подхватил парень со шрамом на подбородке.

— А кто тебя знает, — заметил сосед с облупившимся носом.— Может, и подпортился. Паровозная служба здоровых любит. В прошлом году один кончил наше училище, пришел в депо, а комиссия завернула его...

— Это почему же? — изумился черноглазый, небольшого роста мальчишка.

— Такую чудну́ю болезнь нашли, просто страх. Забыл, как называется. В общем, с цветами у него неразбериха.

— С какими цветами?

— Не с розами да маками, понятно. Медицина подкопалась, понимаешь, что у него с глазами нелады. Смотрит он на зеленый цвет, а ему красный показывается.

— Ну да! — насмешливо ввернул кто-то.— А если на красный смотрит?

— А красный ему зеленым представляется.

— Бред, — авторитетно заявил черноглазый. — Такого не бывает.

— А я говорю: есть такая болезнь, — настаивал облупившийся нос. — Название только вылетело из головы. У кого найдут такое, ни в армию не берут, ни на транспорт.

— Понятное дело, — подхватил ремесленник с круглым добродушным лицом. — Человек смотрит на красный светофор, а ему видится, будто он зеленый. И прощай, моя телега...

Митя не совсем поверил в существование столь странной болезни и все же с беспокойным взглядом обшарил белую ком-

нату, остановился на высоком, раскидистом фикусе и с облегчением отметил: толстые полированные листья определенно зеленого цвета.

Из кабинета вышел юноша с длинным и румяным лицом. На нем была клетчатая ковбойка и старые синие брюки. «Тоже самотек», — отметил Митя.

Юноша хлопнул дверью и, на ходу застегивая ковбойку, пошел к выходу. Ребята остановили его:

— Ну как? Порядок?

— Сердце, — уныло сказал парень.

— Что — сердце?

— Перебои, говорят, какие-то...

— А еще что сказали?

— И этого хватит. «Не годен» и весь разговор. — Кончики губ у него дернулись книзу.

Митя ужаснулся: такой здоровый на вид парень, и вдруг — сердце! Этак могут и у него чего-нибудь отыскать.

— Там старуха — просто тигра. — Парень в ковбойке приложил руку к карману, где лежал печальный документ. — Пускай посылают на другую комиссию. Я им докажу, какое у меня сердце!

Наконец настал Митин черед.

В кабинете остро пахло лекарствами. Возле окна за столом сидела маленькая, словно высушенная, седая женщина в белом халате. Вероятно, это и была «тигра». Она внимательно посмотрела на Митю сквозь очки и велела раздеться до пояса. Очки были совсем незавидные, одна дужка сломана, и вместо нее от круглой роговой оправы к уху тянулась двойная черная нитка. Но толстые выпуклые стекла так увеличивали, что глаза врачихи казались неестественно большими, страшноватыми, на белках виднелись тончайшие, будто паутина, красноватые жилки.

Что с ним делала эта старуха! Взвешивала, смотрела форму ступни, заставила приседать двадцать раз подряд, потом принялась выслушивать, плотно приставляя трубку к его телу; на нем появлялись и тотчас исчезали белые кружочки. Митя безропотно выполнял приказания и тревожно всматривался в сморщенное пергаментное лицо.

Чтобы показаться выгоднее суровой врачихе, он набрал в легкие побольше воздуха и, чуть согнув руки в локтях, как это делают борцы, напряг мускулы.

— Не следует уподобляться крыловской лягушке, — сказала врачиха. — Как известно, это может привести к печальным последствиям... — она впервые улыбнулась и поставила на стол трубку. — На что жалуешься, Черепанов?

Щеки у него запылали, как на морозе.

— Никогда не жаловался.

— На паровоз собираешься? — задумчиво спросила она.

Митя ответил.

— Можешь одеваться.

Пока он натягивал майку, врачиха записывала что-то в листке. Вытянув шею, он безуспешно следил за ее скрипучим и быстрым пером. Кончив писать, она сняла очки, протянула ему листок. И вдруг он увидел перед собой усталое, доброе лицо. «Вовсе не тигра!» — удивленно подумал Митя и взял бумагу.

С этим листком он странствовал из кабинета в кабинет, от врача к врачу. Ему измеряли рост, заглядывали в горло и в уши, потом молодая женщина-врач поставила его лицом к стене, сама отошла в дальний угол и стала шептать разные слова, а он должен был повторять их. Это было очень похоже на игру. Затем его подвели к таблицам с буквами и цифрами. Закрывали то один глаз, то другой, а он называл значки и буквы, в которые врач тыкала указкой. После этого заставили разгадывать цвета — видно, паренек все-таки сказал правду про болезнь.

Наконец пожилой врач бил его по коленкам стальным молоточком с черным резиновым набалдашником и тоже расспрашивал про всякую всячину.

— Получай, — утомленным голосом сказал он, вручая Мите листок, исписанный разными почерками.

— Все? — недоверчиво спросил Митя.

— Замучили? Теперь все, свободен.

— Как — свободен?

— От комиссии свободен, — понимающе усмехнулся пожилой врач. — Можешь хоть в паровозники, хоть в летчики...

ЭТОГО ОН НЕ ОЖИДАЛ

Комната нарядчика паровозных бригад перегорожена темным деревянным барьером. По ту сторону барьера за одним из столов сидел человек с круглой лысиной и лицом, вытянутым и узким, словно его пропустили между прокатными валками. Копаясь в ворохе бумаг, он хмурился, и Митя не рискнул потревожить его. И вдруг он остолбенел: за вторым столом сидела Вера. Низко наклонив золотистую голову, она старательно записывала что-то в конторскую книгу.

Приятно в чужой, казенной обстановке неожиданно встретить знакомого человека! Да еще какого человека!

— Вера! — громко воскликнул Митя и ринулся к барьеру.

Она подняла голову. Глаза внезапно засветились изумлением, но в тот же миг потухли, и лицо выразило полное безразличие.

Сведя брови, Вера повела глазами на лысого, как будто давая что-то понять. Но Митя понял одно: Алешкина сестра относится к нему по-прежнему с насмешливым равнодушием.

С какой радостью вверил бы он ей свои драгоценные докумен-

ты! Именно ей, в этом было бы даже нечто знаменательное. Вера оформляет его на работу! Но все это вздор. Он отвернулся и подал бумаги нарядчику. Тот с недовольным и рассеянным видом человека, которого разбудили, взглянул на документы и бросил их на Верин стол:

— Оформляйте.

Только совершенно чужой человек, бесчувственный писарь мог с таким безучастием читать его бумаги. И как это можно — ведь она сама недавно поступила на работу и должна понимать, что делается в его душе!

В четвертом классе Вера заявила, что хочет сидеть на одной парте с Митей Черепановым. Митя и Коля Зырянов запротестовали: они с первого класса сидели вместе. Но Вера была непреклонна. Ее не остановили даже угрозы, хотя она знала, что в отношении угроз и Митя и Коля весьма исполнительны.

— Чего ей нужно? — удивлялся Митя, рассказывая об этом Алеше.

— Очень просто — ты ей нравишься. Она даже маме сказала: «Самый лучший мальчик в нашем классе Митя Черепанов».

Дело дошло до Валентины Ивановны, классной руководительницы. «Очень хорошо ты придумала, Вера, — сказала она. — Мальчики меньше будут разговаривать на уроках...» И Вера осталась с Митей на одной парте.

Каждый день на большой перемене она приставала к нему с угощениями.

— Съешь бутерброд с корейкой. Думаешь, не хватит? Посмотри. Не любишь корейку? Не понимаю, как можно не любить корейку! Ну, тогда возьми вот булку с яблочным джемом...

И Митя и Коля бойкотировали ее, а она, не обращая на это внимания, старалась все время быть с ними. Митя откровенно презирал ее, жестоко дергал за косы, подкладывал кнопки на парту и делал другие пакости. Но она сердилась недолго...

Расстались они после пятого класса: Вера перешла в шестой, а Митя, как известно, остался на второй год в пятом. Потом ее с другими девочками перевели в женскую школу. С тех пор Митя редко встречал Веру. При встречах они обычно не замечали друг друга и не всегда удостаивали приветствием.

Так было до одного памятного вечера. Полгода назад, 31 декабря, в женской школе был новогодний вечер, на который пригласили мальчишек. Мите не хотелось идти: боязно было очутиться вдруг среди сотен девчонок. Но Алеша почти силой потащил его: «Это ты отвык от них. А они не кусаются, ручаюсь. Пошли. Верка говорит, не заснем...»

Драмкружок показал две картины из пьесы «Таня». Сначала Митя разгадывал бывших соучениц в незнакомых людях, действовавших на сцене. Но постепенно жизнь этих людей захватила его.

Затем кто-то играл на рояле, кто-то пел. И вдруг назвали Веру Белоногову. Митя вопросительно взглянул на своего друга.

— Сейчас услышишь, — не без гордости шепнул Алешка. — Все уши мне продырявила этой декламацией...

Вера подошла к краю сцены. Голова чуть откинута назад, будто ее оттягивала тяжелая золотистая коса. Она улыбнулась. Но вот лицо стало торжественно-строгим, немного тревожным и прекрасным. Это преображение произошло на Митиных глазах, и он в восторженном изумлении затаил дыхание.

Тишина, ах, какая стоит тишина!
Даже шорохи ветра нечасты и глухи,
Тихо так, будто в мире осталась одна
Эта девочка в ватных штанах и треухе...

Временами ему чудилось, будто на сцене никакая не Вера Белоногова, а сама Зоя, волшебно явившаяся сюда, простая, великая, вечно живая.

И казалось, та же самая ужасающая тишина наполняла школьный зал. Митя прислушивался к тишине, к незнакомому, сильно звучавшему голосу, и колючий холод пробегал по его спине. Он всем существом своим слушал этот торжественный, хватающий за сердце голос, порой затихающий до шепота, порой звенящий на весь зал, словно в полусне смотрел и смотрел на Веру, будто видел ее впервые. И поражался, что не замечал раньше, какая она красивая, какой у нее замечательный голос...

Когда кончился концерт, Митя, забыв про Алешку, помчался в коридор. Но Веры нигде не было.

Они столкнулись лицом к лицу в раздевалке.

— Вера, — сказал он, не помня себя от внезапной смелости.

Она повернулась к нему. У ног ее стояли маленькие черные валенки, а в руке была коричневая туфля, которую Вера успела скинуть.

— Вера, — сказал Митя, часто дыша, — ты знаешь... Ты так читала!.. Я никогда не слыхал, чтоб так читали... И вообще я тебя не узнал...

Залпом выпалив все это, он был готов бежать, но Вера взяла его за руку. Возможно, в знак благодарности за добрые слова, а может, ей просто нужна была точка опоры: она стояла на одной ноге.

— Спасибо, Митя, — проговорила она. — Но ты перехвалил меня. Очень сильные стихи... А перемены во мне... Пока все знакомые узнают меня...

— Нет, нет, ты не поняла меня...

Он вырвал руку и выбежал из школы.

Смутное, никогда не испытанное беспокойство томило его весь вечер, не прошло и на другой день, и через месяц. Где бы он ни был, что бы ни делал, он все время думал о Вере, мысленно разговаривал с ней.

Чтобы увидеть Веру, он утром пораньше торопился к ее школе. А Марья Николаевна с удовлетворением говорила Леночке:

— В эту четверть ровно кто подменил Димушку, сам встает чуть свет...

Иногда приходилось подолгу ждать, прячась за боковую стену. И, как только тяжелая дверь закрывалась за Верой, он летел без роздыха три квартала, нередко едва поспевая к звонку. От школы до дому было рукой подать, но он давал крюк — в надежде встретить девочку. Он стал захаживать к Алешке чаще прежнего, и его мучила совесть: словно изменял другу.

Вера не замечала его, даже когда он находился в двух шагах от нее, в их не очень просторной комнате. А если замечала, то лишь для того, чтобы сказать какую-нибудь колкость...

Митя с наслаждением простоял бы около барьера до конца рабочего дня, если бы Вера встретила его иначе. А она долго и придирчиво присматривалась к его бумагам. Он ядовито сказал:

— Чего столько копаться? Вроде ясно написано...

И испугался своей грубости. Но тут же успокоил себя: незачем прощать жестокость!

Вера опустила голову, едва сдерживая смех.

—А вы не можете знать, сколько нужно «копаться». Есть определенная форма...— ответила она сугубо официальным тоном.

Если бы врач не проверял его слух, Митя не поверил бы своим ушам. Чтобы показать свое безразличие к нему, Вера даже стала величать его на «вы»!

Между тем нарядчица достала из стола картонный прямоугольничек величиной со спичечную коробку и написала на нем «Черепанов Д. Т.». Она вывела это так подкупающе старательно и красиво, что на сердце у Мити сделалось теплее. Сейчас она повесит картонку с его фамилией на доску нарядов паровозных бригад, и оформление закончено...

Доска была увешана металлическими пластинками, выкрашенными в разные цвета. На синих пластинках белилами были написаны фамилии машинистов, на зеленых — помощников, на желтых — кочегаров.

«Ничего, — думал Митя, — сейчас — картонка, а со временем тут повесят железный жетон с фамилией Черепанова: сначала желтый, зеленый, а потом и синий. Обязательно так будет...»

Сделав гвоздиком аккуратную дырочку в картонке, Вера повесила ее на доску.

— Вот и все, — миролюбиво и деловито сказала она, не глядя на Митю. — Выезжать завтра в двадцать десять. Поезд номер сто восемь. Постарайтесь не забыть.

ЗАВТРА В НАРЯД

Выйдя из нарядческой, Митя встретился в коридоре с Максимом Андреевичем, и машинист затащил его в соседнюю комнату.

Она было немного больше той, где сидела Вера. Вдоль стен вытянулись коричневые массивные диваны, какие можно увидеть на каждом вокзале. Посредине — длинный стол, покрытый листами захватанного картона с загнутыми и ветхими краями.

Четверо парней за столом забивали «козла» и, как это обычно бывает, отчаянно стучали костяшками. Несколько человек сгрудились перед стенной газетой.

Сизые волны табачного дыма колыхались над столом. Когда открывалась дверь, они вздрагивали и тянулись к распахнутым окнам.

— Это, чтоб знал, и есть дежурка, — говорил Мите Максим Андреевич, закуривая трубочку и посмеиваясь. — А по-нашему — «брехаловка». Почему, спросишь? Люди на досуге любят тут языки поточить. Все, брат, узнаешь в «брехаловке»: что нового на дороге, кто какой рекорд поставил, сколько картошки сняла со своего огорода Глафира Ивановна, какую новую пакость высказал про нас в палате какой-нибудь лорд. Верно я говорю? — обратился он к подошедшему Чижову.

— Сущая правда. Просвещаешься, Черепанов?..

— Так вы, стало быть, уже познакомились? Вот и хорошо...

Поговорив с помощником о делах, Максим Андреевич присел на диван, показал Мите на место рядом.

— Ну вот, Дмитрий, завтра твой первый маршрут. — Старик положил сухую теплую ладонь на Митино колено. — Первый маршрут! Это, я скажу, все равно, что первый шаг. Ползало, ползало дите на всех четырех, потом, глядишь, поднялось с полу и шагнуло, пошло... Ты уж не серчай за такое сравнение. Одна только разница есть: никто не помнит, как он сделал свой первый шаг, а первый маршрут никогда не забудешь. Я уже до старости дожил, а первую поездку помню, ровно вчера было...

В самом деле, Митя даже не подумал об этом. Ведь завтра он первый раз в жизни поднимется на паровоз не для игры, не как мальчишка, которого отец берет с собой в поездку, — он поднимется на паровоз как рабочий...

Взяв Митю за локоть, Чижов наклонился, сказал негромко и загадочно:

— Веревку не забудь прихватить, Черепанов...

Прищурив один глаз, старик посмотрел на своего помощника и отчаянно задымил трубкой.

— Это еще зачем? — удивился Митя. Он никогда не слышал, чтобы железнодорожники тащили с собой на паровоз веревки.

— Скорости не учитываешь, дорогой товарищ. Знаешь, на каких скоростях мы сейчас ездим? Не привяжешь себя — вылетишь с тендера, как уголек...

Конечно, Чижов пугает его. Слыханное ли дело, чтобы человека ветром с паровоза сдуло!

— В нашем роду все были паровозники и никто еще не слетал, — сказал Митя, глядя прямо в водянисто-голубые глаза, прикрытые рыжей сеточкой ресниц.

— Вот это отбрил! — Максим Андреевич восторженно хлопнул Митю по колену. — Съел, товарищ Чижов? Знай наших! — и обернулся: — Верно, Дмитрий. На батю будешь похожий, никогда не слетишь...

Чижов размашисто протянул руку кочегару:

— Хвалю! Новый член бригады у нас что надо!

Из депо на улицу Красных зорь можно было выйти двумя дорогами: сразу напротив конторы пересечь пути и подняться в гору или по путям, вкруговую, через станцию. Это была наиболее интересная, но запретная дорога: как известно, хождение по путям не разрешается. Прежде Митя чувствовал себя здесь не очень уверенно. В любой момент тебя мог остановить солдат железнодорожной охраны и попросить удалиться отсюда. Но сейчас он шел по путям независимо и степенно. Между тем никто и не собирался останавливать его: железнодорожники — удивительно приметливый народ, они видят, где обыкновенный прохожий, а где свой работник.

На станции было, как всегда, суматошно и шумно. Приходили и уходили длинные тяжеловесные поезда. Те, что двигались на восток, были нагружены ржавыми глыбами руды, углем, янтарно-желтыми бревнами, автомашинами; на запад двигались эшелоны с людьми, танками, орудиями.

Провожая неутомимые гулкие поезда, Митя почему-то вспомнил рассказ отца о том, как на паровоз к Тимофею Ивановичу прислали однажды нового кочегара и как после первой же поездки машинист потребовал сменить его... Но почему лезут такие мысли?

Навстречу Вова Черепанов гнал звонкое колесо.

— А у тебя Алешка гостит! — крикнул он. — Его нашли и привезли обратно...

Митя вбежал в дом.

— Алешка!

Они пожали друг другу руки да так и остались стоять посреди комнаты. Трудно сказать: радость или смущение были в лице Алеши, в каждом его движении!

— Вот и встретились, — приветливо улыбнулась сквозь очки Марья Николаевна. — А то Митя совсем стосковался без дружка...

Митя боялся, как бы мать не сказала чего-нибудь лишнего,

что могло бы еще больше смутить Алешу, и повел его в свою комнату.

— Я тогда нахамил тебе, — глядя в пол, проговорил Алеша. — Очень глупо все вышло...

— Да я забыл давно, — отозвался Митя. — Садись. Рассказывай...

— Вернулся, как видишь, — невесело усмехнулся Алеша. — Доставили, вроде преступника. Верке под расписку сдали...

— Под расписку? — рассмеялся Митя. — Теперь сестренка заест тебя...

Вспомнив о Вере, он нахмурился.

— Выследили? — с сочувственным интересом спросил наконец.

— Верка и мама заявили коменданту, ну и накрыли... А ты на работу поступаешь?

— Завтра в наряд. Да я-то что, ты о себе...

Алеша говорил о себе неохотно и вяло, без обычного огонька, был угрюм, подолгу молчал. Как все это было не похоже на него! Митя не выдержал и возбужденно заговорил о своих делах.

— Может, пойдешь тоже? — спрашивал он, тряся Алешу за плечи. — Давай. Вместе будем. Решай быстрее, каникулы-то идут...

— Что-то не тянет,— пожал плечами Алеша.— Посмотрю сначала, как у тебя получится...

СБОРЫ В ДОРОГУ

Старая отцовская тужурка так приятно пахла машинным маслом, огнем и железом... Это была настоящая рабочая спецовка, но имела она один огорчительный недостаток: была велика. Подкатав рукава и оглядев себя, Митя снял с вешалки такую же старую фуражку с потрескавшимся лакированным козырьком, с маху надел ее, причем фуражка повисла на ушах, и отправился на кухню. Марья Николаевна, увидев сына, заулыбалась, вокруг глаз залучились тонкие сухие морщинки. Но в следующее мгновение лицо матери сделалось задумчивым и строгим.

— Повесь все на место, — тихо приказала она. — Был бы отец дома — другое дело. А раз человек на войне — нельзя трогать его вещи...

С детства Митя привык к порядку, раз и навсегда заведенному в доме: отцовское место за столом никто не занимает. Если отец в поездке, его место пустует. Митя никогда не нарушал этого порядка. Но почему сейчас нельзя было надеть старую отцовскую спецовку — это он понять не мог. В чем же прикажете

ехать? Неужели в том же, в чем ходил в школу? И сколько у них, у пожилых людей, всяких примет, поверий!

Марья Николаевна прошла в столовую и уже оттуда позвала:

— Поди сюда!

Повесив в прихожей тужурку и фуражку, он с чувством досады пошел в столовую.

— А ну, посмотри, что я приготовила. — Марья Николаевна держала в руках синюю тужурку, по виду совсем новую. — Примерь-ка.

Куртка была замечательная: с отложным воротом, маленькими остроугольными лацканами, а самое главное — с четырьмя карманами и жестяными пуговицами. Белые металлические пуговицы с малых лет трогали Митино сердце. Правда, повзрослев, он стыдился признаться в этой своей слабости, усматривая в ней что-то мальчишеское. А вот мать угадала...

— Какая ты у меня!.. — Митя порывисто обнял ее.

А Марья Николаевна еще и починила, оказывается, старенькие брючки, о которых он совсем забыл. Она выпустила манжеты, и брючки как бы догнали Митю в росте. На них появилось столько заплаток и штопок, что они могли вызвать только уважение,— это были настоящие рабочие брюки.

Облачившись в спецовку и оглядев себя в зеркало, Митя остался доволен: о лучшем костюме трудно было мечтать. Правда, куртка могла бы быть чуть поношеннее, тогда она не так бросалась бы в глаза, не так выдавала новичка.

Пока сын вертелся перед зеркалом, Марья Николаевна отвернула край скатерти и положила на клеенку, всю в блеклых чернильных пятнах, ломоть хлеба, кусок сала, три картофелины, сваренные в мундире, соль в бумажке и вафельное полотенце.

— Во что же мы все уложим?

Задумавшись на секунду, Митя таинственно подмигнул матери, побежал в свою комнату и через минуту вышел, пряча за спиной руки. Неторопливо приблизился к столу и движением фокусника опустил на скатерть вещевой мешок из грубой зеленой материи.

Марью Николаевну словно ветром качнуло. Она подалась к столу, быстро взяла мешок и, не отрывая от него глаз, тонкими пальцами торопливо ощупала жесткую материю.

— Где ты его взял? — спросила она безголосо, прижала мешок к груди, перевела дыхание и села на стул.

Митя сказал.

— Ну да, он... Я сразу признала. Отец с гражданской с ним пришел, с бронепоезда. Помню, скинул мешок с плеч и говорит: «Спрячь его, Марьюшка, куда-нибудь подальше. Теперь не скоро сгодится». Вот и сгодился...

Охваченная воспоминаниями, она долго сидела молча, не выпуская мешка. И вдруг спохватилась:

— Что это я, тебя же собирать надо... — поднялась и стала укладывать в мешок все, что приготовила сыну в дорогу. А Митя, высчитав, что у него в запасе почти полтора часа, раскрыл «Наставления кочегару» — книжку, найденную в библиотечке отца.

— Не опоздаешь, Димушка? — напомнила Марья Николаевна.

Он застегнул куртку на все пуговицы, надел кепку, вскинул на плечо вещевой мешок и посмотрел на мать.

«Хорош!» — улыбнувшись, подумала Марья Николаевна. А когда он совсем собрался уходить, предупредила:

— Смотри, правой ногой порог переступи. И не смейся. Твой отец всегда мои приметы уважает. Сделай для матери такое уважение.

«Ну что поделаешь с этими суевериями! Ну хорошо, ну пускай ей будет спокойнее», — и Митя переступил порог правой ногой.

Придерживая лямки мешка, зашагал к калитке, но прежде чем выйти на улицу, оглянулся. Он знал: мать непременно выйдет на крыльцо — так она провожала в каждую поездку отца.

Марья Николаевна действительно стояла на крыльце и, заслонившись ладонью от заходящего солнца, смотрела вслед сыну.

В дежурке гремело радио. Из репродуктора, вокруг которого столпились паровозники, неслись звуки марша.

— Что взяли? — спросил Митя у прислонившегося к косяку парня.

— Минск освободили.

— Знатно!

Возле карты сгрудилось несколько человек. Чижов рисовал красным карандашом изменившуюся линию фронта. Вероятно, он ошибся, и на него напустился глуховатый бас:

— Куда же ты заехал, Чиж? Карту портишь.

— Не беда, — заступился за Чижова Максим Андреевич. — Забежал малость вперед, ничего. В следующую сводку сравняется...— Увидел Митю, подошел к нему: — В хороший день на работу заступаешь, Дмитрий!

Радостное известие с фронта, слова старика вмиг рассеяли тревогу, с которой он приближался к депо. Да, в хороший день начинается его маршрут!

Максим Андреевич набил самосадом трубку, задымил и достал часы:

— Бригада в сборе, можно ехать...

В коридоре Митя увидел Веру. Он не успел подумать, что рабочий день у нее кончился. Где ему было догадаться, что встреча это не случайна. От неожиданности он остановился. Машинист и помощник уже вышли во двор. А Вера встала у двери, загородив дорогу. Длинные изогнутые ресницы ее вздрагивали.

Коса свешивалась на грудь, и Вера то распускала, то завязывала узкую голубую ленточку.

— Можешь дуться, дело твое, — быстро заговорила она, — но я хочу тебе объяснить. Старший нарядчик, лысый этот,— страшный формалист. Окаменелость, а не человек. Силаева передавала мне дела, мы с ней, конечно, на «ты», а он полчаса потом нотацию читал: «На работе не должно быть панибратства...» А ты... ты помнишь, как влетел? Прямо как в школе...

Митя молчал.

— Вот и все, — проговорила она негромко. — Успеха тебе...

— Спасибо... Это что, тоже по форме полагается?

— Нет, по содержанию! — Вера откинула назад косу и побежала к себе.

Он постоял некоторое время посреди коридора, глядя на дверь в нарядческую, и кинулся догонять бригаду.

ЛЕКЦИЯ МИШИ САМОХВАЛОВА

Они шли по шпалам, словно по ступенькам бесконечной лестницы. Тоненькие сверкающие ручейки рельсов обгоняли их, убегая далеко-далеко. Где-то там, впереди, они сливались в одну нить и сверкали еще ярче.

И снова, как когда-то, дорогу паровозникам загородил «ФД»; блестя своими начищенными частями, негромко дыша, он медленно проходил мимо. Максим Андреевич сбоку посмотрел на Митю и перехватил его неотрывный мечтательный взгляд.

Казалось, прячась за стеной депо, притаился маленький паровоз, неслышный, незаметный. К нему и направился Максим Андреевич. А Митя, глядя на широкую с прямыми плечами спину помощника, подумал: «И как он только вмещается на таком паровозике?»

— Михаил! — позвал Максим Андреевич, подойдя к паровозу.— Давай-ка сюда!

— Есть, Максим Андреич! — бойко ответил из будки хрипловатый, захлебывающийся голосок.

В будке что-то звякнуло, и в следующее мгновение с паровоза спорхнул паренек.

— Миша! — вскрикнул Митя.— Самохвалов!

Миша заморгал цыганскими глазами.

— А, железнодорожник! Здрасте. Наше вам. Так это ты дублером поступаешь?

— И тут знакомые!— развел руками Чижов.

— Еще как! — живо ответил Миша.— Чуть было не задрались однажды.

— Долго ли вам! — Максим Андреевич выколотил трубку, взялся за поручни.— Введи его, Михаил, в курс, да толком...

Машинист и помощник поднялись на паровоз. Кочегары остались внизу. То, что Миша Самохвалов, этот ловкий, боевой паренек, оказался на узкой колее, развеселило Митю.

— Так вот ты где? — сказал он насмешливо.— Здорово!

— Именно, товарищ железнодорожник. А что? — невозмутимо отозвался Миша.

— Где же твоя широкая колея?

— А я ничего не говорил тебе про широкую.

— Как же не говорил? А Златоуст? — торжествовал Митя.

— Дался мне твой Златоуст! — небрежно проговорил Миша.— Нужно будет, доеду...

— Толсто врешь, парень...

— А вот я говорил: попадешь ко мне на машину! Скажешь, не говорил?

— Я считал, что Максим Андреич — хозяин машины...

Самохвалов задумчиво потрогал маленький вздернутый нос и спросил серьезно:

— Веревку с собой прихватил?

— Спрашиваешь,— спокойно сказал Митя.— Прихватил. Чтоб язык тебе перевязать...

— Ух ты! — весело удивился Самохвалов и дружески стукнул Митю по плечу.— Молодцом! Будешь железнодорожником. Недаром с первого разу мне понравился. Повезло ж тебе, Черепанов! В бригаду попал — во! — он торчком выставил большой палец правой руки.

— Потому что ты в ней?

— Скажите, какой ерш! С тобой по-серьезному говорят. Такого машиниста, как Егармин, поискать. Старый большевик, первый человек в депо, верное мое слово. А Чижов? Мастер — высший класс. Так что смотри, старайся сделаться человеком...

Самохвалов одернул широкую, с чужого плеча спецовку, поправил фуражку, достал из кармана ветошь и, неторопливо вытирая руки, показал на паровоз:

— Прошу познакомиться: перед тобой машина серии «К». А по-нашему — «Коля», «Колюша». Номер и сам прочтешь, грамотный, наверно, «четырнадцать пятьдесят два». Это как бы его фамилия. Формула данного паровоза: «ноль-четыре-ноль». Это значит: впереди бегунов нету — ноль, имеются четыре ведущие оси, а под топкой колес тоже нету. Ясно? Что неясно, спрашивай...

Разумеется, Максим Андреевич имел в виду, что Самохвалов введет Митю в курс кочегарского дела. Но Самохвалов, желая блеснуть ученостью, легко перемахнул за рамки кочегарских владений. Митя не перебивал: вдруг расскажет что-нибудь нужное, интересное...

— Прошу нас уважать,— продолжал Самохвалов, положив

руку на тускло блестевшую обшивку парового цилиндра.— По паспорту мы 1907 года рождения. Нам тридцать семь лет.

— По паспорту?

— Ха! Он думает, только у него есть паспорт. Представь, паровозы тоже имеют.

— Тридцать семь лет. Не такой уж и старый.

— Как сказать,— отозвался Миша.— Для человека — да. А у машины иначе. За тридцать семь годков техника-то ушла вперед, а наш «Коля» ни чуточки не переменился. Значит, устарел. Душой, конструкцией, устарел, понятно?

Роль учителя, вероятно, нравилась Самохвалову. Порой он, кажется, забывал, что перед ним единственный слушатель: говорил вдохновенно, с азартом, хрипловатым, захлебывающимся голосом. Угольно-черные глаза его сверкали.

Митя знал историю паровоза, представлял себе принцип его работы, безошибочно отгадывал разные серии машин, но как все это было далеко от тех знаний, которые необходимы ему сейчас! Он понимал, что Самохвалов говорит будто с чужого голоса, чужими словами, однако не придавал значения поучающему тону новоиспеченного учителя. Пускай заносится парень, зато сколько нового он открыл Мите! Что ни минута — целое открытие. Например, в тендерных буксах, которые должен смазывать кочегар, имеются фитили (почти как в лампе). Если кочегар не заметил, что фитиль выпал, смазка вытечет на шпалы, а буксы могут загореться. Или другое. Экипажи, как известно, теперь можно встретить только в кинокартинах и книжках о прошедших временах. А кто бы мог предположить, что одна из самых важных частей паровоза, поддерживающая котел, называется экипажем? Оказалось, что паровозы, не имеющие тендера, называются танковыми или танк-паровозами. К сожалению, Миша не смог объяснить происхождения этого сугубо военного названия мирной машины...

Затем они поднялись на паровоз, и Самохвалов передал дублеру свое хозяйство. Оно было немаленьким: масленки, множество различных ключей, зубил, шаберов, напильников...

— А тут твое полное царство,— сказал он, выйдя на тендер.

Под ногами Мити с тихим шорохом, напоминающим тревожные звуки горного обвала, осыпался уголь. На краю тендера в двух круглых отверстиях — люках — поблескивала неподвижная вода; она казалась темно-зеленой и густой — хоть ножом режь.

На тендере хранились инструменты: резак, заглушка, пика. Увидев, что все они привязаны к тендеру цепью, Митя засмеялся: кто станет покушаться на эти железяки! Но Миша заметил, что ничего смешного в этом нет: выпадет на ходу какой-нибудь инструмент, и без него, может случиться, горько заплачешь в поездке...

Введя дублера «в курс» и одновременно исчерпав запасы знаний, Самохвалов стал рассказывать о преимуществах паровозной службы перед всякой другой, но в это время Максим Андреевич позвал из будки:

— Михаил! Вас там углем не засыпало?

— Только-только закончили! — крикнул Самохвалов.

Когда кочегары спустились в будку, Максим Андреевич, сидевший у правого окошка, подозвал Митю.

— Не хотелось мне, Дмитрий, при нем говорить,— он кивнул на Самохвалова,— и так уж носом небо подпирает. Смотри, какой порядок у него. Все блестит. Паровоз любит смазку да ласку...— Далеко отставив руку, старик взглянул на часы, поднялся с круглого сиденья.— Пойдем, осмотрим машину...

Митя понял, что машинист давно успел осмотреть машину, это был повод, чтобы показать ее кочегару.

Мите не терпелось поскорее отправиться в путь. А машинист все ходит не спеша вокруг паровоза. Где ключом постучит, где рукой потрогает. Уже начали подступать сумерки. Чижов присвечивает дымным факелом из ветоши, намотанной на железный прут и смоченной в мазуте. Этак можно всю ночь проходить и с места не двинуться.

— Скоро поедем? — томясь, спрашивал Митя.

— Как отправление дадут, так и поедем,— улыбался Чижов.

Наконец помощник растоптал сапогами живучее и шипящее пламя факела, после чего стало еще темнее, и все взобрались на паровоз. Самохвалов начал складывать инструмент, а Митя вышел на тендер, поплевал на ладони, как это делают дроворубы и землекопы, и взял лопату.

Спокойным, бархатистым голосом запел рожок стрелочника. Звук этот, певучий и призывный, словно вывел паровоз из спячки. Он свистнул на весь свет, вздрогнул и пошел. Уголь посыпался с сухим шорохом, почва катастрофически уходила из-под Митиных ног. Он сел и засмеялся. Выходит, прав был Чижов, спрашивая про веревку...

Депо осталось позади. Навстречу паровозу светлячками полетели веселые огоньки стрелок. Внизу глухо загрохотал разъезд. Митя понял: паровоз идет на перевалочную станцию. Там они возьмут состав, укатят из Горноуральска, а утром будут уже далеко-далеко...

Когда Митя выпрямлялся, ветер упруго наваливался на него, толкал в грудь, желая свалить. Но единственно, что ему удавалось,— это выжать слезы из Митиных глаз. А вдали уже вырисовывалась высокая башня водокачки с узкими, как бойницы, окошками. Приближалась перевалочная станция.

Через несколько минут паровоз подкатил к составу. Это был не какой-нибудь пригородный поезд. Крытые вагоны с пломбами на дверях, гондолы — причудливые лодки на колесах, нагружен-

ные углем платформы. Чего только не было на них: кирпич, гигантские мотки проволоки, станок, похожий на слона, даже с хоботом, рельсы, уложенные, как спички в коробке. Одним словом, вести такой поезд — настоящая большая и важная работа!

Первый маршрут! За ним следит Горновой, следят диспетчеры, начальники станций и, вполне возможно, сам начальник дороги, потому что маршрут этот имеет немалое военное значение. А в жизни дублера Черепанова он, быть может, имеет еще большее значение. Наверное, прав Максим Андреевич: много будет у него всевозможных рейсов, много будет пройдено дорог, но этот первый маршрут не забудется никогда. И стоит ли сейчас гадать, как он пройдет, как покажет себя дублер, справится ли, не споткнется ли, делая этот первый шаг?..

«МАЛО КАШИ СЪЕЛ...»

Чижов ловко откинул дверцу топки, и солнечный жар ослепил Митю. Толстый, на первый взгляд неповоротливый, помощник стоял посреди будки, твердо упершись ногами в железный пол. В руках у него, казалось, был не черенок лопаты, а заветный рычаг, которым можно повернуть земной шар.

Согнувшись, он захватил из лотка полную лопату угля и, не просыпав ни крупинки, отточенно метким и легким движением послал ее в узкое горло топки. Уголь рассыпался веером и упал черным дождем, неслышным за шумным ревом пламени. И тотчас же Чижов выхватил лопату, словно боясь, что огонь поглотит ее, и повернул так, что тыльная, блестящая, как зеркало, сторона отразила пламя, позволив увидеть, что творится там, в жарком аду топки. Не дольше секунды смотрел он на огонь. Потом забросил следующую лопату, потом еще и еще.

Веснушки исчезли со лба и щек помощника. Лицо, освещенное заревом топки и внутренним светом, было неузнаваемо красивым: Митя не мог оторвать от него глаз.

Вот Чижов шумно захлопнул звонкую дверцу и выпрямился, как богатырь после нелегкого, но победного поединка. Одной рукой оперся на лопату, другой вытер со лба пот. Даже теперь, при сумрачно-желтом свете слабой электрической лампочки, его лицо весело и тепло светилось.

Мите неодолимо захотелось действовать. Выйдя на тендер, он взял из рук Самохвалова лопату и начал подгребать уголь к лотку.

— Давай, давай, Черепанов, учись,— покровительственно сказал Самохвалов.— Видал, как Чижов кидает?

— Здорово! — завистливо вздохнул Митя.

— Топит, черт, как в сказке. А для паровозника — это главное...

Митя побаивался, что Самохвалов ревниво захочет все делать сам, чтобы перед дублером показать свое мастерство, а перед бригадой — свою незаменимость. Но Самохвалов оказался благороднее, и Мите было неловко теперь за свои опасения. Наполнив лоток, он вооружился ветошью и принялся начищать инструменты и бронзовую арматуру: вентили, краны, трубки, чтобы все, что только способно блестеть, заблестело на паровозе еще ярче, заискрилось, заиграло.

Он не заметил, как помощник кивнул Максиму Андреевичу: видали, мол, работягу? Старик прищурился в ответ, погладил короткие обкуренные усы и буркнул в ухо Чижову:

— Черепановская косточка!

Тому, кто никогда не бывал на паровозе, наверное, покажется здесь душно, тесно и страшновато. Пламя в топке гудит, завывает, от всего пышет бешеным жаром, ни до чего не дотронься. Но для Мити здесь не было ничего страшного. Надо признаться, правда, что, вытирая арматуру, он обжег палец и от боли прикусил губу. Но такое может случиться и с опытным паровозником. А люди, считающие, что кочегар — это чумазый паренек, который только и делает, что копается на тендере, очень заблуждаются.

Выждав, когда Самохвалов поднялся на тендер, Митя подошел к Чижову:

— Мне бы потопить маленько.

Помощник поднял выгоревшие брови:

— Рано еще. Мало каши съел. Да и не проходили у вас этой науки...

— Все равно придется.

— Ну, постигай! — Помощник уступил Мите лопату.— Открывай топку и читай, там все огнем написано. Где пламя пробивается свечой, туда и кидай...

Копируя движения Чижова, Митя откинул дверцу и зажмурился от бесновавшегося огня. Как все было обманчиво легко и просто, когда это делал помощник машиниста! Митя набрал уголь, примерился, с разворота хотел забросить в топку — и промахнулся. Лопата загремела о дверцу, уголь просыпался. Митя снова захватил из лотка полную лопату, снова примерился, размахнулся и... железо опять громыхнуло о железо, а в будке послышался дождевой шелест сыплющегося на пол угля. Эх, если бы за ним не следили водянисто-голубые глаза помощника, он бы ни разу не промахнулся!

Чижов захлопнул дверцу. Митя, не глядя на него, вернул лопату, отошел в сторону.

— Не горюй, Черепанов,— усмехнулся тот.— Самое главное — не горюй! Вот станем на ремонт и попросим, чтоб для тебя топочное отверстие пошире сделали...

— Ну, Тихон, ты над молодым не куражься,— вступился

Максим Андреевич.— Ты лучше расскажи ему, как сам в первую поездку чуть не разбил лопатой паровоз.

— Был грех! — Чижов обнял Митю за плечи и снова протянул ему лопату: — Ну-ка, давай повторим еще разок, пойдет...

Среди ночи Митя изнуренно присел на железный ящик, подумал, что за всю поездку даже не вздремнул. И как только подумал об этом, у него невыносимо загудели ноги, глаза словно запорошило песком.

— А ты высунься в окно, обдует,— посоветовал Чижов.

За окном был плотный грохочущий мрак. Паровоз взрывал его, и мрак расползался в разные стороны, проникал в будку, крался к лампочке, вздрагивавшей под черным сводчатым потолком, забивался во все уголки. Мрак подступил к Мите, принял его в мягкие, вкрадчиво-ласковые, убаюкивающие объятия. Митя пробовал сопротивляться: поднимал голову, с трудом открывал глаза, но веки тут же слипались, и сон все крепче сжимал их.

— Эй, железнодорожник! Дублер! Пузыри пускаешь? — Это Самохвалов кричал в самое ухо, чтоб никто, кроме Мити, не услышал.

Он испуганно широко раскрыл глаза.

— Я не сплю...

— Факт, не спишь,— охотно согласился Самохвалов и кивком показал: — Давай на тендер.

На тендере он снял с Мити кепку и приказал:

— Голову нагни!

И, прежде чем Митя успел сообразить, зачем нужно нагнуть голову, обжигающая струя холодной воды ударила ему в затылок.

— Без привычки ночью всегда укачивает,— говорил Самохвалов, постукивая ладонью по большому медному чайнику.— Самое верное средство! Освежает, как в сказке.

Митя отжал волосы и поймал Самохвалова за руку:

— Они видели?

— За тобой только и следят, делать больше нечего.

— А ты не взболтнешь? Ну не надо, будь другом!

— Как приедем, по радио передам...

Митя не думал, не гадал, что в эту поездку ему еще раз представится случай «отличиться»...

«РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК...»

Внезапно раздался частый перестук колес на стрелках, и со всех сторон брызнули огни. Они казались нестерпимо яркими после непроглядного мрака.

Глаза наконец немного привыкли, и Митя разглядел надпись на высоком белом здании станции: «Благодать». Вот это сильно!

Всего полночи прошло, а уже Благодать. К утру они будут ой-ой где!

Как только поезд остановился, подошел сцепщик. Не выпуская изо рта свистка, поставил фонарь на землю и, пригнувшись, нырнул между тендером и первым вагоном. Скрипнуло железо, громыхнул крюк и словно просвиристел сверчок.

Паровоз отцепили. Он вздохнул с облегчением и неторопливо покатил в сторону от станции.

— Заправляться,— сказал Самохвалов.

Угольный склад представлял собой площадку, заставленную черными усеченными пирамидами. Угля было кругом так много, что ночь казалась темнее. Черное царство угля.

Кран на соседнем пути заворчал, зашевелился, подняв голову, заглянул в тендер и, помедлив, разжал железные челюсти. В тендер с сухим, отрывистым шумом посыпался уголь.

Голова поворачивалась, припадала к угольной горе, опять поднималась и со скрежетом двигала челюстями.

— Питанием запаслись,— с видом довольного хозяина проговорил Самохвалов.— Теперь можно дальше...

Когда паровоз подошел к составу, Максим Андреевич вместе с помощником опять принялись осматривать машину, и Митя остался в будке один. Это продолжалось не больше пяти минут, но много ли нужно, чтобы вообразить себя главным лицом на паровозе! Он бросил озабоченный взгляд на манометры, по-хозяйски посмотрел в топку. «Не мешает подбросить»,— и послал в топку подряд три лопаты угля, причем всего лишь один раз промахнулся. Потом взглянул на водомерное стекло, похожее на градусник: в высокой стеклянной трубке неподвижно стоял дымчато-зеленоватый столбик воды. «А не добавить ли водички в котел?» И он постучал снизу вверх по горячему рычагу инжектора, как это делал Чижов. Инжектор сработал, за окном заклубился пар, было слышно, как вода из тендера с глухим гулом ринулась в котел. И тут же послышался крик помощника машиниста:

— Эй, голова! Чуть-чуть не ошпарил. Ты, друг любезный, в окошко посматривай...

Митя не успел ответить: снизу раздался голос Максима Андреевича:

— Димитрий, масленку!

Сколько раз он взбирался на паровозы, стоявшие на пустыре, сколько раз спускался по их крутым и узким ступенькам. Это было так же просто, как ходить по земле, дышать воздухом. Но одно дело спуститься с паровоза налегке, а другое — держась одной рукой за поручень, а другой неся масленку. Придумал же кто-то такие неудобные ступеньки!

На предпоследней ступеньке он все-таки сорвался и повис на руке. К счастью, этого никто не заметил.

Принимая масленку, Максим Андреевич с сочувственной усмешкой покачал головой:

— Уже готово? Вот беда!

При свете факела Митя увидел: по его новой куртке, словно толстая черная гусеница, медленно ползла струя машинного масла.

— Ничего, голубок, — сказал Максим Андреевич, протягивая ему комок чистой ветоши. — Ни у кого на свете не бывает столько радостей и печалей, сколько у вашего брата, новичка...

Митя и не собирался печалиться: масляное пятно, выдавшее его неловкость, сразу «состарило» чересчур новую и аккуратную куртку.

Пока он наводил порядок на тендере, поезд тронулся в путь. Подставив лицо навалистому прохладному ветру, влажно и пряно пахнущему ромашкой, чебрецом и еще какими-то травами, и прикрыв глаза, кочегар с восторгом вслушивался в ночь, полную гулкого движения и беспокойного шума. Он стоял посреди тендера, широко расставив ноги, погрузившись в уголь, и вдруг заметил: Максим Андреевич, Чижов и Самохвалов смотрят на него из будки и улыбаются. Только теперь он поймал себя на том, что горланит какую-то песню.

Машинист поманил его пальцем:

— Почему замолчал? В наших краях соловей редко поет...

Чижов взял его за руку:

— Отдохнул бы чуток.

— Некогда отдыхать,— Митя показал на пустой лоток и снова подался на тендер.

Он долго бросал уголь в лоток. Звезды растаяли, небо стало высоким, ясным. Поднималось солнце, и на медный свисток невозможно было смотреть, как на дугу электросварки.

Машинист вышел на тендер и стал подсчитывать, сколько сожгли угля.

— Видишь, сберегли маленько...

Вдали показалась каменная башня водокачки с узкими окошками-бойницами, точь-в-точь такая же, как в Горноуральске.

— Собирайся, Димитрий, приехали,— сказал машинист.

— Куда приехали?

— Известно, до дому, до хаты...

— Как же это? Ехали-ехали и до дому приехали?

— Здорово живешь! — взревел появившийся рядом Чижов, содрогаясь от смеха.— Ой, нельзя же так смешить натощак.

— Выходит, прозевал ты, голубок, момент,— с улыбкой проговорил Максим Андреевич.— Мы ведь кольцевой маршрут вели, понял? Притащили поезд на Благодать, а там взяли новый состав — и домой...

«Конфуз,— подавленно потупился Митя.— Полный конфуз».

Паровоз сдали сменной бригаде, и он собрался уходить. Но Максим Андреевич остановил его.

— У нас такой порядок, Димитрий: паровозную копоть не уносим...

Митя прыгал, извивался под жгучими хлыстиками душа, покряхтывал от удовольствия. И все-таки, когда, выйдя из душевой, заглянул в зеркало, то увидел вокруг воспаленных глаз черную каемку копоти.

Домой шел не спеша: ноги как будто налились чугуном и словно дребезжала под ступнями гремучая паровозная будка.

У калитки его встречала мать.

В прихожей Митя скинул куртку, повесил ее рядом со старой тужуркой отца так, чтобы не бросилось в глаза свежее пятно, вошел в комнату и с наслаждением опустился на кушетку.

Мать села напротив и молча, одними глазами, спросила, как спрашивала отца: ну, как прошла поездка? Он понял и сказал:

— Все нормально! А вообще-то малость оскандалился...— и рассказал, как задремал в середине рейса и что произошло с ним в конце поездки.

Марья Николаевна слушала улыбаясь, а потом присела рядом, прижала к груди его влажную голову и чмокнула в макушку, совсем как маленького.

— Сильно притомился небось?

Митя покачал головой:

— Нисколько...

— Сейчас позавтракать тебе соберу,— она засуетилась, как бывало при возвращении из поездки отца.

А когда Марья Николаевна вернулась из кухни, чтобы позвать его, Митя спал.

Она подошла к кушетке, хотела разбудить — и остановилась. Митя лежал точно так же, как любил лежать отец: руки под голову, локти кверху. И все-то в нем было совершенно отцовское: и широкий лоб, и сильный росчерк бровей, и упрямый подбородок с ямкой. Даже похрапывал он в точности, как Тимофей Иванович...

— Рабочий ты мой человек...— прошептала мать.

СЛЕЖКА

— Даже не знаю, куда подался,— сказала Марья Николаевна, глядя на Алешу поверх очков.— Вольный день у него. Как раз сегодня поминал, что не видел тебя целую неделю...

«Занятой человек! Вольный день, а друга повидать некогда!..» Он вышел, решив больше не заходить к Мите, и в раздумье остановился на улице.

Неподвижный воздух был раскален. Сухим жаром веяло от

домов, от каменной мостовой, от деревьев. Мягкий, пахнущий смолой асфальт обжигал даже сквозь лосевые подошвы тапок. Солнце стояло над головой, тени не было.

Алеша подумал, что самое благоразумное — отправиться на пруд, но пошел в депо: не желая в том признаться, он надеялся встретить Митю.

Возле депо было еще жарче: кругом камень и железо. От паровозов несло душным, нестерпимым зноем. Рельсы были горячими, словно только что вышли из-под валков прокатного стана.

«А каково в паровозной будке?!» — с ужасом подумал Алеша, вытирая мокрую шею.

Из раскрытых ворот депо тянуло прохладой. Он постоял здесь несколько минут, не решаясь зайти в корпус, боясь встретиться с Верой: еще решит, что специально пришел посмотреть, где она работает. Чересчур много чести!

Обойдя вокруг серого ступенчатого здания, наполненного грохотом и шумом, Алеша понял всю легкомысленность своей затеи: депо велико, где тут встретить нужного человека! Он уже собрался было возвращаться, когда увидел Митю, вышедшего из дальних ворот.

Алеша прибавил шагу, но окликнуть его раздумал: Митя направлялся не домой, а в глубь деповской территории, к паровозному кладбищу. Это показалось Алеше загадочным и интересным. Какие дела у него могут быть среди мертвых паровозов? Разве что торопится на футбольное поле. Но ведь в такую пору там не найти ни одного дурака.

Между зданием электрической подстанции и воротами, ведущими на паровозное кладбище, было большое пустынное пространство. Митя, оглянувшись, мог заметить своего преследователя, поэтому Алеша, прислонившись спиной к кирпичной стене подстанции, продолжал наблюдать за ним из-за угла.

Ворота, как всегда, были приоткрыты. Подойдя к ним, Митя быстро оглянулся по сторонам. Алеша отпрянул, а когда выглянул снова, Мити уже не было. Поспешность, с которой он шел, этот взгляд, свидетельствующий об осторожности, еще больше разожгли Алешу.

«Постой, друг, постой,— с волнением думал он, перебегая из своего укрытия к пустырю.— Ты меня выследил на кладбище, а сейчас я тебя, занятого человека, накрою...»

На футбольном поле было пусто, да Митя и не взглянул в ту сторону. Куда же он? На бронепоезд «Грозный Урал»? Вот будет номер!

Не сбавляя шага, Митя прошел мимо бронепоезда, пересек пустырь и направился к паровозам, стоявшим особняком, на отдельном пути.

Глубокой осенью сорок первого года здесь появились маши-

ны, загубленные гитлеровцами: гордый «Сормовец», прошитый смертельной пулеметной строчкой, когда-то сильная «Щука» с большой раной в котле и осанистый «Эхо» с перекошенной будкой, весь в черных железных лохмотьях обшивки. Паровозы эти уходили от фашистов с Украины на восток, но в пути были подбиты стервятниками с крестами на крыльях. Искалеченных насмерть, их все же не оставили врагу, и теперь уцелевшие части этих машин жили в других паровозах...

Подойдя к «Сормовцу», Митя снова оглянулся и торопливо забрался в будку.

В седой, сомлевшей от жары траве пронзительно и неустанно стучали кузнечики. Низко пронесся шмель, гудя, как самолет. Потрескивала обшивка на паровозах. Вдали, на Лысой горе, стояло мутноватое трепещущее марево, и казалось, на каменистой вершине колышется бесцветное пламя.

Алеша боялся, что в этой каленой, застывшей тишине Митя может услышать, как оглушительно шуршит под его ногами трава. Ему показалось, что он дышит чересчур шумно, и, сделав несколько глубоких вздохов, Алеша на носках двинулся дальше, держась поближе к паровозам, чтобы в любой момент можно было укрыться.

Наконец он поравнялся с тендером «Сормовца» и замер. Тоненько насвистывая, Митя ходил по будке, железный пол гудел под ним. Алеше почудилось, будто из паровозного окна выпорхнуло что-то, но в следующее мгновение догадался: Митя бросил на узенький подоконник спецовку.

Свист прекратился, громыхнула дверца топки. Через равные промежутки времени скрежетало железо, словно точили огромный нож, и было слышно, как Митя кряхтел и чертыхался.

Алеша стоял, боясь пошевелиться и мучаясь в догадках. Любопытство подталкивало его. Он очутился возле ступенек и, привстав на цыпочки, вытянув шею, заглянул в будку.

То, что он увидел, повергло его в крайнее недоумение. Митя, в голубой майке, широко расставив ноги и согнувшись, запускал лопату в пустой лоток, всем корпусом быстро делал пол-оборота и посылал лопату в открытую топку. Раз, другой, третий... Лицо у него было сосредоточенное, злое, во всей фигуре, в каждом движении чувствовались напряжение и сила.

Несколько раз он не попал в топочное отверстие, лопата ударялась о дверцу, и Митя раздосадованно крякал и с остервенением размахивал лопатой, повторяя одни и те же движения.

«Интересное занятие! — насмешливо думал Алеша.— Дошел человек до ручки...» Он представлял себе, как смутится Митя, увидев его, и ликовал, предвкушая веселую минуту. Смех подкатывал к его горлу, душил, и нужны были отчаянные усилия, чтобы не расхохотаться во весь голос. Только желание проследить, чем все это кончится, удерживало Алешу.

Прошло не меньше получаса, а Митя продолжал без устали орудовать лопатой. Теперь, кроме скрежета железа и грохота, отчетливее было слышно его дыхание.

У Алеши от усталости заныли ноги, заболела шея. Он посмотрел вокруг, ища места, где бы присесть. В это время вверху звучно стукнула дверца топки, и Митя, дробно стуча каблуками о железные ступеньки, спустился с паровоза. На спине потемнела майка, смуглая шея медно блестела от пота. Раскинув руки, он глубоко вздохнул, повернулся — и увидел Алешу.

По вытянувшемуся от удивления лицу Мити струйками катился пот, крупные росинки блестели на темных, взлетевших кверху бровях.

— Привет гвардейцу тыла! — сказал Алеша.

— Ты? — растерянно спросил наконец Митя и вдруг закашлялся.

— Разве не узнаешь?

— Давно тут?

— С самого начала... Удивительно, почему ты здесь, а не на бронепоезде? — не без ехидства спросил Алеша.

— Хитрость! — подмигнул Митя.— Там вояки могут свистнуть лопату — главное кочегарское орудие...

— И часто ты так?

— Что?

— Ну, упражняешься,— сказал Алеша и, не скрывая усмешки, воспроизвел движения, которые Митя делал на паровозе.

— Между поездками часок-другой стараюсь...— простодушно сознался тот.

— Да, ты явно прогрессируешь! — с откровенной насмешкой проговорил Алеша, щуря зеленоватые глаза.

Митя, по-своему поняв его слова, оживился:

— А ты думал! Тренировка — великая штука. Лучше, я считаю, тут попотеть, чем терпеть срам в бригаде, выслушивать шуточки Чижова. И, знаешь, с каждым разом все меньше промахиваюсь... Ну чего ты? Смотришь так, вроде не узнаешь меня.

— Выходит, я помешал тебе,— упавшим голосом серьезно сказал Алеша после молчания.

— Вот еще! — засмеялся Митя.— Хватит на сегодня. Жарко,— и, подойдя к Алеше, положил ему на плечи горячие руки.— Я ж тебя, злодея, сколько не видел! Пошли ко мне.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ»

— Давай в боковушку,— сказал Митя и толкнул широкую низкую дверь.

Это была крохотная, почти квадратная комнатка с оконцем,

глядевшим на огород. Помещались здесь небольшой верстак со слесарными тисками, узкий шкафчик, в котором, как на магазинной полке, были разложены инструменты, и старый, но крепкий табурет. С потолка на фарфоровом блоке спускалась лампочка под эмалированным абажуром, похожим на тарелку.

До войны Тимофей Иванович проводил в боковушке свободные часы — чинил по просьбе Марьи Николаевны хозяйственные вещи, сооружал действующую модель приспособления, которое в депо теперь называют «машинкой Черепанова».

Не было ничего интереснее для Мити, чем смотреть, как рыжий грубый кусок железа превращается в красивую, тонкую и блестящую вещь. Он мог часами следить за большими, неторопливыми руками отца. Все у него выходило так споро и ладно, что даже на душе делалось весело и казалось, что и у тебя все получится так же легко да красиво.

— Вот где благодать! — сказал Алеша, оглядывая боковушку и вытирая лоб.

Митя пододвинул ему табурет, а сам примостился на узком подоконнике.

— Садись. Что нового?

— По-моему, у тебя нового больше...

Конечно, у Мити было больше нового, но говорить о работе не хотелось: через две минуты Алеша начнет зевать. А то, что хотелось рассказать и что заинтересовало бы Алешу, нельзя было рассказывать.

Мог ли Митя рассказать о своем чувстве к Вере, о том, что в свободное время он не только работает в боковушке за верстаком, тренируется на «Сормовце», но еще и околачивается возле нарядческой.

И все-таки до сих пор не может понять Веру. Иногда кажется, будто она рада встрече, а бывает, не замечает его по-прежнему...

Хорошо бы, понятно, всем этим поделиться с другом, посоветоваться, но ведь надо знать Алешку: он обязательно поднимет на смех и разболтает обо всем Вере...

Алеша в свою очередь думал о новостях, вспомнил стычки с матерью и Верой (не рассказывать же о них) и, подойдя к верстаку, спросил:

— Кто это тут мастерит?

— Я,— немного смутился Митя.— Так, сообразил одну штуку.— Он поднял над верстаком посудину из плотной белой жести, похожую на чайник, но не круглый, а продолговатый, с длинным тонким носиком.— Что такое, знаешь?

— Лейка,— нетвердо сказал Алеша.

— Паровозная масленка!

— Та же лейка, только для масла. И что же?

И, хотя Алешкины глаза красноречиво говорили: «Стоит ли заниматься такой ерундой»,— Митя рассказал о первой поездке, о злополучной масленке и о том, что он придумал. С масленкой его конструкции пятен можно не бояться!

— Пустяковина, а сильно захотелось сделать. И можно бы лучше, да слесарь я липовый. Только и видел, как батька работал...

— И вдруг «масленка Черепанова»! — вспыхнул Алеша.— Как тормоз Матросова, например. Колоссально! Эх, сообразить бы нам вдвоем что-нибудь такое...— он щелкнул пальцами.—И, представляешь, наши имена рядышком. Вот было бы гениально! — Алеша повел в воздухе рукой, словно выписывая свою и Митину фамилии, и даже причмокнул языком.

Митя снисходительно улыбался: все больше знакомых черточек прежнего Алеши обнаруживал он в друге. Но Алеша уже погас, задумался, сказал печально:

— Ты вот выдумываешь, изобретаешь, а я не могу.

— Просто ты не задумывался.

— Да я и не сумею, наверное...

— Чепуху городишь! Если ничего не делать, понятно, ничего и не получится... Так и будешь болтаться все каникулы?

Упершись локтями в колени, Алеша сумрачно смотрел в пол.

— Не тянет меня никуда,— признался он.— Понимаешь, никуда.

— Так не бывает.

— Бывает, как видишь,— с грустной усмешкой сказал Алеша.— И вообще, настроение дурацкое. От отца ничего...

— Мой тоже одну открытку написал и молчит. Что поделаешь! Послушай...— У Мити вдруг живо заблестели глаза.— Раз никуда не тянет, значит, тебе все равно. Иди к нам в депо. Другого такого дела не найдешь. Что ни возьми, все с транспортом связано — главный нерв. Понравится, точно говорю. Только решай скорее, сколько можно тянуть!

«К нам в депо,— завистливо подумал Алеша.— Хорошо тебе...»

Он долго не отвечал. Сидел, подперев щеки ладонями, и молчал.

Митя не торопил: когда человек принимает такое решение, не нужно мешать.

— Ты говоришь, на паровоз,— негромко начал Алеша.— А я вот думаю, думаю и не пойму: стоило девять лет учиться, чтоб в угле копаться?

Митя сполз с подоконника и широко раскрытыми глазами уставился на Алешу.

— А что еще кочегару делать?— продолжал Алеша, запроки-

нув красивую голову.— Для этого и пятиклассного образования, по-моему, многовато...

На смуглых щеках у Мити пробился румянец, забегали твердые бугорки желваков. Он зашагал по боковушке: два шага от окна к двери, два — от двери к окну. Подошел к верстаку, зачем-то взял молоток, легко подбросил его в руке.

Алеша, следя за его порывистыми, нервными движениями, улыбнулся:

— Не с помощью ли этого орудия собираешься спорить?

Митя рассерженно бросил молоток на верстак.

— Образование, образование!— сказал он злым, севшим вдруг голосом.— Вроде оно у тебя такое, что и носить при себе тяжело. Академик!

— Скажешь, без девяти классов ты не справился бы? — ввернул Алеша.

— Если бы только уголь кидать. А кочегару, было бы тебе известно, и головой приходится работать. Понятно, можно, как медведь в цирке, заучить движения, а можно с сознанием все делать. И тут образование твое пригодится...

— Самообман,— бросил Алеша.

— Самообман — это шляться без дела, ныть и настроения всякие выдумывать. Железнодорожный генерал Матросов, которого ты помянул, изобретатель тормоза, начинал, между прочим, кочегаром. Могу дать книжку про него.

— В какое время он начинал? — насмешливо воскликнул Алеша и хлопнул себя по коленке. — Он, может, малограмотным пришел на паровоз. Так прикажешь повторять этот путь?

— А на фронте ты бы сразу генералом?

— Не будем об этом, — отмахнулся Алеша. — Я считаю, государству даже не выгодно: люди с девятиклассным образованием кочегарами копаются.

— Государственный деятель! — раздраженно фыркнул Митя, подошел к окошку, повернулся к Алеше спиной.

Там, за окном, было зелено, солнечно, и боковушка впервые в жизни показалась ему неимоверно тесной и сумрачной...

В НЕПОГОЖУЮ НОЧЬ

Сыпал мелкий и по-осеннему пронизывающий дождь. Мать называла его «бусенец». Он дробно и тоскливо стучал по вещевому мешку, по намокшей тяжелой кепке, от него ныло под лопатками.

Митя переходил с одного пути на другой, пробирался между лязгающими мокрыми составами, приглядывался к паровозам. Но паровоз номер 14-52 как будто в воду канул.

Желтые станционные огни, тускло расплывшиеся в черном небе, напоминали яичные желтки, выплеснутые на чугунную сковородку. Словно потускнели даже сильные прожекторы на невидимых сейчас высоких мачтах. Все было густо заштриховано свинцовой сеткой дождя.

Митя прислушивался к свисткам паровозов: вдруг по голосу узнает свою машину. Но в нестройном хоре свистков ничего нельзя было разобрать. Паровозы, должно быть, охрипли от назойливой сырости, и знакомый голос теперь стал неузнаваем...

С тех пор как Митя явился в дежурку и, не застав там бригаду, отправился на поиски, прошло уже много времени. Он успел промокнуть, озяб, был близок к отчаянию. Что, если они уехали? Станут дожидаться какого-то дублера, задерживать из-за него поезд!

Навстречу шел человек. У Мити мелькнула надежда.

— Не видали паровоз 14-52? — спросил он и поморщился, таким чужим и противно жалобным показался свой голос.

— Где ж его увидишь? — не останавливаясь и не повернув головы, отозвался прохожий.

Постояв немного, Митя побрел к первоначальной площадке, откуда начинал поиски. Но путь, как и прежде, был свободен. Нет, не найти ему сегодня своего паровоза! Наверняка ни с кем не случалось такого и никто ему не поверит...

Сзади послышались шаги. Митя быстро оглянулся. Человек в длинном плаще с капюшоном, засунув руки в карманы, шел неторопливо, тяжеловатой походкой.

— Товарищ, вам не попадался паровоз 14-52? — И опять, как он ни старался, голос прозвучал очень жалобно.

Человек остановился, вытащил из кармана руку, и острый луч электрического фонарика ударил Мите в глаза.

— А кто машинист на паровозе?

Мите показалось, что он слышал где-то этот голос.

— Егармин Максим Андреич,— заслонившись ладонью, сказал он. — Не встречали?

— Так, так, — словно припоминая что-то, сказал человек в плаще. — Встречал Егармина, как же. А зачем он тебе понадобился?

— Дело есть.

Человек в плаще усмехнулся:

— А коли есть дело, так надо уметь находить. Пойдем.

И он повел Митю в другую сторону, к будке стрелочника, тепло светившейся небольшим оконцем.

— Часто приходится вот так искать машиниста Егармина? — мягко спросил провожатый.

— Не бывало еще такой напасти, — сказал Митя, немного воспрянув духом.

— «Напасти», говоришь? — повторил человек и, кажется, вновь усмехнулся в свой капюшон.

Когда он открыл дверь будки, старик стрелочник с серебряными усами поднялся со скамейки.

— Сидите, сидите, — сказал человек в плаще. —Нам позвонить. — Он шагнул к небольшой белой, жарко потрескивающей печке и потер над чугунной доской руки. — Вот где можно душу согреть!

После дождя и мрака будка показалась настоящим раем. Было здесь очень тепло и вкусно пахло «печенкой» — печеной картошкой. Ходики, тикавшие на стене, успокоили Митю: до отправления поезда было еще тридцать пять минут.

Провожатый откинул капюшон, и Митя отступил к двери.

— Сергей Михайлович? Товарищ начальник?

— Ничего, ничего, Черепанов, — сказал Горновой, делая вид, что не замечает его растерянности. Он подошел к телефону, висевшему на стене, снял трубку: — Дежурного по станции. Дежурный? Горновой беспокоит. Паровоз 14-52 где сейчас? В северном? Благодарю, — и обернулся к Мите: — Слыхал? А как отыскать северный парк?

— Найду... — Голос Мити прозвучал не очень уверенно.

Стрелочник ухмылялся в серебряные отвислые усы. Горновой козырнул ему, натянул на фуражку тяжелый неподатливый капюшон и вышел, пропустив дублера вперед.

— Показывай, где северный парк.

Митя вспомнил, что Лысая гора, темневшая сейчас слева, находится на западе.

— Вот север, — с облегчением проговорил он, и ткнул пальцем прямо перед собой. — Теперь порядок. Спасибо...

— Веди, — почти тоном приказа сказал Горновой.

Вот это дело! Отпусти его начальник депо, он без труда придумал бы причину опоздания и никто не узнал бы правду.

Они пересекли несколько путей, обошли серую лужу, в которой слабо тлел огонек стрелки, и направились вдоль вереницы вагонов. Там, где была голова состава, на земле желтела дорожка света от паровозного окна.

— Пока осмотри буксы, — тихо сказал начальник, когда они приблизились к паровозу. — Я позову...

Горновой неторопливо поднялся по ступенькам и, подобрав полы плаща, боком пролез в узкую дверь.

— Вечер добрый!

— Милости просим! — Максим Андреевич приподнял фуражку. — Чем обязаны, Сергей Михайлыч?

Горновой не ответил, откинул капюшон, за руку поздоровался с Максимом Андреевичем и Чижовым. Увидев начальника, Самохвалов поспешил с тендера и тоже протянул ему свою наспех вытертую паклей руку.

— Сегодня вторую докладную тебе настрочил, Сергей Михайлыч, — сказал машинист. — На горячую промывку пора ставить машину. Иначе угробим старуху...

— Знаю, читал,— нахмурился Горновой и пожалел, что не отпустил мальчишку одного.— Если подходить строго, весь парк надо сегодня же на ремонт. Вот «пятидесятка» выйдет, твою поставим. Лады? — Горновой оглянулся.— А дублер-то ваш где?

Максим Андреевич тревожно посмотрел на Чижова.

— Запаздывает что-то. Даже не похоже на него. Парень старательный, исправный...

— А догадается он, как вас найти?

— Найдет, — убежденно ответил Чижов.

— Вы, конечно, растолковали ему, где у нас какой парк, каким образом узнать, где находится паровоз?

Машинист и помощник переглянулись.

— Он такой бедовый хлопец, Сергей Михайлыч, — сказал Чижов, — можно не беспокоиться.

— Нет, надо беспокоиться, — строго проговорил Горновой. — Сами пожелали взять человека, а не учите. Вам кажется, если сами с закрытыми глазами все тут найдете, так и любой сможет. А человек первые шаги делает. Нет, не годится так учить, товарищи...

Максим Андреевич смущенно кашлянул.

— Отчитал ты нас правильно, Сергей Михайлыч. Сплоховали. Но я тебе скажу: когда приходит на ученье середнячок, ему втолковываешь всякую малость, а этот...

— Хорошо успевает?

— С лету хватает. Верное слово.

Максим Андреевич подошел к двери и с минуту смотрел в сырую, шелестящую дождем темноту. Потом смахнул с лица дождевые капли, сказал с беспокойством:

— Кто знает, может, и вправду не нашел? Сходи-ка, Михаил, поищи. Вот незадача...

Горновой присвистнул.

— Поздновато забеспокоились, товарищи. Если будет продолжаться такое учение, при всем уважении к вам, переведу Черепанова в другую бригаду. А сейчас получайте своего дублера. Нашел на путях... — и, выглянув из дверей, он позвал Митю.

Но кочегар не шел. Всполошенно вглядываясь в темноту, Горновой позвал громче. Тогда издали послышался унылый голос:

— Иду!..

Пока начальник депо поднимался на паровоз, Митя переживал мучительные минуты. Было ясно, что речь пойдет о нем и, если остановиться поблизости, можно все услышать. Но он

пересилил это желание и прошел дальше от паровоза: услышишь ты или не услышишь, все равно лучше о тебе говорить не станут!

Медленно взобравшись на паровоз, Митя остановился, подавленный, угрюмый. Он почувствовал: щеки так запылали, что дождевые капли, наверное, мигом испарились на них.

— Как же это, Димитрий? — участливо проговорил старик. — Ждем тебя, а ты...

Митя молча повел плечом.

Самохвалов блеснул цыганскими глазами, торопливо шепнул:

— Да ты не кисни. Подумаешь! И не такое бывает.

А Максим Андреевич, показывая на Митю, обратился к начальнику:

— Забыл тебе сказать, Сергей Михайлыч. Рационализатор ведь!

— В чем это проявилось?

— А ну, Димитрий, продемонстрируй.

— Что вы, Максим Андреич! — с испугом отозвался Митя.

— Давай, давай быстренько! — Машинист строго свел брови.

Встретив этот непреклонный взгляд, Митя покопался в железном ящике и вышел на середину будки. В руке у него была белая, с длинным тонким носиком масленка. Он помешкал немного, держа перед собой масленку, и вдруг опрокинул ее носиком вниз. Горновой дернулся всем телом, предостерегающе протянул к Мите руки.

— Не изволь тревожиться, Сергей Михайлыч,— довольно усмехнулся Максим Андреевич.— В этом-то как раз и вся соль...

Едва сдерживая улыбку, Митя подождал, пока Самохвалов подставил бидон, и нажал круглый клапан, торчавший возле ручки. Из длинного носика побежала густая янтарная струя.

— Ловко! — Горновой взял у Мити масленку и стал рассматривать ее, не скрывая удивления. — Разумная вещь. Сам придумал?

Митя кивнул.

— Смекалка! — приложив палец ко лбу, заметил Максим Андреевич. — Как ты мыслишь, Сергей Михайлыч, могут ее принять на вооружение?

Горновой задумался, все еще рассматривая масленку.

— Думаю, нет, — сказал он как будто с сожалением. — Вещь, конечно, стоящая, молодец, Черепанов. Но масленка, понимаешь, должна стоить гроши, а такая дороговато обойдется. Дороже смазки, которую можно разлить. А разливать ты и сам скоро перестанешь.

Вспомнив о пятне на куртке, Митя опустил глаза.

— Ну, ничего, — ободряюще сказал Максим Андреевич. — Мы еще придумаем рационализацию. Да такую, что всюду примут. Верно, голубок?

Митя не ответил. Приняв из рук начальника масленку, он выбежал на тендер.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

9 Заказ 464

КАРПЫ



Бывает, что люди, которые тебя в глаза не видели и о которых ты не имеешь никакого представления, вторгаются в твою жизнь, отягощая ее неожиданными огорчениями.

— Сегодня Волкова, наш врач, спросила: «Чем увлекается ваш сын?» И я не знала, что сказать... — говорила Анна Герасимовна, устало глядя на сына. — В самом деле, к чему тянется твое сердце? Разве я знаю?

Алеша смотрел в книгу и думал: «Какое ей дело, этой Волковой? Беспокоилась бы о своих детях, если они есть. Обязательно надо совать нос в чужую душу!»

— Я с тобой говорю,— негромко сказала Анна Герасимовна.

Она медленно расстегивала гимнастерку, и Вера заметила, что пальцы матери, длинные, с коротко подстриженными продолговатыми ногтями, дрожат.

Алеша отложил книгу, но сидел, как и прежде, потупившись. «Сами оторвали, а теперь — к чему сердце тянется! И это правильное воспитание!»

Возвращаясь домой, он рассчитывал получить грандиозную взбучку, приготовился выслушать скучную мораль, встретить холод и презрение, а вышло наоборот. С ним нянчились, как когда-то, в раннем детстве, когда он часто болел. Мама сказала, что он «жутко извелся», что ему необходимо усилить питание, и, отрывая от себя, кормила его не хуже, чем в мирное время. А он не пытался протестовать: аппетит был волчий. Вера, которая могла «без отрыва», в один присест, опустошить банку сгущенного молока, теперь почти не прикасалась к нему: «Алешке нужнее...»

В первый день Вера заговорила было о его «фронтовых успехах», но мать так посмотрела на нее, что она сразу примолкла.

Мама сказала, что ему нужно отдохнуть, войти в норму. И он добросовестно отдыхал и «входил в норму». Днем подолгу размышлял, лежа на диване. Поразмышлять было над чем. У Мити неплохо получилось: отец — на бронепоезде, а он вроде заменяет его. Но что особенного — ездить по уральским дорогам? В прифронтовой бы полосе — другое дело! Фашистские самолеты охотятся за поездами, а паровозные бригады прорываются под бомбами, обманывают летчиков: то пустят дымовую завесу, то на полном ходу остановят поезд. Машинист Еремеев (о нем писали в газете) провел под носом врага больше ста эшелонов. Это слава! А кто узнает о Мите Черепанове? В лучшем случае на собрании назовут. Скука! Залезть в горячую мартеновскую печь и отремонтировать ее — это уже нечто! За такие дела и ордена дают. Но, кажется, уже было. И пускай. Есть же люди, повторившие подвиг Александра Матросова! Вопрос в другом: кто подпустит его, Белоногова, к мартеновской печи?

Путевым обходчиком пойти тоже интересно. Обходишь участок — и вдруг лопнувший рельс. А в это время из-за поворота — поезд. Бежишь навстречу и вспоминаешь: флажки-то остались в будке. Что делать? Как остановить поезд, предотвратить несчастье? И тогда разрезаешь руку, срываешь с себя сорочку, прикладываешь к ране. Сорочка становится красной, ты размахиваешь ею и бежишь. Машинист замечает тревожный сигнал, останавливает поезд, а ты без памяти грохаешься на полотно... Но и это уже было, даже рассказ написан. Что ж, тогда можно флажки не забывать, руку не резать — все равно напишут: «Алексей Белоногов спас поезд!»

Устав от раздумий, Алеша проигрывал на патефоне несколько пластинок, читал и валялся на диване, сраженный дневным сном, весьма полезным для организма, по утверждению медиков.

Боялся он вечеров. Вечера стали самым мучительным временем суток. Мама рассказывала о своих раненых. Вера, не уставая, сообщала о деповских делах и людях, а ему не о чем было говорить. Он брал книгу и как будто углублялся в чтение, но читать не мог...

Сегодняшний вечер также не обещал ничего хорошего. Алеша чувствовал на себе взгляд матери и ниже наклонял над книгой голову.

Отложив истории болезней, которые она взяла, чтобы заполнить дома, Анна Герасимовна смотрела на сына. У него было девически красивое лицо с мягкими, неуверенными чертами. Он был очень красив. Когда-то это радовало ее. Где бы Анна Герасимовна с ним ни появлялась — в детской консультации, в сквере, на утреннике,— на него неизменно обращали внимание: «Какой чудесный ребенок!» И ей было приятно. Теперь же внешность

Алеши все меньше нравилась Анне Герасимовне, даже пугала ее.

К красивым юношам и мужчинам она всегда относилась несколько настороженно и иронически. По ее наблюдениям, красивые мужчины зачастую бывали весьма ограниченными. Она называла таких: «тихий красавчик». Причем «тихий» относилось к умственным данным. Но об Алеше не скажешь, что он глуп. И все же есть что-то бездумное и безвольное в его расслабленной, мягкой и чересчур правильной красоте...

— А знаешь, мой друг,— с улыбкой проговорила Анна Герасимовна, — ты заметно поправился, посвежел на положении нашего дорогого гостя. Но мама моя говаривала: «Кто сидел на печи, тот уже не гость, а свой...». А ты уже две недельки на печи. Пора включаться в жизнь...

— Что ты понимаешь под включением?

— Учение, больше ничего. Никакими обязанностями по дому тебя не нагружаем.

— Везет же некоторым! — усмехнулась Вера, штопавшая чулок, натянутый на электрическую лампочку.

— Надо, Лешенька, извлечь из-под спуда учебники и усаживаться. Время пролетит — не оглянешься...

Мать снова занялась своим делом, а он выждал «для характера» минут десять, медленно поднялся, стал неторопливо перекладывать книги на этажерке и, отыскав учебник по алгебре, взял чистую тетрадь и сел за стол. Наудачу раскрыл книгу, старательно переписал пример, на который упал взгляд, и глубоко задумался, подперев голову руками.

Мать выключила радио. И совершенно напрасно: во-первых, симфоническая музыка совсем не мешает сосредоточиться, а во-вторых, теперь придется привыкать к тишине. Но не успел он привыкнуть и настроиться на рабочий лад, как захотелось пить. Он решил перебороть жажду, однако все время думал о воде. Пришлось сдаться. Потом заметил, что стул под ним скрипит. Казалось бы, сидишь не шевелясь, а он все равно скрипит, отвратительно и громко. Сосредоточиться просто невозможно. Нахлынули разные мысли, очень далекие от алгебры. Напала вдруг сонливость, будто не спал по меньшей мере трое суток подряд, даже заныли скулы...

Анна Герасимовна заглянула в его тетрадь. Рядом с нерешенным примером красовался во всех подробностях автомат с круглым диском...

— И это за полтора часа? — сказала она со вздохом.

Он потянулся, откинувшись на спинку стула, встал и, потирая виски, прошелся по комнате вялой, заплетающейся походкой.

Анна Герасимовна горестно улыбнулась:

— Как ужасно ты напоминаешь карпов тети Глаши!

— Что еще за карпы?

— А я никогда не говорила тебе? Изволь, расскажу...

В одно предвоенное утро всю поликлинику, где работала Анна Герасимовна, облетела весть: сына главврача, семнадцатилетнего парнишку, осудили за соучастие в краже. Весь день только и разговоров было, что об этом событии. Когда сели завтракать, пожилая няня Глафира Ильинична — тетя Глаша — сказала:

— Верно, знать, говорится: «Сызмальства не возьмешь в руки, потом наберешься муки».— И вдруг спросила: — Вам, Анна Герасимовна, доводилось видать карпов из нашего пруда?

— А что?

— Видали, какие они?

— Обыкновенные, по-моему.

— Не совсем обнаковенные. С набережной смотришь — выводок табунком ходит, молодь, а вроде купцы опосля сытного обеда разгуливают, плавниками едва-едва шевелят. И ровно неохота им вовсе шевелиться, ровно сию минуту заснут. Я такую гладкую да ленивую рыбу отродясь не видывала. А отчего им не быть ленущими? Никакого беспокойства в жизни. Корм добывать не нужно, знай поспевай глотать. По часам кормят. И досыта. Как говорится, от пуза... Вот я и хочу сказать, Анна Герасимовна, многие родители ребяток своих великовозрастных таким же манером опекают, готовенькое в рот кладут. Рыба, она, понятно, жирнеет от этого, а люди, я считаю, портятся...

— Умница какая, эта тетя Глаша,— воскликнула Вера.

— Спасибо за сравнение! — сказал Алеша. (Вере показалось, что его прямые растрепанные волосы ощетинились.) — Хорошо, пойду работать, добывать себе корм!

Анна Герасимовна с трудом улыбнулась, чтобы скрыть свой испуг таким неожиданным оборотом.

ТРЕТЬЕ ЛИЦО

Поезд отправлялся в тринадцать сорок пять, но Митя сказал матери, что у него есть дело в депо, и, взяв вещевой мешок, ушел за два часа до отъезда.

В действительности же у него не было никаких дел, если не считать, что ему хотелось повидать Веру. Он не встречал ее уже четыре дня. А сегодня у Мити был не совсем обычный день: заканчивался испытательный срок, он чувствовал, что испытания выдержал, и у него было отличное настроение.

Он шел, а в уме слово за словом составлялось письмо к отцу. Большое, подробное и очень складное письмо. Обидно только, что, когда сядешь за бумагу, все выйдет намного хуже... «Я написал тебе на другой день, как меня зачислили на работу, а от тебя так ничего и нет. Но я все равно знаю, что ты не против. Я помню, что ты говорил мне когда-то: «Не будешь учить-

ся — успеешь не больше, чем я. А ты должен побольше успеть, иначе будет полный застой...» И вот я хочу сказать, чтоб ты не тревожился. Не будет застоя...»

Вдруг он услышал голос Веры:

— Зачем пожаловали, товарищ дублер?

Она стояла у входа в нарядческую в легком синем платье в горошек, с книжкой в руке.

— Я пришел... мне нужно... я забыл, когда мне выезжать,— сказал Митя.

— Вот новость! — воскликнула Вера.— Сегодня в тринадцать сорок пять...— и взглянула на него испуганно: — Только что просматривала наряды и запомнила...

Собственная растерянность помешала Мите заметить, как смутилась девушка.

Душевное напряжение, которое он переживал этот месяц испытательного срока, теперь, когда оставалось сделать всего одну поездку, перешло в чувство большой безудержной радости. А к кому, как не к Вере, могло потянуть его с этим чувством? Но Митя боялся, что она уйдет сейчас, а ему так хотелось побыть возле нее!

Напротив конторы тихо шелестел фонтан. Посредине круглого серого бассейна высился букет неестественно больших жестяных тюльпанов, выкрашенных в голубой цвет; из каждого цветка вырывалась тонкая струйка и, дробясь и радужно играя, падала в зеленоватую воду бассейна. Вера засмотрелась на сверкающие брызги и как будто не собиралась уходить.

— А у меня сегодня кончается испытательный срок,— негромко сказал Митя.

— Уже пролетел месяц? — оторвав взгляд от фонтана, не то удивленно, не то радостно сказала Вера.— Как думаешь, выдержал?

— По-моему, выдержал.

— Значит, зачислят.— Вера нагнулась, сорвала длинный тонкий стебелек и переложила им страницу книги.— Машинистом бы, а? — хитровато покосилась на Митю и медленно пошла по двору.

— Доберемся постепенно,— сказал он, идя рядом.— Не все сразу. Есть, конечно, люди, они считают, что быть кочегаром — пустяшное дело. И пускай. А кочегар, как-никак, третье лицо!

— А их на паровозе всего три! — заметила Вера и как будто спохватилась.— Не страшно тебе на паровозе?

— Нисколько. Вообще привычка нужна, понятно.

Депо осталось позади. Впереди маячила Лысая гора. Тропинка, пробитая в высокой траве, была узенькая, на ней помещалась только Вера. А Митя шагал рядом, и твердые стебли бурьяна били его по коленям.

Заметив, что ему тяжело идти, Вера перешла на колею, вдоль которой тянулась тропинка. Это был старый запасный путь. Рельсы заржавели, меж черных шпал пробивалась трава.

Бросив на Веру удивленный взгляд, Митя шагнул на тропинку.

— Предположим, тебя зачислят. А дальше что? Как школа? — спросила она, повернув к нему голову.

— Сам еще не знаю.

— Вот и зашли в тупик,— Вера засмеялась, потому что они в самом деле стояли перед тупиком.

Ржавые рельсы запасного пути были загнуты кверху, словно полозья огромных саней; их соединял толстый квадратный брус, почерневший от времени, весь в глубоких трещинах.

Вера подула на брус и, легко подпрыгнув, уселась на нем.

— Скажи, тебе хочется сделать что-нибудь большое, хорошее? — неожиданно спросила она.

— Кому же не хочется? — улыбнулся Митя.

— Пожалуй,— согласилась Вера.— Но можно ли все время думать об этом?.. Я считаю, когда настоящий человек делает что-то героическое, он, может быть, совсем не думает, что он герой...

— Наверно. Но к чему это ты?

— Я о своем братце,— огорченно проговорила Вера.— Одно только у него на уме: совершить подвиг. И, главное, как мечтает! Вчера говорит: «Эх, если бы загорелось ваше депо — а я спас людей, вывел паровозы! За это могли бы даже орден дать...» Дурак ты, говорю, если нужно депо спалить, чтоб выявить твой героизм. Обиделся...

Митя рассмеялся.

— Смеяться, конечно, просто...

— А что сложно?

— Помочь другу.

Митя собирался тоже сесть на брус, уже уперся в него ладонями, напружинился, готовясь подпрыгнуть. Да так и остался стоять.

— Как, например?

Вера, не взглянув на него, дернула худеньким плечом.

— Друзья находят способы... если собственная персона не заслоняет им весь мир...

«И понесло меня сюда! — подумал Митя.— Разве что хорошее услышишь от нее?»

Обиженно хмурясь, он рассказал о своем разговоре с Алешей и признался, что недоволен собой: назвал его государственным деятелем, а убедить не сумел.

— Сильно разозлил он меня: «С таким образованием в угле копаться!»

— Узнаю. Воображения больше чем соображения,— запальчиво сказала Вера.

— Так что насчет персоны ты поспешила,— все еще с обидой сказал Митя.— Как мог уговаривал его. Работали бы вместе, на одной машине. Сначала тут, потом бы на широкую. Это же работа — понимать надо! Вроде и ездишь по одному маршруту, а поездка на поездку не похожа. Каждый раз что-то новое, не заскучаешь. А про важность и говорить нечего...

Вера сидела, обхватив колени и слегка покачиваясь.

— Послушала тебя, и самой захотелось на паровоз. Но как Алешку разжечь? — проговорила она в раздумье.— А вообще я завидую тебе: очень люблю ездить. Так хочется поехать куда-нибудь далеко-далеко! Иной раз услышу свисток паровоза, и на сердце хорошо и тревожно...

Не отрывая глаз от задумчивого лица Веры, которое казалось ему сейчас особенно красивым, Митя заговорил о том, что на узкой колее дальше Кедровника не поедешь, что настоящие поездки начнутся, когда он будет на широкой колее. Тогда уж попутешествует!

— Знаешь, о каком путешествии я думаю? — сказал Митя.— Представь себе, завод выпускает паровоз. Новый, быстроходный, мощный паровоз на каком-нибудь новом топливе. И вот бригада «обкатывает» машину, ведет ее через разные страны, через всю землю, от края до края, пока суша не кончится. Как, скажем, Чкалов и Водопьянов испытывали новые самолеты...

Глаза у Веры открылись широко:

— Вот это интересно!

— Интересно, да пока что нельзя сделать. То есть выпустить новый паровоз, конечно, можно, а вот проехать через всю землю...

— Почему?

— Колея всюду разная. Где шире, где поуже, понимаешь?

— Зачем же так глупо устроено?

— Кто его знает? Каждая страна по-своему живет, по-своему все делает. А когда весь мир будет заодно,— он сделал руками широкое, округлое движение,— тогда колея всюду будет одинаковая. Садись на паровоз и греми по всей земле!

Вера молчала, восторженно глядя на Митю. Потом вдруг спросила лукаво:

— Ну-ка, признайся, кого ты видишь машинистом на этом паровозе?

Митя потрогал пальцем черный, иссеченный трещинами брус, улыбнулся:

— Почему обязательно машинистом? А может, инженером. Тем самым, который придумал новый паровоз.

— Ох, и выдумщик же ты! — Она приложила руки к щекам и покачала головой.

— А что? — полушутя, полусерьезно сказал Митя.— Одни

Черепановы изобрели первый в России паровоз, а почему другой Черепанов не может усовершенствовать теперешние машины?

Веселые искринки заплясали в зеленоватых Вериных глазах.

— Железная логика! Если крепостные люди смогли сотворить такое дело, то их вольный потомок должен сделать что-то еще большее... Правда, если, кроме свободы, у него есть еще кое-что...— и она приложила палец к своему гладкому, слегка загорелому лбу.

Что поделаешь, без «шпилек» она не может!

— Ты вот мечтаешь, фантазируешь, но ты и делаешь что-то,— примирительно проговорила Вера, помолчав.— Призвание у тебя есть. А друг твой — пустой мечтатель. Самый настоящий Манилов. Да еще с переэкзаменовкой по алгебре...

— Я его растормошу,— горячо сказал Митя.— Увидишь, будет Алешка действовать. Будет!

— Если бы это удалось! — негромко сказала Вера.— А я пока мечтаю, чтоб скорее мы победили. Кончится война, мама не будет так работать, тогда и я займусь любимым делом, уеду отсюда...— и она раскинула руки, словно собиралась взлететь.

Радостное возбуждение, с которым Митя шел в депо, переросло в ощущение настоящего счастья: испытательный срок кончался, все шло благополучно. Вера была рядом, и впервые они так мирно, так хорошо говорили. Никогда он еще не был так уверен в себе, в своем призвании (очень здорово сказала она про призвание!), никогда не был так убежден, что добьется всего, что задумал. И только мысль, что Вера может уехать, что ее не будет здесь, затуманивала счастье.

Митя имел весьма смутное представление о геологии, но проникся уважением к этой науке. Он стал бы уважать и медицину и даже химию, которую не любил, если бы ими увлекалась Вера. Одним лишь не устраивала его геология: из-за нее Вера должна была уехать.

— Такой город, столько всяких институтов, а горного нет...— с досадой проговорил Митя, лишь теперь понимая, что не все правильно устроено в родном городе.

— Да, бывают несправедливости,— скрывая улыбку, сказала Вера и спрыгнула с бруса.— Пойдем, скоро кончится перерыв...

Они медленно побрели по шпалам обратно в депо. На полдороге Вера вдруг остановилась и спросила:

— А если бы тебе пришлось не дублером, а за кочегара, не испугался бы?

— Кочегаром Самохвалов ездит.

— Миша заболел. Приходила его мать, говорит, сильный жар у него. Простудился, наверно.

От неожиданности Митя растерялся. Последнюю поездку испытательного срока он проведет не учеником, а третьим, самостоятельным лицом. Испугается ли он? Да он сегодня смог бы

не только кочегаром, но и помощником, а если бы потребовалось, то и за машиниста сработал бы, потому что сегодня для него не существовало ничего трудного и невозможного!

— Заболел товарищ, а сочувствия на твоем лице что-то не видно,— заметила Вера.

— Максим Андреич возьмет кого-нибудь вместо Самохвалова,— упавшим голосом проговорил Митя.

— И не собирается. Сказал: «Пускай приучается парень». Ты, значит...

— Честно?

— Стараюсь всегда говорить правду.

Он молча схватил ее прохладную руку и, словно обжегшись, тотчас выпустил.

Щеки у Веры внезапно вспыхнули.

— Смотри не забывай, когда в наряд выходить,— торопливо сказала она и, не глядя на него, юркнула в нарядческую.

ФИНИКИ

Вера поставила на стол посапывавший паром электрический чайник, три чашки и пошла к буфету за финиками, которые вчера вечером принесла мать. В магазине был сахар, но Анна Герасимовна решила побаловать детей и на сахарные карточки купила полкилограмма фиников.

Вазочка, куда Вера своими руками выложила из кулька финики, была пуста. Как выяснилось, ничего загадочного в исчезновении фиников не было: вчера же ночью их съел Алеша...

— Я читал,— говорил он раздраженно, сидя у стола и водя по клеенке чайной ложкой,— никак не мог заснуть, ну и вспомнил про них и даже не заметил, как они кончились... Целое следствие, подумаешь!

— Полакомились, нечего сказать! — Вера косо посмотрела на брата.— Ночью читал. Вдруг такая тяга к культуре.

— Представь себе.

— Его даже совесть не мучает,— возмутилась Вера.— Эгоист! Жадина!

Он бросил ложку на стол, недовольно загудел:

— Процесс о финиках! Заработаю — откуплю в десять раз больше. Такими скупыми стали, скоро воздух будете делить...

Анна Герасимовна отодвинула пустую чашку и, приложив к вискам кончики пальцев, чуть пожелтевшие от йода, удивленно и печально смотрела на сына.

— Как тебе не стыдно, Леша,— сказала она таким голосом, будто ей не хватало воздуха.— Мы скупые? Мы делим? Как можно? И разве ты не понимаешь, что мы не о финиках?..

— У эгоистов, наверное, лозунг: «Свой желудок ближе к телу!» — вставила Вера.

Ей хотелось еще сказать, что они с матерью постоянно отрывают от себя для него, но Анна Герасимовна строго взглянула на нее, и Вера промолчала.

Алеша сидел, навалившись грудью на стол, сдвинув белесые брови. Насчет скупости он, конечно, загнул, о воздухе сказанул неожиданно для самого себя, ради красного словца. Всему виной было состояние, в котором он пребывал последнее время. Бесконечно длинные дни, пустоту которых нечем заполнить, встречи с преуспевающим Митей и, наконец, постоянные напоминания о несчастной переэкзаменовке — все, все угнетало его. Он был зол, легко воспламенялся, грубил и не только не пытался сдержаться, но даже нарочно взвинчивал себя: так ему как будто становилось легче. Не пожалел он и о том, что сейчас был несправедлив.

Он чувствовал себя оскорбленным, и ему не хотелось расставаться с этим чувством.

— Почему же ты не подумал о нас? — развела руками Анна Герасимовна.— Люди рассказывали мне, как делились последним сухарем, последним глотком. А ты?

Алеша насмешливо скривил губы:

— Сравнила...

— Он уплетет ночью все сухари, и не нужно будет делиться,— сказала Вера.

Алеша метнул на сестру негодующий взгляд, рванулся с места.

— Что, р-решили сжить со света? Д-да? — крикнул он.— Сживайте, ладно! — Голос у него сорвался, зазвенел пискливо.— Напишу отцу. Все напишу. Пусть знает, все пусть знает...

Анна Герасимовна горестно вздохнула: «Ничего не понял. Он напишет отцу! Глупый, глупый мальчишка! И тут ничего не понимает. Брошенный сын! Кстати, кто знает, что там с отцом?..»

— Садись и пиши,— спокойно и решительно сказала Вера.— Только правду. А то мы уже заврались. Про переэкзаменовку не забудь. И вообще про все свои дела... Если бы ты знала, мама, какие в депо есть ребята! И как работают! Многие с неменьшим образованием, а кочегарят, слесарят, занимаются делом. Один только наш Алешенька не у дел. Оттого и бессонница пристала...

— Ах, вот оно что? — прохрипел Алеша, ошеломленно посмотрев на Веру.

— Да, да,— отозвалась она, выдержав его взгляд.

— Бессонница, конечно, результат безделья,— с тревогой проговорила Анна Герасимовна.— А каникулы на исходе...

«Вот напустились! Психическая атака! — думал Алеша, нервно расхаживая по комнате.— Митька тоже хорош! Что ж,

теперь будем знать, как разговаривать с тобой. А Верка вовсе зазналась. Учитель жизни в юбке!»

Вера посмотрела на встревоженное и утомленное лицо Анны Герасимовны, на худенькие, чуть приподнятые плечи, и ей до слез стало жаль матери.

— Мамулька, ну давай так попьем, а то чай совсем остынет...

Анна Герасимовна махнула рукой, сказала:

— Ты обвиняешь нас в скупости. Но неужели ты сможешь сказать, что мы чем-нибудь обременяем тебя, мешаем учиться! Что же ты думаешь, Леша?

Он молчал.

— Ты, может, все-таки ответишь матери?

— Тебя это не касается! — быстро повернувшись к сестре, рявкнул Алеша.— Во всяком случае, у тебя помощи не попрошу!

— Как ты груб! — ужаснулась Анна Герасимовна.— Что с тобой? Будто подменили...

— Да ему просто нечего сказать,— рассудительно заметила Вера.— Надеется на чудо. А кончится все позором...

— Может случиться,— удрученно согласилась Анна Герасимовна.

Алеша подошел к раскрытому окну, навалился локтями на подоконник и увидел себя в темном стекле. Стекло было чуть волнистое, и лицо в нем выглядело до безобразия вытянутым, уши были уродливо длинными. Он с отвращением отвернулся.

А мать в это время негромко и печально рассказывала о Горбуновой, санитарке из госпиталя. Муж на фронте, женщина осталась с тремя ребятами. Живется ей трудно, едва сводит концы с концами. Но есть у нее опора и помощь — старший сын Вова. Он нянчит сестер, колет дрова, носит воду, иной раз и обед приготовит, если мать не успела. И каждую свободную минуту — с книгой. Перешел в седьмой класс, круглый отличник...

— Ну как не позавидуешь такому счастью? — глубоко вздохнула Анна Герасимовна.

Алеша круто повернулся. Глаза его колюче сузились. Светлые прямые волосы торчали в разные стороны.

— Об этом гениальном Вовочке я уже слыхал,— взвизгнул он.— Можешь завидовать. Все, все лучше меня. Хуже меня нет на свете. И не надо...

Он задохнулся, выбежал в другую комнату и, скинув на ходу тапки, бросился на кровать.

Утром его разбудила Вера:

— Вставай, побереги свои бока...

Опустив на пол ноги, Алеша сонно покачивался и лениво почесывал спину. Вдруг почему-то вспомнились карпы, тоже сонные, медлительные, и он сплюнул.

Вера подсела к брату и, обняв его, захныкала притворно:

— Ах, до чего же тяжела наша жизнь!

— Страшно легкая! Хоть топись! — проворчал он, высвобождаясь из ее объятий.

Вера обиженно поднялась.

— Потому что живешь одним днем. Если будущего не видно, всегда тяжело...

— Философ! — зевнул Алеша.

— Лешка, Лешка,— с чувством заговорила Вера,— неужели мы враги тебе? Пойми же наконец. Когда отец предал нас, я решила: надо так вести себя во всем-всем, чтоб маме было легче жить. Я подумала: мы с тобой должны такими людьми стать, чтоб он потом локти себе кусал, что бросил нас. А ты? Докатился до переэкзаменовки, бежал из дому. Отец решит: пока я жил с ними, были дети как дети, а без меня свихнулись. А разве мы не можем доказать, что мы и без него... Только нужно чувствовать ответственность... А ты...— глаза у Веры замерцали, и Алеше показалось, что она расплачется сейчас.

Он был поражен и словами сестры — ему никогда почему-то не приходили эти мысли, и тем, как задушевно и взволнованно она произнесла их.

В этот день он ни разу не завел патефон. Даже не подходил к дивану. Из головы не шли Верины слова. Чем больше он о них думал, тем решительнее не соглашался с Верой. Как враждебно говорила она об отце! Будто отец ждет не дождется, когда они свихнутся, станут никчемными людьми... Она, чего доброго, считает, что отец пришел бы в восторг, узнав про переэкзаменовку. Она представляет, будто отец им враг лютый, будто он хочет им зла,— надо же очерстветь до такой степени! Видно, не солгала она, сказав, что вычеркнула его из своего сердца. Что бы ни произошло между родителями, но отцу наверняка не безразличны судьбы его детей, и не такой он человек, чтобы забыть о них.

Перечитав старые письма, хранившиеся под каменным пресс-папье, Алеша еще больше убедился, что сестра неправа. Письма были такие, что, прочитай их посторонний человек, ему было бы невдомек, что произошло в семье. Письма еще больше разожгли Алешины чувства. Да, только с отцом он мог бы поговорить по-настоящему, от всей души, и только отец понял бы его.

Алеша с тоской вспомнил, что не ответил ни на одно отцовское письмо, и теперь оправдывался перед собой: плохое писать рука не поднималась, а хорошего не было. А Вера писала. Правда, под маминым нажимом, но все же писала. И вполне возможно, в каком-нибудь письме дала волю своему язычку... А что, если его уже нет в живых? И Вера и мама, видно, забыли думать о нем, им, наверное, все равно, что с ним. Только он, Алеша, ждет его писем, по нескольку раз бегает к почтовому

ящику и возвращается с пустыми руками. Чего бы он не дал сейчас за коротенькое, в несколько слов, письмо!

Но почему же все-таки нет писем? Может, он ранен? А если с ним ничего не случилось и он не пишет потому, что его обидела Вера? Тогда, может быть, он пишет дяде Борису, своему брату?

Уже выйдя на улицу, Алеша подумал, что вряд ли застанет его дома, но не вернулся.

Дверь ему открыл дядя Борис, длинный, сухой, с пепельным лицом пожилой человек.

— Алексей! — обрадованно проговорил он и задохнулся от кашля.— Все-таки вспомнил про дядьку. А я уже было заготовил для тебя несколько прозвищ...

— Каких?

— Сначала обзывал тебя обыкновенным свинтусом. Потом выяснилось, что ты вроде ископаемого...

— Это почему же?

— Хвостат.

— Не понимаю.

— Говорят, заимел алгебраический хвостик.

— А-а,— мрачновато процедил Алеша.

— В наш век хвостатым несовременно. Впрочем, не сомневаюсь, пересдашь, парень ты способный... Признайся, Верочка сагитировала дядьку навестить?

— При чем тут Вера?

Заслоняя рот ладонью и кашляя, Борис Семенович внимательно посмотрел на Алешу:

— Тем более ценно. Астма, понимаешь, разыгралась. Совсем извела, окаянная...

— Я не знал, что вы болеете,— признался Алеша.

— А Вера не сказала? Ах, она такая?..— Борис Семенович откашлялся и, все еще часто дыша, уселся на диване, застегивая на груди пижаму.— Вчера забегала. Вижу, взволнована девочка, хочет сказать что-то и не решается, мнется, а я не могу догадаться. Потом наконец спрашивает, нет ли писем от отца...

— Вера? — вскрикнул Алеша.

— Вера, я о ней говорю...— Борис Семенович раскинул длинные жилистые руки.— Два месяца — ни строчки. Сам ума не приложу. Я, разумеется, постарался успокоить ее. Ну, а мы с тобой мужчины. На войне как на войне, говорят. Но будем надеяться на лучшее, Алексей...

Рассеянно глядя на поблескивавшие на большом письменном столе друзы хрусталя, напоминавшие ледяные торосы, Алеша долго не мог вымолвить ни слова.

— Дядя Боря...— с усилием сказал он.— Вы знаете новый папин адрес?

— Какой новый? У него не менялся адрес, та же самая полевая почта.

— Нет, я о другом... Ну... куда он от нас переехал...

Борис Семенович опять закашлялся. Было похоже, что в груди у него вразброд пиликают маленькие скрипки.

— Этого адреса я не знал и знать не желаю,— сказал он прерывающимся голосом.— А тебе-то зачем?

Алеша не ответил. Борис Семенович скрутил «целебную» папиросу, закурил и на секунду исчез в облаке удушающего дыма. Алеша посидел еще несколько минут и, пожелав дяде поскорее поправиться, ушел.

Через полчаса он был в отделении дороги. Немолодая полная женщина с крупным мужеподобным лицом, нахмурившись, спросила, кто он такой и зачем ему адрес. Дорогой Алеша «подготовился», и вопрос не застал его врасплох. Дело в том, что его отец приехал в отпуск с фронта, хотел передать личный привет жене инженера Белоногова, но утерял листок с адресом.

Женщина, довольно легко при ее полноте, поднялась, отперла шкаф и стала перебирать папки, тесно стоявшие на полках.

Алеша не мог разобрать, ворчит она или напевает что-то грубоватым голосом.

Наконец она вытащила одну папку и прочитала: «Комсомольская, 23, квартира 10». Это был адрес, по которому жил Алеша с мамой и Верой.

— И-извините...— сказал он, заикаясь и чувствуя, как все в нем дрожит.— Я уже был на Комсомольской... Это не то...

Женщина удивленно уставилась на него, темные глаза ее внезапно заиграли, нос сморщился, словно она собиралась чихнуть.

— Ах, я совсем забыла! Да, ведь у Белоногова произошли кое-какие перемены. Сейчас найдем анкету посвежее...

Не столько от собственного вранья, сколько от этой многозначительной улыбочки у Алеши затрепыхалось сердце.

— Так и есть,— сказала женщина.— Нагорная три, квартира пять.

«Нагорная три, квартира пять»,— лихорадочно повторил про себя Алеша.

— Вы запишете? — женщина обернулась.

Но посетителя уже не было в комнате.

ВЕЛИКИЙ ПОТОП

Поезд бежал в узком лесном коридоре,— мимо вечно молодой зелени елей и сосен, мимо белых колоннад березовых рощ, уже вызолоченных дыханием осени, мимо ярко полыхающих рябин и зарумяненных, словно подкаленных на огне, осинни-

ков,— и в паровозной будке было так сумрачно, что Чижов зажег лампочки возле манометра и водомерного стекла.

Но лес быстро стал редеть, промелькнуло дремучее малахитовое болотце, стук колес будто сделался слабее и глуше — кончился лесной коридор, поезд вышел на равнину, и сразу стало светлее. Справа медленно уплывала назад синеватая зазубренная кромка леса, под которой блекло розовел, словно подплавленный закатом, край неба. А впереди показались дымы Горноуральска: пепельно-серые, курчавые над домнами, ядовито-желтые над высокими трубами мартенов, туманно-белые и ленивые над башнями градирен.

В небе над городом затрепетало еще не яркое багровое зарево, похожее то ли на отблеск далекого пожара, то ли на северное сияние.

Как только Митя увидел это небо, знакомые массивные очертания завода, угольно-черный шихан Лысой горы, различил темное уступчатое здание депо, он внезапно почувствовал невыносимую, чугунную тяжесть в теле.

Сейчас поезд подойдет к перевалочной площадке, паровоз отцепят и Максим Андреевич поведет его в депо; Митя передаст кочегару из другой бригады свой пост — и домой. Даже в душевую не пойдет сегодня, как-нибудь пополощется дома — и спать, спать.

Чижов осмотрел инструменты, бросил взгляд на лобовую часть котла, где сияли вычищенные инжекторы, манометры, бесчисленные ручки и вентильки, и одобрительно улыбнулся. Эта улыбка напомнила Мите, что он был в поездке не дублером, а полноправным третьим лицом, что он отлично справился, и его захлестнуло отрадное чувство исполненного долга, способное не только отогнать всякую усталость, но и зарядить свежими силами.

Когда паровоз отцепили, Максим Андреевич нагнулся над тендерным люком и крякнул:

— Э-э, друзья мои, так сдавать машину негоже, будут попрекать нас...— и повел паровоз «под воду», к водоразборной колонке.

Выйдя на палубу тендера, Митя ухватился за цепь, потянул ее к себе, и хобот колонки, неторопливо, но податливо повернулся. Чижов спрыгнул на землю, положил руки на штурвальное колесо, ожидающе поднял голову.

— Готово! — крикнул Митя, и помощник быстрыми, сильными движениями крутанул колесо.

Дымчато-белая струя воды, толстая, как ствол дерева, ударила из хобота в круглый темный люк. В тендере забурлил, загудел водоворот. Белая прохладная водяная пыль закружилась в воздухе. Митя подставил ей лицо, чтобы не задремать под это однообразное пение.

Максим Андреевич отправился к дежурному по депо сдавать маршрутный лист. Чижов постоял возле колонки, посмотрел на часы и вскинул на Митю узенькие глаза.

— Давай! — поняв его, крикнул Митя, перекрывая шум воды.

— А управишься?

— Что за вопрос!

— Я в комитет на минутку...

Митя закивал в ответ. Он обрадовался уходу помощника: если бы Чижов не доверял, ни за что не ушел бы.

Митя очень любил оставаться на паровозе один. Чудесные, незабываемые минуты! Жаль, случались они редко и неизменно кто-нибудь из бригады находился поблизости, не то что сейчас...

Сонливую усталость как рукой сняло. С занятым видом он прошелся вокруг паровоза и поднялся в будку. Машина работала отлично. Стрелка манометра, часто вздрагивая, подбиралась к красной черточке: давления хоть отбавляй; зеленоватый столбик занимал почти две трети высокой стеклянной трубки водомерного стекла: воды в котле достаточно; в топке также полный порядок, хоть сейчас в новый маршрут!

Митя высунулся из окошка и, глядя по сторонам, подосадовал, что его не могут увидеть ни Вера, ни Алешка.

По соседнему ширококолейному пути в это время загремели платформы, нагруженные железным ломом. Одна, другая, третья — целый поезд. Вполне возможно, Митя не обратил бы на них внимания, но пожилой сцепщик, проходивший мимо, кивнул головой на платформы, громко сказал:

— Хотел, вишь, до Урала дойти, вот и дошел. Только в битом виде...

Лишь теперь Митя все понял. Изувеченные туши орудий, разбитые, обгорелые танки в пауках свастики, свернутые толстыми клубками, мертвые змеи танковых гусениц, обломки самолетов, груды зеленого железа, обляпанного черно-белыми крестами, тяжело громоздились на платформах. Митя до половины вылез из окошка, с волнением провожая глазами примечательный поезд. Какая же нужна была силища, чтобы все это перемолоть, наворотить столько лома! Кто знает, может, потрудился и бронепоезд, где машинистом Черепанов. Может, сработали и те пушки, что он, Митя, перевозил из Кедровника? А платформы катились и катились мимо, тяжело гремя на стыках. Митя с восторгом и гордостью смотрел вслед, не подозревая о беде, подстерегавшей его.

Все произошло гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Митя почувствовал, что под ногами у него холодно и сыро. И тут же услышал шум воды. Из тендера бежал черный поток. Вода хлестала из лотка, увлекая с собой уголь, заливая будку.

С ужасом оглядевшись, Митя потоптался на месте; брызги

попали на дверцу топки, железо сердито зашипело. Он кинулся из будки к штурвалу колонки. Вода лилась через борта тендера, со ступенек паровоза скатывался черный шумный водопад. Вода вырывалась из-под хобота, била ключом, кипела, бешено пенилась и со свирепым ревом шлепалась на землю...

Митя быстро вертел штурвал. Поток не унимался. Кажется, он бушевал еще яростнее. Студеные частые брызги кололи воспаленные щеки, слепили глаза. Отфыркиваясь, Митя начал крутить штурвал в другую сторону. Поток ревел по-прежнему. Огромная лужа растекалась вокруг паровоза, подбираясь к Митиным ногам. Он исступленно вертел колесо, ничего не видя за сизым холодным туманом из водяной пыли, не слыша ничего, кроме шквального шума разбушевавшейся воды. Наконец, в отчаянии, захватив руками голову, он съежился и навалился животом на штурвал. Внезапно сквозь грозный шум воды прорвался чей-то крик. Митя с ужасом узнал голос Мани Урусовой:

— Да ты что, балда осиновая! А ну, в сторону!

От сильного толчка он едва удержался на ногах. Поток стал замирать. Туман почти рассеялся. Протерев глаза, Митя увидел Чижова, стоявшего на расстоянии, чтобы не попасть под «душ». Маша согнулась над штурвальным колесом. Было похоже, что она управляет летящей с огромной скоростью машиной. Поток затих, только со ступенек еще сбегала вода и стучали о железо мелкие кусочки угля.

На высоких мачтах вокруг депо зажглись прожекторы, вблизи водоразборной колонки, на столбе, вспыхнула яркая лампа, и громадная лужа, в которой потонуло несколько путей, предательски засияла, сразу вобрав все огни...

Урусова выпрямилась, вытерла рукавом лицо и, стряхнув с комбинезона брызги, взяла свой сундучок. На темно-синем ее берете, в тонких каштановых колечках на висках самоцветами переливались капли воды.

— Эх, друг! — с упреком и сочувствием сказала Маня, показывая рукой на штурвал.— Это же самый обыкновенный винт. А ты, выходит, не кумекаешь, как он отвертывается, как завертывается. Азбука. Вот тебе и «егарминский университет»! — и повернулась к Чижову: — Тоже хорош! Оставляет человека одного! Жуть!

— Так я же...— начал было оправдываться Чижов.

Но она оборвала его, блеснув глазами:

— Заявился бы в комитет позднее, никто б не дал выговора...— и Урусова медленно зашагала в депо.

Митя подумал, что Чижов и не посморит в его сторону, но помощник подошел, потрогал его куртку и покачал головой:

— Бог ты мой! На тебе ж сухой нитки нету. Надо что-то делать...

В Митиных глазах затеплилась благодарная улыбка. Но он

был бы еще больше благодарен Чижову, если бы тот увел отсюда паровоз! Впрочем, если бы помощник и сообразил это сделать, то не успел бы: вернулся Максим Андреевич. Он остановился возле лужи и, склонив голову, приложил руку к щеке, будто у него заболели зубы...

— Великий потоп...

Митя подошел к машинисту:

— Это я, Максим Андреич...

— Догадываюсь,— хмуро сказал старик, пощипывая усы.— Иди пообсушись возле топки...

Митя не двинулся с места.

— Иди, а то простынешь еще...— Машинист обернулся к Чижову: — Тихон, проберись-ка на паровоз да выведи его на сушу, чтоб мне не утопнуть. Спасибо, не зима, а то пришлось бы лед колоть... А отписываться все равно доведется. Нехорошо вышло, нехорошо...

Чижов нашел поблизости несколько битых кирпичей, расчетливо бросил их в воду и, раскинув руки, двинулся к паровозу. Через минуту плавно задвигались дышла, неторопливо завертелись колеса, и поршни насмешливо зашипели: «Нехорошо, нехорошо, нехорошо!..»

БОРОДА

Неудача всегда тяжела, но, когда сознаешь, что виноват в ней только ты один, на сердце еще безотраднее. Стоя подле швейной машины, Митя поворачивал гладкое белое колесо, словно штурвал водоразборной колонки, то в одну сторону, то в другую.

Марья Николаевна не знала, как утешить сына, и оттого волновалась еще больше. Чтобы скрыть беспокойство, придвинула шитье, стала прилаживать к гимнастерке рукав и испугалась: неужели напутала при кройке? Оказалось, собиралась пришивать не тот рукав. Митя все понял.

— Вот и не выучился и пользы от меня никакой...— сказал он удрученно.

— Выучишься, Димушка,— убежденно отозвалась мать.— Папаня сколько уже годков как прильнул к паровозному делу, а все учится, все учится, нелегкое, знать, это дело. А ты в один присест захотел. Нельзя так...

Стукнула калитка. За дверью послышался глуховатый стариковский голос, кто-то беседовал с Жуком:

— Признал, признал меня. С понятием цуц...

Дверь открылась. Митя обомлел, увидев на пороге Максима Андреевича.

— Гостей незваных принимают?

Марья Николаевна пошла навстречу.

— Таких гостей — со всем сердцем!

Но то, что старик явился после смены, всполошило ее. Она испуганно подумала: «Все ли рассказал Митя?»

Максим Андреевич поставил в прихожей сундучок, повесил картуз и зашел в столовую, приглаживая редкие волосы. Глаза его, по обыкновению, улыбались немного насмешливо, а лицо, младенчески румяное после душа, уже не хмурилось, как час назад, будто смыло все горячей водой...

— Какие новости, Николаевна?

Марья Николаевна повела плечами, словно от холода.

— Да те же, что и вы знаете, Максим Андреич. Невеселые...

— Рассказывал?

— У него от родных тайностей нету,— не без гордости ответила Марья Николаевна.

— Так и должно быть,— похвалил Максим Андреевич.— Я через него, Николаевна, сегодня старика Ноя себе представил, верное слово. Трудненько, видать, приходилось старичку: кругом вода...

«Не нужно...» — попросила она глазами и, печально улыбнувшись, сказала:

— А больше ни новостей, ни вестей. Целый месяц уже, Максим Андреич...

Старик поджал губы и принялся набивать трубочку, похожую на вопросительный знак.

— Почта — она сильно пошаливает нынче...

— Когда пишут, доходит. А чтоб у Тимофея все в порядке и он не написал, быть не может...

— Не скажи, Николаевна, всякая обстановка бывает,— стараясь придать голосу непринужденность, сказал старик.— И в тылу, представь, иной раз не соберешься дочери письмо отписать...— Закурив, он стал рукой разгонять дым.— Смотри, накоптил-то как, табакур...

— Да что вы, Максим Андреич! Я даже соскучилась,— сказала Марья Николаевна, вдыхая знакомый крепкий аромат махорки.

Впервые за все время взглянув на Митю, Максим Андреевич покачал головой:

— Со смены давно, а все, видать, жаль с паровозной копотью расстаться? Еще надоест она тебе...

— Я и забыла,— спохватилась Марья Николаевна.— Как услыхала его новости, про все забыла. Пойди, там водичка давно стоит...

Поспешно моясь, чтобы скорее вернуться в столовую, Митя думал над словами машиниста и находил в них отрадный смысл. «Еще надоест...» Значит, Максим Андреевич не вычеркивает его.

Тем временем старик тихо беседовал с Марьей Николаевной.

— Переживает?

— Смотреть больно, Максим Андреич.

— Здоровей будет. «Беда мучит, уму-разуму учит».

— Приохотился к паровозному делу. Сказано: отец рыбак, и дети в воду глядят...

— Это-то хорошо,— задумчиво проговорил старик.

— А что плохо? — с тревогой спросила Марья Николаевна, чувствуя, что он не договаривает.

— Ну, как это растолковать... Силешки-то у парня еще слабенькие, а гонорка хоть отбавляй. Да нехорошего гонорка. Сбить это надо, пока не поздно...

— А я за ним такого не примечала.

— Вблизи меньше видать, Николаевна. А умишко бойкий, планы добрые. Иных ребят калачом не заманишь на черную работу. Спят и готовыми инженерами да генералами себя видят. А он с солдата хочет. Такому специалисту цены не будет.

— Дай бог. Только ума не приложу, что и посоветовать ему.

— А зачем приучать к подсказке? Сам пускай решает.

— Как же можно, Максим Андреич? — испуганно прошептала Марья Николаевна.— Он такое удумает! За ним еще какой догляд нужен.

— Присматривать, понятно, требуется, а за ручку не води.

Как только Митя вошел в комнату, Максим Андреевич и мать умолкли: ясно, говорили о нем. Старик будто повеселел, все поглядывал на него, а Митя избегал встречаться с ним глазами.

— Люблю комсомолию, — сказал Максим Андреевич, ни к кому не обращаясь.— Боевой народ! Видал я смиренных парней, но таких героев, что про них и в книжках писать не грех; видал и других: успеха на грош, а они носом чуть-чуть семафоры не сбивают. Но таких, чтоб духом падали и носом за шпалы цеплялись, верное слово, сроду не встречал...

С невеселым удивлением Митя посмотрел на машиниста.

— Про тебя говорю, Димитрий,— Максим Андреевич показал на него изогнутым чубуком трубки.— Посмотреть на твой вид, ровно в крушении побывал человек.

— Правильно вы сказали,— подтвердил он с горечью.— Крушение...

Сощурившись насмешливо, Максим Андреевич покрутил головой.

— Так тебе и дали сойти с рельсов! В прежние времена, конечно, могли подсунуть бревно под колеса, а нынче... Я тебе не сказывал про свою бороду? О, брат, целая история...

Он раскурил потухшую трубку, откашлялся, усмехаясь в усы.

— Пять годков, как один день, отмахал я кочегаром, а в помощники не переводят. И не на последнем счету был, старался, уважал паровозную службу,— все равно не дают ходу. А я уже в года вошел, постарше тебя был. Пожаловался я дружку своему,

слесарю Еремею Ивановичу Гремякину,— дескать, что ж делать, доколе в кочегарах мыкаться? Года-то идут. «Вид у тебя, Максим, больно моложавый, несамостоятельный,— говорит он мне.— Видят — молодой, и кончен вопрос. Подрасти, мол».— «Как же быть?» — спрашиваю. «Отпусти, говорит, бороду, Максим, а то до самой старости проходишь в молодых». Так мне Еремей Иваныч доказывает. И я послушался. Риска, думаю, никакого, спробую. Стал отпускать бороду. А борода, известно, в момент не появляется. Когда ее не ждешь, она куда быстрей растет, поспевай только сбривать. А как надумал оставить ее, она произрастает до того постепенно, что терпения не хватает. Зато пока прорастет, войдет в силу, и люди к ней успевают приглядеться, и сам тоже привыкаешь... Борода у меня получилась, не сказать чтоб картины с нее рисовать, но вполне пристойная — этакой аккуратненькой лопаточкой, курчавая да черная, воронье крыло, с отливом да густая: без боли не расчешешь. И, представьте, года не проходил с бородой — началось продвижение. Перевели в помощники. Не скажу, чтоб я лучше стал за это время: борода сработала...

Максим Андреевич умолк, пососал трубку, она снова погасла, и взглянул на своих слушателей. Марья Николаевна сидела напротив и, подперев щеку ладонью, устало улыбалась. Митя стоял у стола и слушал, позабыв о своих невзгодах...

— Да... А помощь-то от бороды была не даровая. Борода ухода требует, да еще какого! Утром ее расчеши, покушал — опять же гребешком пройдись, а подстригать пришло время — к мастеру иди. Стрижка — дело ответственное, сам лучше и не берись: неровно подстрижешь, и борода будет показывать, вроде все лицо у тебя параличом перекосило. Одним словом, маята. Но я терпел стойко. Два года ее проносил. Разговоры пошли, будто меня в машинисты собираются переводить. Тут и случилась крупная беда. Как-то раз копался я с факелом возле машины. А был ветер, помню. Наклонился к дышлам, клин подтягиваю; ветерок, знать, подул в мою сторону, я и моргнуть не успел, слышу — трещит что-то и горелым воняет. Хвать рукой за бороду, а бороды-то и нет. Остатки одни, и те трухлявые такие, ровно их моль побила... Чуть не зашелся я слезами: кончилось твое движение, Максим, сидеть тебе в помощниках до новой бороды! Пришел со смены домой, кой-как ножницами навел порядок — какой уж там порядок, не спрашивайте,— и к Еремею Ивановичу. Он как глянул на меня, схватился за живот и гогочет. «Что ж тут, говорю, смешного! Человек потерпел крах, а он смеется! Друг называется!» А Еремей Иваныч утешает меня: «Теперь не страшно, Максим, можешь ее даже вовсе сбрить. Теперь, говорит, признали тебя, из молодых уже вышел, проживешь и без бороды...» Послушался я, сбрил остатки и вздохнул вольно — осточертела. Теперь усы ношу, а бороду ни-ни! Случится, заболеешь, она сама

по себе отрастет, и сразу нехорошие времена на память лезут... А ты говоришь — крушение. Нынче требуется, чтоб у вашего брата другая борода была — «рабочая борода»: стаж, опыт. Знай свое дело и не беспокойся — заметят, оценят, выдвинут, хоть у тебя, может, не то что борода, а даже усы еще не проросли,— Максим Андреевич раскурил трубку, затянулся с жадностью и медленно поднялся.— Заговорил я тебя, Николаевна. План ведь небось тоже?

— Я справляюсь,— тихо ответила Марья Николаевна.— Когда на сердце спокойно, перевыполняю...

— Ну-ну, будет спокойно... — сказал Максим Андреевич и по-отцовски обнял тонкие плечи Марьи Николаевны.— Тимофею Иванычу привет от меня пиши...

Взяв сундучок, старик многозначительно посмотрел на Митю и кивнул головой на дверь. Митя двинулся за ним, с теплым чувством глядя на сухонькую, с выпиравшими лопатками спину машиниста. Ведь только ради него, ради осрамившегося ученика, приходил он прямо с работы!

За калиткой Максим Андреевич остановился.

— Не хотел я мать расстраивать,— сказал он негромко и строго посмотрел на Митю,— а тут скажу. Вот куда завела она, твоя линия...

— Нету у меня никакой линии,— угрюмо возразил Митя.

— Нет, есть! — Старик сердито повысил голос: — И никудышная линия. Из уважения к Черепанову должны принять! Раз. Вот увидите, мол, я управлюсь — я Черепанов. Два. И откуда столько гонору? Воротится Тимофей Иваныч, беспременно расскажу ему, так и знай. Ну, приняли, дали возможность, а на поверку что? Пустые слова. Только и козыряешь чужим именем, на поблажки надеешься. А поблажек не будет: с кого, может, и меньше спрос, а с тебя в полную меру — ты сын знатного человека. Нет, Димитрий, это не дело. Чужая слава, я скажу, как сапоги с чужой ноги — далеко в них не уйдешь. А тебе далеко идти, подальше нашего. Одним словом, пораскинь умом хорошенько, а главное — себя не жалей...

Максим Андреевич протянул ему руку. Никогда машинист не прощался с ним за руку. Но теперь кто знает, на какое время они расставались, быть может, навсегда.

РАЗДУМЬЯ

Анна Герасимовна проснулась чуть свет, откинула одеяло и вспомнила, что сегодня воскресенье.

Солнце еще не поднялось, на улице и в квартире было сумеречно-серо. Как и в будние дни, издалека, с испытательного стенда, плыл нескончаемый, на одной тягучей ноте, низкий и сильный

рев моторов, нудный, словно комариное жужжание. А на полигоне тяжело и гулко бухали орудия, и, казалось, от этих ударов вздрагивала на открытом окне прозрачная гардина.

Так всегда — целую неделю ждешь этого дня, а когда он приходит, сна, как назло, нет. Но отчего же так хорошо на сердце? Ах да, ведь письмо от Андрея! И вчера выписалось семнадцать человек! И Авдейкин чувствует себя отлично! И у Кибца нашлась семья!

Сложная, ужасно сложная штука жизнь: одни счастливы, найдя семью, другие находят счастье в том, что разрушают ее... И все-таки семья там, где дети, и как бы Андрей ни устроил свою новую жизнь, как бы ни старался быть счастливым,— обокрал он себя. Не потому, что оставил ее, нет. Дети! Брошенные дети. Разве они простят когда-нибудь такую измену? Вот Леша. Еще так недавно он говорил об отце с печальным благоговением, а вчера, когда пришло письмо, первое письмо после двухмесячного молчания, даже не захотел взять его в руки и не только не обрадовался, но как будто обозлился, лицо позеленело, губы задрожали.

— Не нужны мне его письма!

Вера начала читать вслух, и Алеша вышел в другую комнату. Вера потом сказала:

— Послушай, это странно: когда от отца ничего не было, ты грозился написать ему, как мы издеваемся над тобой, а теперь тебе не нужны его письма...

Он бросил на сестру уничтожающий взгляд:

— «Странно, странно»! Что ты понимаешь? Тебе надо — радуйся, пиши.

— И напишу. А как насчет привета от сыночка?

Алеша позеленел еще больше и, заикаясь, крикнул:

— Н-некому мне слать приветы! Понятно? И не расписывайся за грамотных!

Анна Герасимовна старалась притушить неприязнь к отцу. Но вряд ли в их душах возникнет другое чувство. Конечно, если бы не фронт, не опасность, и она и Верочка быстрее перестали бы думать о нем.

Она встала, прошлась по комнате. На письменном столе лежал тетрадный листок, исписанный Вериной рукой.

«Здравствуй, папа! Наконец-то получили весточку от тебя. Мы живем хорошо, дружно. Алешка сказал как-то, что ты снился ему в генеральской форме, он даже не узнал тебя, и ты его окликнул. Я думаю, это оттого, что накануне он впервые увидел «живого» генерала. Алеша же утверждал, что тебя, наверное, повысили в звании. Но, видимо, права я: ты не пишешь о повышении.

Теперь обо мне. Во-первых, меня на работу никто не гнал, тем более «нужда». Это ты напрасно. Уехать в институт, бросить

маму и Алешку в такое время я не имею права. Может быть, пойти диспетчером или чертежницей было бы интереснее, но я не знала, нужны ли диспетчеры и чертежницы, а здесь я заменила девушку, ушедшую на фронт. Я нужна, ко мне хорошо относятся, нагружают общественной работой, которую я всегда любила. А сколько здесь просто чудесных людей! И я не узнала бы их, если бы не пошла сюда.

Ты пишешь, что нарядчица с десятиклассным образованием — ненужная роскошь для депо. Ты неправ. Нарядчик, конечно, не мастер, не техник, но и от него зависит немало, ты это и сам знаешь. Среднее образование помогло мне быстрее освоиться. И еще учти: я не на всю жизнь поступила нарядчицей.

Все эти вопросы мы обсуждали с мамочкой. В общем, думаю, что поступила правильно, и опасения твои не имеют оснований.

Ты спрашиваешь, почему молчит Алеша, просишь написать о нем...» На этом письмо обрывалось.

Держа в руке тетрадный листок, усеянный ученически четкой вязью, Анна Герасимовна задумалась. Давно ли Верочка была школьницей? А сейчас работник депо, самостоятельный, нужный человек. А там, глядишь,— студентка горного института, геолог Белоногова... Так было когда-то и с нею самой. После государственного экзамена в коридоре подошел профессор Щеглов: «Поздравляю вас, доктор Светлова!» Казалось, это относится не к ней, а к кому-то другому: доктор Светлова. Так же будет и у Верочки. Выросли дети. Что ни говорите, Андрей Семенович, я счастливее и богаче вас! Вот бы только Леша... Очень тревожно из-за него. Верочка утверждает, что его испортили родители: он не знал отказа ни в чем и возомнил, что все — для него, что он пуп земли. В раннем детстве часто болел, и любое желание его выполнялось. «Конструктор»? — Пожалуйста. Велосипед? — Получи, родной. Но ведь и Верочке не отказывали. Почему же ее не испортили? Кто виноват? О море он забыл, к счастью. Но ничего не появилось взамен. Легкомыслие, разбросанность. Похоже, что он и сам осознает это и нервничает. Последние дни взвинчен. Может быть, завидует Мите и Вере — те работают, а он пропустил время... Чересчур много в нем совсем детского, беззаботного и бездумного. И эгоизм, как и у большинства детей. Но ведь это должно пройти. Главное, чтобы взяло верх то хорошее, что есть в нем. А оно есть, не надо сгущать краски. И вообще со всеми мальчишками, наверное, трудно...

ГОНОРОК

Огромное лохматое чудовище было похоже на мамонта, только во много раз больше и страшнее. Из его хобота, толстого, как паровозная труба, не переставая, шумно била в землю дымчато-белая струя воды.

Вода затопляла большую прямоугольную поляну, со всех сторон обнесенную глухим высоким забором из больших каменных плит. Всюду торчали из воды ветки каких-то кустов, острые серые камни. Вода прибывала с каждой минутой.

До крови обдирая колени, Митя вскарабкался на крутобокий камень и в то же мгновение услышал нечастые, тяжелые всплески. Вода стала сильнее биться о камень. Митя оглянулся и обмер. Медленно переставляя гигантские ноги, чудовище надвигалось на него. Вот оно с неистовым ревом задрало хобот, и густой крупный дождь забарабанил по Митиной голове, по плечам.

Заслонившись ладонями, он еще раз посмотрел назад. Чудовище неторопливо опускало серый гофрированный хобот, нацеливая его прямо на Митю. И он не успел даже закричать: жесткая ледяная струя ударила, обожгла, сорвала его с камня и с размаху швырнула в воду...

Он открыл глаза, приподнял голову. «Сон! Как хорошо, что сон! — подумал Митя.— Жаль только, что не так уж далеко от правды!»

Сны он видел редко и чаще всего не мог их вспомнить. А этот не выходил из головы. Даже за завтраком ему еще явственно слышались студеные всплески, и он зябко подергивал плечами.

Несколько раз ловил на себе беспокойные взгляды матери и виновато отводил глаза: от отца никаких вестей, а тут сынок постарался, порадовал. Оттого, что она не говорила о случившемся, ему делалось тяжелее — даже мать не находит, чем утешить его...

Утром Митя обычно первым долгом отправлялся к почтовому ящику, прибитому к калитке, прочитывал вслух сводку Совинформбюро и потом шел умываться. Сегодня он вспомнил о газете, когда мать сама принесла ее. Марья Николаевна молча просмотрела сводку и так же молча стала убирать со стола.

Митя взял газету, попытался читать. Но газетные строчки заслонило смешливое цыганское лицо Миши Самохвалова с маленьким задиристым носиком:

«Здорово ты отличился, железнодорожник!»

Мишу сменил Чижов; серые щелочки его глаз колюче поблескивали:

«Я веревку советовал прихватить, а надо бы спасательный круг!»

«Вот где материал для стенгазеты. Просто жуть!» — Это Маня Урусова говорит, поглядывая на Митю с высоты своего богатырского роста.

И пожалуйте — газета уже висит в дежурке. Паровозники толкаются, пробираясь к витрине, но протиснуться трудно: столько народу сгрудилось возле нового интересного выпуска. Все хохочут. И вместе со всеми смеется Вера, кончиком платка

вытирает слезы. Да и как не смеяться: на рисунке — паровоз 14-52 стоит по самые дышла в голубой воде. Редколлегия не поскупилась на место — получилось целое море. И по этому морю друг за дружкой плывут к паровозу седой машинист, толстый помощник и кочегар с черным ежиком...

«Не дадут проходу,— подумал Митя.— «Какой это Черепанов?» — «Да сынок знатного машиниста, тот, «что потоп устроил...» — А Вера еще говорила про какое-то призвание. Чепуха!»

Он в сердцах отбросил газету, громко сказал:

— Сиди дома, и все!

Марья Николаевна перестала шить, обернулась:

— А по-моему, неладно так будет...

Митя удивленно уставился на мать.

— Неладно, говорю, Димушка, — повторила она. — Люди-то приветили тебя, смотрели с надеждой, а ты, выходит, обманул их. Оконфузился, скажут, парень и с перепугу наутек. Как же с такой-то славой уходить?

— А что делать?

— Раз неправ, повинись. И подумай: разве ж это авария? Неудача, и только. Постарайся, чтоб вперед не было такого. А кончатся каникулы — с честью на занятия...

«Нет, авария, авария,— размышлял Митя.— Да еще какая! Сразу всем показала, что никудышный человек, что не гожусь даже в дублеры...»

— Просмеют, — доверительно-тихо сказал Митя.

— Ну, посмеются, пошутят. Шутка да прибаутка, сказывают, только на похоронах лишняя,— усмехнулась Марья Николаевна.— А ты потерпи, коль заработал. Ничего не убудет у тебя, а ума прибавится...

— Легко сказать!

— Понимаю, нелегко,— Марья Николаевна с сочувствием смотрела на сына.— Ты, Димушка, видать, считал, что все легко да просто. Сел на паровоз и покатил. А паровозная служба — не катанье. Люди годами учатся. Гонорка, знать, у тебя лишка...

— Какого гонорка? — вскинул голову Митя.

— О себе, наверное, чересчур много полагаешь,— ласково и тихо сказала Марья Николаевна.

— Кто это говорит? Максим Андреич, да?

— Он хорошо отзывается. А грешок все ж подметил...

Митя быстро поднялся, шумно придвинул стул. Значит, успел-таки! К чему же было хитрить: «Не хотел мать расстраивать...»

— Ну, теперь уж вовсе некуда идти... — проговорил Митя дрожащим голосом.

— Вот он и есть, твой гонорок,— тревожно улыбнулась мать.— Максим Андреич-то обойдется без тебя...

— И пускай,— бросил Митя, выходя из дому.

Марья Николаевна, облокотившись на край узкого столика, на котором стояла машина, прикрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то.

«СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!»

Он спускался с крыльца, когда во двор вошел Алеша, помахал рукой:

— Привет паровознику!

Митя настороженно, изучающе посмотрел на друга: насмешка?

Но в следующую минуту понял, что это не так. Алеша поздоровался и сказал:

— Я к тебе за помощью. Пойдем в сад, что ли?

Откинув крючок, Митя толкнул низенькую дверь и пропустил Алешу в сад.

«Вера не может не знать, ведь это чепе,—размышлял Митя, идя за Алешей по узенькой дорожке меж низкорослых раскидистых яблонь.— Почему же не рассказала брату, пропустила такой случай посмеяться? Неужто посочувствовала?..»

Ему не терпелось выяснить это, и он спросил:

— Ты с Верой разговариваешь?

Алеша оглянулся, вытаращил зеленоватые, как у сестры, глаза.

— Ну, вы не в ссоре?— пояснил Митя.

Прищурив один глаз, Алеша понимающе мотнул головой:

— Передать что-нибудь требуется?

Митя молчал, чувствуя, как щеки заливает предательский жар.

— Записочку? Или устный привет? — Алеша перешел на шепот, желая показать, что он умеет хранить чужие тайны.

— Балда! — со смущением и досадой сказал Митя.— Я всего только спросил, мир у вас или идут военные действия...

— Цапаемся беспрерывно. Вообще с тех пор, как она стала работать, с ней трудно. На сегодняшний день дипломатические отношения натянуты...

Теперь все ясно: не сочувствие удержало Веру. Будь она с Алешей в мире, наверняка рассказала бы обо всем и, может, посмеялась над его несчастьем.

— Что за помощь тебе нужна? — спросил Митя, не зная, как сказать о своей неудаче.

Алеша присел на узкую скамейку в глубине сада, но тотчас же вскочил и, потирая лоб, прошелся.

— Ты даже не представляешь, что у меня в жизни,— сказал он сдавленно.— Я сам еще не разберусь. Просто в башке не укладывается...

— Ну, что?

— Да с отцом...

— Известие? — спросил испуганно Митя.

— Хуже.— Алешка взял его за руку, усадил на скамейку и присел рядом.— Два месяца, понимаешь, от него ни строчки. И я как-то сильно заскучал. Просто со мной никогда такого не было. А тут еще Верка соли на рану: он чужой, он прямо-таки враг нам. Я подумал: а вдруг она оскорбила его, он и перестал писать и теперь мучается? Я к дяде Борису — там тоже два месяца ничего. И вдруг узнаю от дяди, что накануне к нему Верка приходила. Очень взволнованная, говорит. Тоже спрашивала, нет ли чего от отца. Можешь такое понять? Я — в отделение дороги, узнал новый адрес моего папаши — и прямо к ней, к его новой жене...

— Ух ты! — вырвалось у Мити.

— Отыскал квартиру, звоню. Открывает женщина в простеньком таком халатике. Красивая. Правда, не красивее мамы, но, видно, моложе. Лицо, ты веришь, такое,— вот не смотрел бы на него, а не можешь не смотреть. «Кто вы?» — спрашивает. Я сказал. Смутилась, как девчонка, даже мне жалко ее стало. Позвала в комнату. А сама, вижу, не может в глаза смотреть. Меня лихорадка колотит, а я то на нее посмотрю, то вокруг себя. Комната скромненькая, тесноватая, но чисто. На этажерке папины книги. Снимок его на стене, в рамке. На столе чертежная доска, готовальня. Чертеж наколот, лампочка низко спущена, на ней абажурчик из газеты, в одном месте прогорел до дырки. Вечерами, значит, работает. То ли спешное задание, то ли денег не хватает. Попросила садиться и молчит. У меня тоже язык не действует. Наконец, набрался духу, спрашиваю про письма. Глаза опустила, отвечает: «Давно ничего нет». Я сразу понял: неправда. «А как давно?» — спрашиваю. «С месяц уже,— говорит,— ничего нет». Ну, ясно, не хочет отца подводить. Представляешь, а нам два месяца ни строчки!

— Да,— сочувственно вздохнул Митя.

— Вот какое известие от милого папаши. А я-то, дурная голова! — и Алешка с мрачным негодованием сильно ударил себя по лбу, вскочил, сделал несколько шагов и снова опустился на скамейку.

— Вчера от него письмо пришло. Но мне теперь наплевать, — с ожесточением продолжал Алеша.— Понимаешь, раньше у меня такое зло на нее было — разорвал бы на куски. А сейчас нет. Сейчас на него все перешло. Нет у меня отца. Точка. Дома тоже черт знает что. Пропади все пропадом! — Он отломил яблоневую ветку, бросил ее на землю.— Пойду работать. Переведусь в вечернюю школу.

— Да-а,— неопределенно протянул Митя.

— Ты мне скажи: правильный я шаг делаю или нет?

— Не торопись,— рассеянно сказал Митя.— Может, это под настроение?..

— Не знаю. Ничего не знаю. Я хотел бы или прославиться, чтоб он, понимаешь, заискивал — это мой сын! — а я не признавал бы его. Или хоть в воры пойти, честное слово, чтоб ему стыдно было, чтоб его по милициям затаскали...

— Что ты говоришь! — испуганно перебил его Митя.

— Не знаю, что из меня дальше выйдет, а пока надумал бросить якорь на паровоз,— горячо сказал Алеша.— Поможешь устроиться — буду благодарен.

— С таким образованием в угле копаться? — улыбнулся Митя.

— Знаешь что? — просяще сказал Алеша.— Не демонстрируй свою злопамятность.

Он надеялся, что Митя встретит его решение с радостью, сам вызовется помочь. На деле же, кроме насмешки, ничего.

— Я, конечно, и сам бы мог пойти, но лучше, если ты словечко замолвишь. Так, мол, и так, знаю его, парень стоящий, справится и так далее. Одним словом, рекомендация...

Митя отвернулся. Если бы Алеша увидел сейчас его лицо, то решил бы, что друг испытывает приступ страшной боли.

Алеша помолчал, ожидая, и резко поднялся.

— Я думал, тебе это ничего не стоит,— с нескрываемой обидой произнес он.— Ты ведь свой человек в депо.

— Свой человек,— неопределенным тоном повторил Митя.

— Мне помнится, ты сам агитировал: «К нам в депо», «наше депо», «наша бригада», «наш паровоз». А к делу пришлось — в кусты?

— Лучше сам сходи попроси,— тихо сказал Митя.— Мое слово там — пустой звук.

— Боишься поручиться?

Митя криво улыбнулся:

— Какой из меня поручитель! Если б ты знал...

— Да, я не знал,— бледнея, перебил Алеша.— Не ожидал, что ты... ты... дерьмовый ты человек!

— Я тебе все объясню...— почти жалобно проговорил Митя.

Во дворе залаял Жук, свирепо захлебываясь в ярости.

— Подожди, я сейчас,— сказал Митя и побежал во двор, радуясь возможности хотя бы еще на несколько минут оттянуть рассказ о своем провале.

Алеша презрительно посмотрел вслед, сорвал дымчато-зеленое тугое яблоко и со злостью впился в него зубами.

Митя с трудом загнал Жука в будку, и тогда во двор неуверенно вошел незнакомый человек, с бледным, сухощавым лицом, в короткой расстегнутой шинели и в пилотке без звезды.

— Черепановы тут живут? — спросил он, внимательно рассматривая Митю.

Почему-то растерявшись, Митя молча кивнул.

Алеше показалось, что Мити нет чересчур долго. Он бросил яблоко и направился из сада.

— Леша, постой,— Митя поймал его за рукав.

Но тот вырвал руку.

— Спасибо за помощь! — едко сказал Алеша, глядя выше Митиной головы.— Вера об отце ничего не знает, так что попрошу воздержаться и не докладывать ей...— он быстро ушел со двора, хлопнув калиткой.

— Ты Тимофея Ивановича сын? — спросил человек в шинели.

Митя снова кивнул.

— А мамаша дома?

— Входите,— Митя поднялся на крыльцо и открыл перед незнакомцем дверь.

ГОСТЬ

С тех пор как уехал Тимофей Иванович, Марья Николаевна, работая, часто беседовала с ним, рассказывала ему о себе, о Мите, о Леночке и Егорке, делилась радостями и печалями, советовалась...

Вот и сейчас под стрекот машины она молча разговаривала с Тимофеем Ивановичем:

«Димушка-то вчера еще ровно был дитё, а нынче... Ты бы послушал его. Я, говорит, выбрал себе дорогу. А выбрал он твою тропку, Тимоша, льнет к паровозному делу. Тебе это по душе, знаю. И я тоже возрадовалась. Да вот не заладилось у него, и парень перепугался, отступил. Хватит ли у него характеру, не ведаю. Максим Андреич, спасибо, направляет. А я думаю, был бы ты, Тимоша, на месте, взял бы парня под свою руку, и все враз пошло бы на лад. Верно говорится: «Малые дети тяжелы на руках, а большие — на сердце». Сейчас посоветовала ему пойти в депо — пускай переломит гордыню, честь пускай бережет,— и сама в толк не возьму, верный дала совет или нет. И еще боюсь, как бы парень не укатил на паровозе подале от занятий, от школы... Сказала ему про Максима Андреича, про гонорок, а может, не нужно было говорить? Видишь, Тимоша, каково мне. Шибко уж маятно одной. А ты забыл про нас. Егорка уже почти все буквы знает, деду, говорит, письмо буду писать. А ты вовсе нам не пишешь. Знал бы, как тяжело мне без тебя! Сам ведь избаловал, теперь не сердись. Нынче осенью (ты не забыл?) тридцать годков будет, как мы с тобой рядышком идем. Подумать только, тридцать годочков! А ровно с горки скатились... Да... Говорю вот, говорю с тобой, а ты не отвечаешь...»

Марья Николаевна вздохнула и тихо запела несильным голосом:

Вы, цветы-то мои, цветики,
Вы, цветы мои лазоревые,
Вас-то много было сеяно,
Вас немножко уродилося —
Уродился один алый цвет...

Отчаянно залаял Жук. Она смолкла, перестала шить и, сняв очки, приподняла на окне занавеску.

За невысокой калиткой стоял человек в военном и глядел во двор. Надо было бы сейчас же выйти, спросить, зачем он пришел, но неожиданный и непонятный холодок сковал сердце, неодолимой тяжестью разлился по телу. Марья Николаевна не могла двинуться с места.

Лишь когда Митя открыл перед незнакомцем дверь, когда заскрипели половицы под незнакомыми шагами, она, с трудом передвигая невероятно отяжелевшие ноги, вышла в прихожую.

Лицо солдата было окрашено той особенной бледностью, по которой нетрудно угадать человека, недавно покинувшего госпиталь. Левый пустой рукав воткнут в косой карман поношенной солдатской шинели. На правом плече — вещевой мешок.

Солдат поклонился, пошевелил обескровленными губами, хотел что-то сказать, но у него вдруг пропал голос, и он виновато посмотрел на Митю, потом на Марью Николаевну.

— Заходите, заходите,— поспешно пригласила Марья Николаевна.

Осторожно ступая, вошел солдат в столовую. И только теперь Митя и Марья Николаевна одновременно заметили то, что он держал в единственной руке. Это был сундучок. Старенький железный сундучок, побитый во многих местах, с облупившейся зеленой краской, с аккуратными душничками и маленьким, будто игрушечным медным замочком, черепановский сундучок, который и Митя и Марья Николаевна узнали бы среди тысячи других.

Стараясь не греметь большими кирзовыми сапогами, солдат сделал несколько шагов, хотел поставить сундучок на пол, но раздумал и осторожно опустил его на кушетку. Потом снял пилотку, вытер внутренней ее стороной вспотевшее лицо и, достав из кармана гимнастерки маленький ключик на кожаном шнурке, осторожно положил на крышку сундучка.

Закрыв глаза, Марья Николаевна шагнула к кушетке, опустилась на колени, обхватила руками сундучок, прижалась к нему щекой.

Митя непонимающе смотрел на дрожащие плечи матери и вдруг бросился к ней, обнял эти худенькие трясущиеся плечи и зарыдал. А солдат понуро стоял посреди комнаты и мял, мял в единственной руке выгоревшую пилотку.

Прямо с поезда отправился он в депо и у нарядчицы, красивой девушки с золотисто-соломенными косами, уложенными вокруг головы, спросил, как разыскать семью машиниста Тимофея Ивановича Черепанова.

— Вы с фронта? — встав из-за стола, живо спросила она.— Привет, наверное, привезли?

Тогда он сказал, какое тягостное задание выпало на его долю. Девушка слушала его, широко открыв зеленоватые умные глаза. Потом шумно втянула в себя воздух, закрыла лицо руками и выбежала из нарядческой. А дорогу растолковал ему какой-то паровозник. Если бы довелось пешком шагать из госпиталя на Урал, он, пожалуй, не устал бы так, как за эту дорогу от паровозного депо до черепановского дома...

Марья Николаевна оторвалась наконец от сундучка. Поддерживаемая сыном, неверными шагами подошла к солдату и похолодевшими пальцами стиснула его руку.

— Как же это? Где же это, товарищ дорогой? Ой, горе наше великое! — причитала она.

Митя силой подвел мать к стулу, подал стул гостю.

С каким отчаянием ловили они каждое его слово! А рассказ был короткий. Бронепоезд уральцев громил фашистов нещадно. Немцы стали охотиться за ним. Пытались накрыть артиллерийским огнем, пробовали подорвать, не выходило. И вот, когда наши вели бой за небольшой белорусский город, фашисты выпустили на бронепоезд семерку пикирующих бомбардировщиков...

Бронепоезд маневрировал, его зенитчики подожгли два самолета, а остальные набросились на него с еще большей яростью.

Наши освободили город, а разбитый бронепоезд остался чадить на дороге. Убитых схоронили тут же, под насыпью. Черепанова, тяжелораненого, перевезли в лазарет. Там он и умер через два дня.

— В одной палате мы лежали,—тихо рассказывал солдат, царапая пальцами грубое сукно шинели.— Он как узнал, что я с Урала, из Кедровника, слово с меня взял, что повидаю вас. «Заодно, говорит, передашь мое хозяйство...»

В открытую дверь постучали. Вошел Максим Андреевич, снял фуражку. Увидев его, Марья Николаевна закрыла лицо руками и снова зарыдала.

— Осиротели мы, Максим Андреич, голубчик. Сгинул Тимоша...

Старик кашлянул в кулак, вздохнул, сцепил за спиной пальцы и прошелся по комнате.

— Горе нынче кругом, Николаевна,— сказал он.— А ты — мать, ты крепче горя будь, тебе сына на дорогу выводить...

И вдруг Максим Андреевич увидел на кушетке черепановский сундучок с душничками и с медным замочком. Он подо-

шел к кушетке, постоял, провел ладонью по крышке сундучка, и скупые, горькие стариковские слезы потекли по его щекам, заблестели на желтых прокуренных усах.

Когда Марья Николаевна отняла от лица руки, на пороге стоял Кузьмич, вызывальщик. В одной руке он держал ушанку, другой опирался на толстую суковатую палку, скорбно наклонив лысую голову.

Марья Николаевна безутешно посмотрела на него.

— Кузьмич...— задыхаясь от слез, вымолвила она.— Заходите, Кузьмич... Больше вам уж не надо будет сюда. И дорогу забудете к нам... Некого в наряд вызывать, отробился Тимофей Иваныч...

— Не говори так, Николаевна,— ласково вмешался Максим Андреевич.— Кто знает, может, ему еще доведется и к Димитрию твоему ходить...

Кузьмич заморгал единственным глазом, сказал глухим, сиповатым голосом:

— Верно, верно, Марья Николаевна. Жизня-то идет...

Митя подумал, что Максим Андреевич сказал это не потому, что верил в него, а чтобы утешить мать.

Солдат сидел, упершись локтем в колено и глядя в пол. Вдруг он вскинул голову, точно прислушиваясь к чему-то, быстрым движением потер лоб, сказал с укоризной:

— И как же это я... Чуть не забыл...— он достал из нагрудного кармана белые старинные большие часы, с толстым выпуклым стеклом и белой серебряной цепочкой; Митя вмиг узнал их.

Марья Николаевна вздрогнула, потянулась вперед и обеими руками взяла часы Тимофея Ивановича.

В комнате стало так тихо, что все услышали, как на узких ладонях Марьи Николаевны тикают часы, отмеряя неудержимое время.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Вечером пришли Максим Андреевич с Екатериной Антоновной, тетя Клава, трое соседок.

Пили остывший чай и вполголоса, как говорят при покойнике, вспоминали Тимофея Ивановича, его жизнь, слова, сказанные им когда-то, его привычки. Марья Николаевна, откинувшись на спинку стула, неестественно прямая, молча сидела возле стола, кутаясь в шерстяной платок.

Время от времени она тихо сокрушалась, что плохо расспросила солдата, которого с печальной иронией называла «гостем», даже не догадалась узнать, где он живет.

Мите было невмоготу. Голова горела, твердый горячий ком застрял в горле, душил и жег. Он встал из-за стола и, не замеченный никем, вышел.

По темному небу неслись рваные лохматые тучи. Над городом они внезапно вспыхивали багровым пламенем, но ветер гасил его, и тучи становились похожими на дым гигантского пожара. Ржавая луна то и дело исчезала, и горы, со всех сторон окружавшие город, казались зловеще черными.

Откуда-то донеслись всплески громкого говора, смех. Митю передернуло: как можно смеяться! В доме напротив распахнулось окно и послышались звуки радио: тоненький голосок беззаботно распевал про маленькую Валеньку, которая была чуть побольше валенка. Он сцепил зубы, чтобы не завыть, ухватился рукой за шершавую доску калитки, боясь, что не сдержится и запустит камнем в ненавистное горланящее окно.

От дерева на той стороне улицы отделилась девушка в светлом платье.

Митя увидел ее, когда она пересекала улицу, направляясь к нему.

Впервые он не обрадовался встрече с Верой. Зачем она здесь?

Вера молча протянула руку. Никогда еще они не здоровались за руку. Ее неожиданное появление, это рукопожатие удивили Митю, но он был рассеян и не заметил, с каким вниманием рассматривала его девушка.

Вера сказала, что вышла погулять, потому что «растрещалась» голова, увидела лунатика, поглядывающего на небо, присмотрелась и узнала что-то знакомое...

Митя не понял, о чем она говорит, но не признался. Он вымученно улыбнулся в ответ на ее скупую улыбку и решил, что ни словом не обмолвится об отце — ведь у Веры отец на фронте...

Молчание затянулось. Вера сказала, что этак можно разучиться говорить. Он беспомощно посмотрел на нее: о чем говорить?

— Пройдемся, что ли, измерим улицу,— предложила Вера.

Они медленно пошли вверх по темной, почти безлюдной улице Красных зорь. Вера стала рассказывать, что читала сегодня хорошую книгу и очень позавидовала ее герою.

— Представь себе, живет семнадцатилетний юноша, готовится к выпускным экзаменам, и в это самое время арестовывают и сажают в крепость его брата. Любимого брата. Решается судьба родного человека, а тут нужно сидеть и грызть гранит науки, иначе пропали десять лет учебы. И в день экзамена — известие: брата казнили. Можешь себе представить? А он все-таки пошел на экзамен. И сдал. Блестяще сдал...

Митя шел неверными, заплетающимися шагами, словно не видел перед собой дороги.

— Так это же Володя Ульянов...— сказал он тихо.

Его обожгла мысль, что Вера знает обо всем. И, наверное, только это удерживало ее от насмешек над потопом, над «успехами» вольного потомка крепостных Черепановых. Еще, пожа-

луй, вздумает успокаивать? Нет, спасибо, не нужно ни сочувственных слов, ни вздохов, ничего не нужно!

— Чему же ты позавидовала? Что твоего брата не казнили? — жестко усмехнулся Митя.

Вера не ответила на колкость.

— Воле позавидовала,— сказала она.— Подумать только: какая сила воли!

Они проходили мимо школы. Газон перед зданием, будто снегом, был запорошен белыми цветами. В больших темных окнах вспыхивали зловещие отсветы полыхающих облаков, и от этого на душе становилось еще беспокойнее.

«Скоро опять сюда. А с чем приду? Что успел?» — подумал Митя и отвернулся.

— К чему завидовать? — сухо проговорил он.— Навалится горе на человека, и сила воли откуда-то появится...

— В том-то и дело, что нет,— грустно ответила Вера.— Что-то не чувствую, чтобы она появилась.

— А на тебя, по-моему, и не навалилось ничего.

— Как сказать. Конечно, со стороны не много увидишь...

— Случилось что? — быстро спросил Митя.

Вера молча махнула рукой.

Они миновали школу и вошли под высокие своды старых сосен и берез. Это была небольшая рощица, оставленная строителями в память о лесе, который здесь рос когда-то. Но жители поселка называли эту рощицу парком. Центром парка была клумба, похожая на огромную пеструю тюбетейку; к ней радиусами сбегались дорожки-просеки, освещенные редкими слабыми лампочками.

Только сейчас, когда они рядом присели на скамье, Митя заметил перемену в Верином лице. Соломенные косы с бантиками уже не болтались за спиной, а были уложены венком вокруг головы; тонкие, чуть курчавые на висках волосы светились. Но главная перемена заключалась в выражении ее лица: Митя никогда не видел его таким сумрачным и растерянным.

— Все сошлось одно к одному: и с отцом, и с Алешкой, и у меня самой...

Митя слушал, напрягая внимание, преодолевая удивительную, неизвестную раньше рассеянность.

Еще год назад все было так благополучно в их семье, так ясно в Вериной жизни, и вот все рухнуло: семья, планы, надежды...

«Нет, она ничего не знает,— думал Митя.— Ну, ушел отец, ну, нельзя в этом году поехать в институт,— разве это самое страшное?» Митя согласился бы на все: пусть бросил бы их отец, пусть Митя никогда не добился бы своей цели, пусть злился и обвинял бы, как Алешка, только бы отец был жив. Живой, он еще, может, вернется, и снова будет семья и все будет хорошо и бла-

гополучно, а его отец никогда уже не вернется... Да, если бы Вера знала, что случилось в Митиной жизни, она поняла бы, что значит все ее беды и огорчения. Но ведь каждому тяжело свое горе. Ведь оттого, что у кого-то еще большая беда, собственная беда не покажется другому легче.

И Митя пожалел, что в начале разговора у него вырвались недобрые и необдуманные слова, и стал искать слова, которые могли бы утешить Веру.

— Ты уж сажи на пожалела. А разобраться — что у тебя рухнуло? — сказал он негромко.— Если хочешь знать, отец еще может вернуться. Да, да, одумается и вернется, так бывает. А планы твои... С ними тоже ничего не случилось. Просто отодвинулись малость, и все.

— Как будет, не знаю. А пока... пока это называется: не везет,— горько усмехнулась Вера.

И, хотя совсем недавно Митя думал о себе в тех же выражениях, он передразнил Веру:

— Везет — не везет... Ерунда это, по-моему.

Помолчав, она спросила мечтательно и доверчиво:

— А ты думал когда-нибудь, что такое счастье?

В другой раз он, возможно, попытался бы схитрить, перевести разговор на шутку, но сегодня язык не поворачивался говорить неправду.

— Нет, по-серьезному как-то не приходилось...

— Подтверждаешь мою мысль,— живо отозвалась Вера.— Когда человек счастлив, он о счастье не думает.

Митя скривил губы: «Что и говорить! Счастливец!»

Наклонив голову, она взглянула исподлобья:

— А я думаю, счастье — это... это когда все, что ты задумал, сбывается. Может, не сразу, но сбывается...

— Сбывается...— с насмешкой повторил Митя.— Это как же, само по себе, вроде чуда? А по-моему, не так. Вот ты наметила себе цель и идешь. Дорога трудная, то одно, то другое мешает, назад тянет. А ты идешь и идешь. Иногда раскисаешь, как сейчас: «Все рухнуло, не дойду, нету никаких надежд». И все равно идешь. И наконец добиваешься своего и чувствуешь — недаром шла, ты нужна, тебя ждали. Вот это счастье!

— Как хорошо ты сказал! — вздохнула она.

«Жаль, ко мне не подходит. По всем статьям»,— подумал Митя.

— Ты прав,—сказала Вера.— Наверное, если бы все получалось легко, сбывалось само собой, какой интерес был бы жить!

Мимо, громко разговаривая, прошла группа юношей и девушек. Потом показалась рослая неторопливая парочка.

— Узнаешь? — шепнула Вера.

Это были Чижов и Маня Урусова. От их крупных фигур на дорожку падала одна большая тень. Склонившись к девушке,

Чижов что-то ласково бубнил. Митя долго смотрел им вслед: «Есть счастливые люди! И на работе и на душе — кругом хорошо...»

Когда шаги Чижова и Мани затихли, стало слышно, как сорвался с дерева сухой лист и полетел вниз, цепляясь за такие же сухие и звонкие листья. Вертясь, он упал на Верины колени.

— Осень,—сказала Вера, разглаживая пальцами шершавый листок.— Четвертая осень — и все война...

Он долго смотрел в ее темные глаза и вдруг улыбнулся.

— Знаешь... Ты только не смейся. Захотелось мне изобрести такую штуку, вроде прожектора. Прожектор со смертельным лучом. Прошелся этим лучом — смерть. И поставить бы такие прожекторы на передовой — только сунься! Быстрее бы кончилась война. Здорово было бы, а?

Запрокинув голову, она рассмеялась, и Митя обрадовался, что немного отвлек, развеселил ее. Ни на минуту не забывал он о своем горе, но Верин смех вдруг еще сильнее, резче напомнил обо всем. Митя испытывал такое чувство, словно допустил что-то грубое, кощунственное, словно задел память об отце. В такое время он разгуливает, смешит. А что там дома? Гости, может, уже ушли? Как мама, Леночка? Домой, сейчас же домой!

А Вера как будто и не собирается уходить. Но все равно он поднимется сейчас: пора...

Внезапный порыв ветра прошелся по верхушкам деревьев. Встрепенулись чуткие поникшие ветви берез, беспокойно зашумели сосны. Стайкой пронеслись сухие листья. Вблизи сорвалось несколько шишек и гулко ударились о землю. Голубоватая вспышка, похожая на вспышку электросварки, осветила полнеба. Деревья неожиданно вырисовались черными великанами. Где-то далеко загрохотало.

— Гроза,— сказала Вера.

Снова налетел ветер. Сосны закачались, зашумели тревожнее, глуше. Небо опять вздрогнуло, озаренное мертвенно-холодным светом.

— Страшно как! — прошептала Вера и взглянула на Митю.— А тебе, что, нравится гроза?

— Очень.

Вдали, за рощей, шел поезд. Были ясно слышны стук колес, шипение пара, натужное дыхание паровоза на подъеме. Потом ветер донес свисток: поезд будто прощался с городом. Спустя минуту глухие волнистые перекаты грома заглушили шум поезда, но Мите все еще слышался надрывный, тревожащий душу прощальный свисток.

— Вера,— сказал он нетвердым голосом,— разве ты не знаешь... Ведь у меня и на работе, и...

Она слегка вздрогнула. Пристально посмотрела на него и чуть слышно, точно у нее пропал голос, проговорила:

— Не надо об этом, Митя. Но я верю, верю в тебя...— И, словно не желая дать ему опомниться, схватила за руку: — Что же ты остановился? Бежим!

ШАГИ ЗА ДВЕРЬЮ

В доме было тихо. Пахло валерьянкой.

Гроза давно прошла. Бронзовая луна, словно начищенная лохматыми тучами до блеска, сияла перед домом. Тень от оконного переплета распласталась на светлом полу большим черным крестом.

Митя поймал себя на том, что думает об отце в прошедшем времени: он любил, он говорил, он был... Был. А память никак не мирилась с правдой.

Однажды, придя с работы, Тимофей Иванович не смог попасть в дом. Привычно нажал захватанную до блеска железную ручку — калитка не открылась. Толкнул коленом — калитка не поддалась. Что за чертовщина, почему днем заперлись? Тимофей Иванович нервно забарабанил по калитке костяшками пальцев. Никто не отозвался. Он постучал еще раз, уже раздраженнее. И вдруг заметил на почерневшем от времени брусе черную пуговку электрического звонка. Чудеса!

Он поднял руку и не очень решительно надавил кнопку. Из прихожей донеслась частая, переливчатая трель. И почти в ту же секунду что-то заскрипело, звякнуло и калитка сама медленно отворилась.

Тимофей Иванович вошел во двор, оглянулся. Истинные чудеса: во дворе никого не было. А калитка тут же неторопливо притворилась, над щеколдой задвигались железные рычажки, и большой ржавый крючок сам упал в скобу. Две веревочки тянулись от рычажков вдоль забора и исчезали в отверстии, высверленном в раме окна; на земле янтарно желтели свежие деревянные опилки.

С любопытством, даже с уважением Тимофей Иванович потрогал веревочки, причмокнул языком, пробормотал: «Хитро!» — и, заглянув в открытое окно, увидел спрятавшийся за цветочным горшком русый Митин ежик.

Митя давно уже сидел у окна, нетерпеливо посматривая на улицу.

Наблюдения, произведенные из-за цветочного горшка, не дали результатов. Он не смог определить настроение отца и, схватив книжку, сел за стол.

Скрипнули ступеньки крыльца, открылась входная дверь. Сейчас отец поставит в прихожей сундучок, скинет спецовку и, умывшись на кухне, появится в столовой. Если даже он рассердился из-за дыры в раме, то за это время жар немного спадет.

Но отец, не раздеваясь, шел прямо в столовую. Митя ниже склонился над книжкой.

— Так, так,—значительно начал Тимофей Иванович.

«Сейчас будет»,— подумал Митя и тут же почувствовал, что правое ухо очутилось в тисках, жестких, но вполне милосердных.

— А ну, подними голову, товарищ Митяй!

Голос был строгий, не обещавший ничего доброго, но это «Митяй» говорило, что отец настроен миролюбиво. Большие, глубоко сидящие темные глаза его светились улыбкой. Тиски разжались.

— Где видал такое устройство?— спросил отец.

— Нигде.

— А как же?

— Сам...

— Добро,— с гордостью, как показалось Мите, сказал отец и крепко взял его за плечи.— Механик!

После обеда Тимофей Иванович, катая по клеенке черный хлебный шарик, стал рассказывать, как работал когда-то на металлургическом заводе. Ему было тогда двенадцать лет, а должность называлась — «будилка». Перед сменой он должен был обойти всех рабочих сварочного цеха и напомнить им, что пора на завод. Он подбегал к окну и громко причитал, как было положено будилке:

— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Из дома отвечали:

— Аминь!

Тогда будилка кричал:

— Дядя, робить айда!— и мчался дальше.

«Господи Исусе Христе»,— повторял Митя и смеялся, не задумываясь, почему вдруг отцу пришло на память то далекое время.

Только теперь он понял: конечно же, отец сравнивал свое детство с Митиным, сравнивал и с надеждой смотрел на сына...

Вспомнился Мите единственный в его жизни случай, когда он испытал на себе отцовскую руку: «Не ты Черепанов, а я Черепанов», хвастливую болтовню в школе, первую встречу с Самохваловым: «Такую фамилию — Черепанов — знаешь?» Слова, сказанные Максиму Андреевичу и начальнику депо, разговор с Урусовой... Доброе отцовское имя! Он играл и бахвалился им, как игрушкой. Прилаживался к нему, стараясь попасть под его свет и показаться лучше, чем был на самом деле. Но в этом добром свете, исходившем от отцовского имени, еще резче проступали его недостатки, еще яснее было видно всем, как он мал и смешон. «Иждивенец!» — верно сказал тогда старик. Не будь Тимофей Иванович знатным человеком, не так был бы заметен и сам Митя, и его провал. Отцовская слава держала его на свету, и все видели малейшую его неловкость, не совсем верный шаг

или промах. Нет, отцовское имя не только не помогало — преследуя Митю, оно делало его почти безликим, оно, казалось, мстило ему за все: за то, что он не дорожил им, не берег, а теперь омрачил это имя. Нет, не похвалил бы его отец за все-все...

Он с ожесточением радовался, что случился потоп, что он провалил испытания, что его не допустят на паровоз. Пускай! Очень даже хорошо! Зато кончится весь обман, зато вылезет он из «чужих сапог», о которых говорил Максим Андреевич, зато скинет с сердца холодную, сковывающую тяжесть, которая давила его все это время.

В столовой раздались осторожные, шаркающие шаги. Возле двери затихли. Митя приподнялся на локте. Ему показалось, будто он услыхал дыхание матери. Как, наверное, одиноко и страшно ей сейчас! Надо бы выйти к ней, но разве найдутся слова, которые утешили бы ее! Разве есть на свете такие слова!

Днем он с нетерпением ждал Леночку, надеялся, что она со своим неунывающим характером успокоит мать. А получилось не так. Леночка пришла с работы, взглянула на мать и стала допытываться, что случилось.

Марья Николаевна с удивительным спокойствием отвечала, что ничего не случилось.

— Мама, я вас прошу... Вы скрываете что-то... Почему у вас заплаканные глаза?

— Вон ты о чем! — попыталась улыбнуться мать.— Да я лук чистила... Ну, давай мойся, я сейчас на стол соберу...

Марья Николаевна торопливо ушла на кухню, а Леночка посмотрела на каменное лицо Мити, на стол, на швейную машину и направилась к буфету. Митя следил за ней с замиранием сердца. Словно какая-то сила притягивала ее к тому месту, где мать спрятала бумагу, привезенную солдатом.

Леночка постояла в раздумье возле буфета, потом медленно отвернула вышитую салфетку и осторожно, будто с опаской, взяла бумагу. Она держала ее обеими руками, точно листок был очень тяжелым. И все-таки не удержала. Покачнулась, выронила бумагу и, схватившись за спинку стула, вместе с ним грохнулась на пол.

Шаги послышались снова. Это мать пошла к Лене. Какое надо иметь сердце, чтобы в нем для всех нашлось место, чтобы вынести такое несчастье! Когда отец бывал в поездках, она постоянно беспокоилась и тихо радовалась, когда он возвращался. Не переставая, думала о Ване: «Хотя бы у них там, на Дальнем Востоке, было спокойно!» Оберегала Леночку, ходила за внуком, надышаться не могла на своего меньшего, на Димушку. А теперь бродит по ночному дому одна со своим горем, ломает тонкие, задубевшие от работы пальцы.

Но нет, она не одинока. Митя не оставит ее, никогда не оставит. И никогда ничего не сделает ей наперекор. Когда-то очень

давно тетя Клава спросила у него, кого он больше любит, отца или мать. «И маму и папаню»,— ответил Митя. Тетя Клава засмеялась: «Хитрый, чертенок!» А он не хитрил, он и сейчас сказал бы то же самое. У него были секреты с матерью: скрывали от отца двойку, пока не удавалось исправить отметку. Иногда секретничал с батей: когда тот хотел взять его с собой на паровоз и боялись, что мать станет возражать. А теперь она одна у него. И он сделает все, чтобы она жила хорошо, не хуже, чем прежде, и чтобы ей никогда не было стыдно за сына...

ПУСТАЯ КЛЕТОЧКА

Переступив через порог, Вера тотчас заметила, что на доске нарядов нет Мити: клеточка, где висела картонная табличка с его фамилией, была пуста. И, хотя в этом не было ничего удивительного, Вера помрачнела.

Кирилл Игнатьевич, старший нарядчик, сидел за столом, углубившись в бумаги. Вид у него был обычный, то есть хмурый, насупленный, недовольный. В нарядческой еще не было накурено, и Вере ударил в нос острый запах лука. Это тоже было обычно: от Кирилла Игнатьевича всегда одуряюще пахло луком. В первые дни Вера даже угорала. «Для деятельности организма,— говорил старший нарядчик,— необходимо употреблять как можно больше витаминов!»

Вера понимала, что старший нарядчик не повинен в том, что произошло с Митей, и, убирая с доски табличку, он только выполнял приказание свыше. Но она знала, что он сделал это с черствым безразличием, даже табличку забросил куда-то, не дав себе труда подумать, что за этой картонкой — судьба человека.

«Окаменелость!» — с неприязнью думала Вера, издали оглядывая его стол. Но таблички там не было. Не оказалось ее и на Верином столе. Тогда она придвинула к себе железную плетеную корзину и наклонилась над ней, заслонившись открытой дверцей стола.

— Какова цель ваших раскопок, Вера Андреевна? — невозмутимо спросил Кирилл Игнатьевич, не поднимая лысой головы.

Вера не ответила, продолжая рыться в брошенных бумагах.

— Утеряли что-нибудь?

— Человека.

— Вот как?

В это время Вера увидела табличку; месяц назад она своей рукой написала на этом картонном прямоугольнике «Черепанов Д. Т.». Чернила были густые, и буквы все еще отливали изумрудной зеленью.

— Представьте себе — человека,— сдержанно повторила Вера, пряча картонку в стол.

Когда она задвигала ящик, в нарядческую друг за другом вошли Маня Урусова и Чижов. Сорвав с головы берет, Маня помахала им Вере и, покосившись на Кирилла Игнатьевича, состроила такую гримасу, что Вера едва не расхохоталась. Потом подошла к доске, вмиг нашла пустую клеточку и насупилась, недовольно оттопырила губы.

— Сколько несчастий свалилось на парня! Жуть,— сказала она грудным, приятным голосом, совсем не вязавшимся с мальчишеской внешностью.— А есть люди... их ничем не проймешь. Сухари. Разве что в кипятке их размочить можно...

— Маня! — умоляюще проговорил Чижов.

— Двадцать лет уже Маня.

Вероятно, по дороге в депо они повздорили, и сейчас, несмотря на заискивающие взгляды Тихона, Маня продолжала дуться.

— Что я такого сказал? — оправдывался Чижов.

— Повтори,— не глядя на него, тоном приказа сказала Маня.

— Рассуди, Вера,— заговорил Чижов, часто хлопая короткими белесыми ресницами.— Я сказал: большое испытание выпало парню. Выдержит — человеком будет. Что ж тут такого?

— Но как сказал! — распалялась Урусова.— Меня аж знобить стало. Не подумал, как помочь парню. Держи, мол, испытание, товарищ, в одиночку, а мы посмотрим, что из этого выйдет.

— Мы советовались с Максимом Андреевичем,— сказал Тихон.— У старика верная мысль: тут подсказка ни к чему, как и в школе. Сам пускай решает.

— Сам-то сам,— не унималась Урусова,— но зайти к человеку ты мог? Все ж ему было бы легче: не забыли. На это соображения не хватило. А небось про веревку спрашивал?

Чижов вздохнул и чаще захлопал ресницами.

— «Веревку захватил, парень, чтоб привязаться на тендере?» — подражая Тихону, грубоватым голосом пробормотала Маня.— Было?

— Как водится,— виновато улыбнулся Чижов.— Не я первый.

— Сообразительность проверяется, товарищ Урусова,— заметил старший нарядчик, сложив бумаги в потрепанную папку и собираясь уходить.

Маня быстро обернулась в его сторону, тонкая и темная, словно нарисованная, бровь ее насмешливо изогнулась.

— Позволю себе возразить вам, Кирилл Игнатьич,— подчеркнуто уважительно сказала она.— Таким способом сообразительного человека легко сделать дураком...— Маня бросила иронический взгляд на Тихона.— Есть товарищи, стараются по этой части...

Старший нарядчик засмеялся дробным смешком и, зажав папку под мышкой, неслышно удалился.

Вероятно, оттого, что Маня отчитывала Чижова на людях, он не вытерпел. Густой румянец залил его лицо так, что веснушки остались видны только на носу, губы побледнели.

— Знаешь,— сказал он сдавленно-тихим голосом,— критиковать и давать установки легче всего. Комсоргу и самому не грех бы людьми заниматься...

— Что ты? — Урусова искоса бросила на него удивленно-насмешливый взгляд.

— Именно! Двое комсомольцев с подъемки напились и буянили в клубе — комсорг комиссию организовал. А почему бы самой не поговорить с ребятами? К Черепанову меня посылает. За мной-то остановки не будет. А сама что?

— Вот и скажешь это на отчетно-выборном собрании,— перебила Маня.

— Долго ждать. Я сейчас говорю, что думаю.

— А я не занималась тем же Черепановым? — зло сощурила глаза Маня.

Чижов усмехнулся.

— Пособила ошибку сделать. А уговорить парня пойти в слесаря...

— Что ж, я плохой комсорг, не отрицаю,—с обидой сказала Урусова и отвернулась.

Чижов посмотрел на доску нарядов и взял с подоконника свой сундучок. У двери он обернулся, хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и вышел.

Вера вспомнила вчерашнюю по-голубиному нежную парочку в роще и подумала, как все переменчиво в жизни. В душе она была почти согласна с Чижовым, но ей стало жаль Маню: покусывая губы, та стояла возле барьера, вид у нее был непривычно пришибленный. Она долго смотрела в окно, задумчиво морща лоб. Потом быстро повернулась, тряхнула головой.

— Так и сделаем,— решительно сказала она, надевая берет.— Ну-ка, Верочка, запиши мне адресок Черепанова...

УТРО

Чьи-то мягкие, бережные руки гладили и перебирали его волосы. Он подумал, что это снится ему, и сладко потянулся. Откуда-то издалека послышался голос матери:

— Вставай, Димушка, десятый час. Вредно столько спать...

Просыпался он трудно, как ребенок: долго не мог продрать склеенные сном веки, причмокивал губами, улыбался. Наконец, сев в кровати, взглянул на мать, и сонные глаза его округлились в испуге.

— Ой, мама! — он приложил руки к вискам.— У тебя тут совсем-совсем бело!..

Марья Николаевна неторопливо прикоснулась к вискам и тотчас отняла пальцы, словно их обожгло ледяной изморозью.

— Переночевали с горем, Димушка. И вот живы,— сказала она незнакомым, глухим голосом.— Значит, надо жить. Вставай, сынок...— и вышла из комнаты, как-то неестественно выпрямившись.

В столовой на Митю повеяло обычной чистотой и свежестью. Пол был вымыт, кое-где в углублениях крашеных досок еще поблескивала вода. В кухне на столе стоял завтрак, покрытый белоснежной салфеткой, накрахмаленной и твердой, как бумага.

Митя, как обычно, побежал к почтовому ящику, но мысль, что здесь никогда уже не окажется дорогих и желанных писем, опалила его. Взяв газету и придав лицу беззаботный вид, он направился в дом, сел на свое место — слева от пустого отцовского стула — и, перед тем как приступить к завтраку, вслух прочитал сводку.

Марья Николаевна слушала, как всегда подперев ладонью щеку.

— Хорошо наши пошли, бойко,— проговорила она, убрала и сложила по сгибам салфетку.

— А ты ела, мама? — спросил Митя и застенчиво отвел взгляд: впервые за всю жизнь он задал этот вопрос.

Внезапно повлажневшие глаза матери блеснули благодарно-печальной улыбкой.

— Я сыта, Димушка,— сказала она.— Разве чайку выпью за компанию...

Мите не хотелось есть. Он ел через силу, чтобы не тревожить мать, и все посматривал на неожиданный холодный иней, проступивший на гладко зачесанных ее висках. Она отхлебывала из блюдца чай и тихо, озабоченно говорила:

— Леночка-то едва оклемалась, бедняжка. Диспетчер — это же страсть какая сложная работа, вся на нервах...

После завтрака Митя бесцельно походил по дому. Ему то и дело попадались на глаза отцовские вещи: белая металлическая пуговица от кителя, перочинный нож с изображением бегущего оленя на железной ручке, темно-коричневый деревянный мундштук, прокуренный и крепко пахнущий табаком...

Чтобы мать не наталкивалась на них, он положил в старый пенал пуговицу и мундштук, а ножик почему-то задержал в руках. Олень, гордо откинув рогатую голову, легко оторвался от земли и летел, стремительно выбросив тонкие быстрые ноги. Неожиданно какая-то дымка заволокла его, и на оленью спину упала большая прозрачная капля. Митя поспешно положил ножик в пенал, рукавом отер глаза и спрятал пенал в ящик стола.

Когда вышел в столовую, мать принималась за шитье. Очень хорошо, забудется хоть немножко. Но как сейчас оставить ее одну?

— Мама,— сказал он тоном просьбы,— мне нужно уходить...

Мать, не оборачиваясь, спросила, куда он собрался.

— В депо.

Марья Николаевна медленно повернула к нему лицо, освещенное слабой улыбкой:

— Хорошо, Димушка. Иди...

— Теперь я из депо никуда.

Марья Николаевна сняла очки, словно они мешали видеть.

— Останусь насовсем.

Руки ее опустились на колени, улыбка стала тревожной:

— Что ты, Димушка! Ты не беспокойся, милый, я и сама на жизнь заработаю...

— Я должен специальность получить.

— Школа — вот пока твоя специальность. Учение бросать ни под каким видом не дозволю.

— Вечерние школы есть,— негромко, но уверенно сказал Митя, складывая газету.

Марья Николаевна поднялась.

— Чуяло мое сердце— не надо было пускать...

— Могла не пускать,— ласково усмехнулся Митя,— а сейчас поздно...

— Ну да, поздно. Отца нет, а мать — что она понимает? На ее слова — тьфу, можно и наплевать.

Митя вскочил, обнял ее худенькие плечи, чмокнул в висок.

— А что я без тебя решал? Ничего. И сейчас советуюсь. Если только школа — значит, через год начинай все сначала. Ведь я все равно пойду на паровоз. А так в одно время и школу закончу и в помощники выйду. Понимаешь, какая экономия!

— Экономия! — с досадой повторила Марья Николаевна и, словно жалуясь кому-то, тихо проговорила: — Учился бы спокойно, так нет, надо все по-своему, потрудней. Ох, горе мое... И папаня твой такой же... был. Думаешь, призвали его на бронепоезд?

— А как же, ведь он писал...

— Написать можно что захочешь... Сам напросился...

— Откуда ты взяла? — Митя испугался такой проницательности матери.

— Знала я его. Лучше, чем себя, знала. И тебя тоже вижу...

Она опустилась на стул. Лицо у нее было сосредоточенно-скорбное.

— Учился, учился, значит, и в рабочие вышел? А мы-то чаяли...

— О чем же? — со смешинкой в голосе спросил Митя.

— Папаня спал и видел тебя инженером либо техником...

— А я, может, не то что инженером — в профессора выйду! — весело сказал Митя.

Марья Николаевна недоверчиво и грустно покачала головой и, подумав, что теперь, без Тимофея Ивановича, ей не направить сына, что гибель мужа — только начало всех бед, которые неизбежно обрушатся на нее, тихо заплакала.

— Ну зачем же расстраиваться? — Митя запальчиво и быстро стал объяснять, что на железнодорожного инженера можно выучиться, непременно поработав кочегаром, помощником и машинистом, что, не получив права управления паровозом, не получишь и диплома...

«Нет, не управиться с ним,—думала Марья Николаевна, слушая сына.— За ручку не поведешь, прошло то время, а как урезонить?..»

— Ты вот плачешь — сын простой рабочий,— пожимая плечами, сказал Митя.— А я не понимаю. Все Черепановы кто были? Папаня говорил всегда: «Мы — рабочий класс». Ты сама рассказывала — в семнадцать лет вагонетки на руднике толкала. А теперь плачешь...

Марья Николаевна вытерла глаза.

— Что ж тут понимать? Пятеро ртов было, а кормилец один. Вот и толкала. И папане твоему в гимназии бы ум просветить, а пришлось пойти в «будилки». Выбора у нас не было. А тебя кто неволит? У тебя дорог поболе, чем у нас было...

— Вот я и выбрал. В общем, ты не беспокойся,— тепло улыбнулся он, подошел к матери, заглянул в голубые тревожные глаза.— И еще одно скажу. Папаня писал: «Остаешься за меня». Помнишь? Это, я считаю, его наказ...

Она выпрямилась, пораженная и растроганная неожиданной мыслью.

Митя сжал ее локти, сказал: «Ну, я пойду...» — и стал торопливо одеваться.

Он мог бы отправиться в депо в любой одежде, даже в праздничной,— не на работу. Но он надел все, в чем ходил на паровоз. Снимая с вешалки рабочую тужурку, увидел старую спецовку отца, и, забыв, что может измазаться, приник к ней лицом, услышал знакомый до слез запах пота, горьковатый дух мазута и железа. Потом повесил отцовскую спецовку под свое пальто и вышел из дому.

Не успела Марья Николаевна прийти в себя после разговора с сыном, как явилась незнакомая девушка. Жук почему-то не залаял, и она влетела, будто ветер, бойкая, большая, удивительно ладно скроенная, подстриженная под мальчишку.

Услышав, что Мити нет дома, нахмурилась. Но когда узнала, куда и зачем он ушел, по-детски хлопнула в ладоши, и круглое мальчишечье лицо ее засияло.

— Красота! — сказала она, сверкнув белыми плотными зубами.

Марья Николаевна поняла, чтс не найдет единомышленницы

в лице девушки, однако позвала ее в дом, поделилась с ней своей тревогой.

А через час Марья Николаевна провожала гостью до калитки.

— Большое спасибо, что зашли,— говорила она, чувствуя себя маленькой рядом с девушкой.— Дорожку к нашему дому не забывайте...

— Что вы! Не за что меня благодарить,— весело отвечала девушка.— Вот увидите, Марья Николаевна, все будет в порядке...

«Я ТЕБЯ ЖДАЛ, ЧЕРЕПАНОВ»

Когда впереди показалось темно-серое ступенчатое здание депо, стальной разлив бесчисленных путей и взлетающие в воздух белые дымки паровозов, Митя испытал такое чувство, будто давно, очень давно не был здесь. Он подумал, что хорошо бы ни с кем не встретиться, и в тот же миг увидел паровоз, на котором работал отец.

Забыв обо всем, Митя смотрел на почти бесшумно приближавшийся паровоз, и ему почудилось, что из окошка, обрамленного синими матерчатыми бомбошками, выглянет сейчас отец. Он даже шагнул вперед и поднял руку, готовый крикнуть, как бывало: «Э-гей, папаня!»

Его обдало сухим каленым теплом. В окошке он увидел загорелое, мясистое лицо Королева с медвежьими глазками.

Прикусив губу, Митя опустил руку.

Королев бросил на него сверху рассеянный, мимолетный взгляд и, надвинув на глаза фуражку, нырнул в будку.

«Узнал, да сказать нечего...» — с горечью подумал Митя и ускорил шаг.

Он подходил к конторе, когда кто-то шлепнул его по плечу.

— Здорово, железнодорожник! Наше вам!— раздался хрипловатый, захлебывающийся голос Миши Самохвалова.

Цыганские глаза его сверкали в улыбке. Он похудел, смуглое лицо побледнело, и аккуратненький острый носик еще больше заострился.

— Выздоровел? — растерянно спросил Митя, едва пожав протянутую руку.

— Как видишь. Прямо из поликлиники. Докторица говорит: «Я бы тебя, Самохвалов, подержала на больничном еще с недельку, да на работе без тебя затор. Дублер-то твой того...» — Миша выразительным жестом показал, что произошло с дублером, потом обнял Митю за плечи, сочувственно добавил: — Ну и учудил же ты, милый! Чепе на все депо. Полдня, говорят, к колонке не подойти, не подъехать...

В голосе Самохвалова так переплетались нотки сочувствия и веселой беспечности, что Митя не знал, как с ним держать себя.

— А все почему? — рассуждал Миша.— Меня плохо слушал. Я тебе говорил: кочегарское дело науки требует. А ты считал, раз-два — и в кочегарах, как в сказке. Я извиняюсь...

— Что еще скажешь? — с вызовом спросил Митя.

— Ничего,— уловив Митин тон, успокаивающе сказал Самохвалов.— Рассосется, товарищ железнодорожник, не падай духом...— он подмигнул и хлопнул по нагрудному карману спецовки: — Побежал больничный сдавать. Знаешь как соскучился! Сплю, а вроде на паровозе еду. И не кочегаром, а помощником. Ну, держи пять...— чуть откинув голову, он задержал Митину руку, приглядываясь к нему.— А ты, я смотрю, здорово скуксился. С лица даже спал. До «потопа» лучше был. Чудной человек! Это ж у тебя вроде забавы было. Я б на твоем месте начихал на все. Ну, подмочил малость батькин авторитет. Ничего, выдержит он. За таким батькой, как за каменной стеной...

Глаза у Мити вдруг наполнились слезами, он вырвал руку из Мишиной руки и побежал прочь. Глядя вслед, Самохвалов пожал плечами:

— Вот еще нюня!

Подбежав к конторе, Митя постоял, пока не перестали противно дрожать губы, и одним духом взлетел на второй этаж.

Секретарь начальника депо, маленький сухонький старичок в узком потертом кителе, в очках с железной оправой, услышав шаги, оторвал от бумаг седую голову. А Митя был уже в кабинете. Притворив за собой мягкую, обитую черной клеенкой дверь, он остановился, задохнувшись.

Горновой только что положил на рычаг телефонную трубку и обернулся.

— Я пришел, Сергей Михайлович... Я вам говорил... Я хочу...— выдохнул Митя.

— А я тебя ждал, Черепанов...— Начальник депо встал из-за стола.— Ну, здравствуй. Заходи, присаживайся, — и, протянув вперед руки, он пошел навстречу.

ДРУГ

День был теплый, но хмурый, с самого утра низкие грязно-серые облака неподвижно висели над городом. Но Мите почудилось, будто выглянуло солнце: это поблекшие березки, тесно выстроившиеся по обеим сторонам улицы, сияли чистым солнечно-теплым светом. Казалось, если прикоснуться к бронзовой листве, она зазвенит прозрачным, певучим и по-осеннему грустным звоном.

Услышав позади торопливые шаги, Митя обернулся. Его до-

гонял Миша Самохвалов. Митя ускорил шаг. Но через минуту Самохвалов забежал вперед, схватил его за руку.

— Мить,— жалобно заныл он.— Я ж ничего не знал... откуда ж я мог?.. Мить...

На его маленьком остром носу сбежались морщинки, казалось, Миша сейчас заплачет.

— Ну не серчай, Мить,— говорил он с непритворной мольбой в голосе.— Ну намолол я, а ты плюнь и забудь...

— Зачем же плевать? Что думал, то и молол...

— Да брось ты! Вроде не знаешь меня. Ну скажи что-нибудь такое... или дай по уху, по дурной башке. Ну дай, будь человеком.

Слова Самохвалова ранили его слишком больно, чтобы можно было их быстро простить.

— И дал бы,— сказал Митя, не глядя на него,— если б знал, что поумнеешь... Ну, пошел я, некогда мне, в другой раз поговорим...

На углу Комсомольской Митя решительно свернул к деревянному двухэтажному дому.

Дверь ему открыла пожилая женщина с бородавкой на подбородке, из которой торчал кустик серых жестких волос.

— Дома Алеша? — спросил Митя, заходя в тесную полутемную прихожую.

— А кто его знает,— буркнула женщина, шаркающей походкой направляясь в кухню.— За ним и мать родная не уследит...

Алеша лежал на диване босой, в брюках и майке и читал книгу.

— Войдите! — крикнул он, услышав стук, и недовольно вздохнул: «Обязательно перебьют на самом интересном месте!»

Приподняв взлохмаченную голову, широко открыл глаза, потом закрыл их и снова открыл. Сомнений быть не могло: на пороге стоял Митя.

Не сводя с него удивленных глаз, Алеша медленно отложил книгу и опустил на пол босые ноги.

Митя прошелся вокруг стола, сказал негромко, словно про себя:

— Мне к Белоноговым надо было. Кажется, не туда попал...— и шагнул к двери.

— Митька! — закричал Алеша, вскакивая с дивана; он внезапно обрел дар речи и, словно обрадовавшись этому, взволнованно затараторил: — Какой ты молодец! Это же гениально! А я думал, не простишь. Я ведь понятия не имел, что у тебя такое на работе. Потом Верка все рассказала. Я хотел пойти, но решил, тебе не до меня...

Легонько отстранив его, Митя снова зашагал по комнате.

— Что за люди! Сначала наговорят черт знает чего, потом извиняются. Целый день извинения. Надоело!

— Нет, ты пойми,— виновато тянул Алеша, идя за ним.— Я прошу поручиться — отказ. Я решил — не хочешь, чтоб я тоже был в депо...

Митя круто повернулся. «И ты мог подумать такое?» — хотел он сказать. Но, увидев близко Алешины глаза, вдруг вспомнил глаза Веры. Они были очень похожи, такие же зеленоватые и большие, со светлыми лучиками вокруг темных зрачков. Только выражение у них разное: у Алеши — холодновато-дерзкое, озорное, а Верины глаза тепло светились то задумчивым, то насмешливо-веселым светом.

— На моем месте ты подумал бы то же самое,— сказал Алеша.

— Кончили с этим,— оборвал Митя.— Теперь могу поручиться за тебя, могу попросить Горнового... если ты не раздумал.

— Ну? Так ты... так у тебя все в порядке?

— Полный порядок.

Задумавшись на минуту, Алеша приблизился к Мите, сказал шепотом:

— Я думаю, тебя сейчас и на широкую колею приняли бы.

— Это почему же?

— Из уважения к памяти Тимофея Ивановича. Факт, приняли бы...

— Что? Из уважения? — вдруг закричал Митя, свирепо блеснув глазами.— Не нужно мне этого уважения! Понятно?

Алеша удивленно приподнял плечи и молча отошел от него.

— Почему же не спрашиваешь, на какую работу выхожу? — остыв, спросил Митя.

— Обратно, на паровоз?

— Не угадал.

Кончики Алешиных губ разочарованно поползли книзу.

— Наладили, значит, с паровоза?

— Наладили.

— Эх, досада! — с сердцем сказал Алеша и махнул рукой.— Надо было мне раньше, до твоей засыпки пойти. А теперь, конечно, не возьмут...

Митя отвернулся: только о себе думает человек. То, что он, Митя, потерпел неудачу, оказывается, неважно, самое обидное, что этой неудачей он закрыл дорогу Алеше.

— Я, можно сказать, спас тебя от такой же засыпки, а ты еще ворчишь,— спокойно сказал Митя.— Все-таки надо сначала четыре действия знать, а потом уж браться за алгебру...

Упоминание об алгебре омрачило Алешу, он нахохлился, замолчал. А Митя сел на диван, закинул руки за голову и вздохнул:

— Гора с плеч. Решил. И, считаю, правильно. Кончу школу, а у меня уже специальность в руках. Папаня говорил: «Ремесло — не коромысло, плеч не оттянет...»

Алеша с холодноватым недоумением исподлобья взглянул на него:

— Только и всего?

— А там у нас имеется дальний прицел,— мечтательно сощурился Митя.

— Институт?

— Что-то больно я расхвастался,— спохватился Митя.— Как бы еще и отсюда не наладили...— Он потянулся так, что хрустнули суставы, и, взяв с дивана книжку, посмотрел на обложку.

— Самое время читать про то, как зверей дрессируют!

— С тоски,— несмело сказал Алеша.

— А переэкзаменовка? — безжалостно спросил Митя.

Алеша подошел к окну.

— Уже не успеть. Упустил время,— отозвался он упавшим голосом.

Бросив книжку на диван, Митя направился к Алешиному письменному столу. На столе — стеклянная граненая чернильница, в которой высохли чернила, самшитовый бокал с ручками и карандашами, старый компас с треснувшим стеклом — и ни единой книжки.

— Раньше хоть раскладывал учебники, а сейчас и этого не делаешь. Выучился! — сердито проговорил Митя.— «Не успеть»! Глупее других, что ли? Ты же способный парень. Только лодырь. И воли вот ни столечко,— он показал на кончик ногтя.— Можешь злиться, я правду говорю, извиняться после не буду...

Алеша не собирался злиться.

«Друг. Настоящий друг!» — подумал он с благодарным чувством.

— Доставай алгебру,— приказал Митя.— Ничего не выйдет, придется сдавать. Шесть дней еще, успеешь. Меньше поспишь. Душа вон, а сдашь...

Со смешанным чувством неловкости, досады и благодарности Алеша побрел к письменному столу.

— Шевелись живее, и так уж засиделся...— неумолимо бросил вдогонку Митя.

Домой он вернулся в пятом часу. Поняв по лицу матери, что она беспокоилась, с порога сказал:

— Все хорошо. Сейчас дам полный отчет. А голодный я, как волк...

В столовой его ждала неожиданность: на столе, в пепельнице — большой чугунной ракушке — лежал деревянный прокуренный отцовский мундштук, который он спрятал утром. Не веря глазам, Митя взял его и вздрогнул, услышав голос матери:

— Не нужно, Димушка, папины вещи трогать,— сказала она негромким, натянутым, как струна, голосом.— Пускай лежат, где он их оставил. Ровно с нами он, только отлучился...

Пока мать собирала на стол, Митя рассказал о походе к Горновому и, удивляясь, что она не возобновляет утреннего разговора, принялся за щи.

Щи были горячие, он нетерпеливо дул в ложку и все-таки обжигал губы. Марья Николаевна сидела напротив, не сводя с него внимательного взгляда.

— А почему, Димушка, ты не в комсомоле? — тихо спросила она вдруг.

Митя перестал жевать.

— Сама-то я про это не думала,— тихо продолжала мать,— а люди интересуются: почему, мол? И в самом-то деле: отец — партийный человек...— она помолчала и с видным усилием поправилась.— Партийный человек был... А сын в стороне...

— Какие это люди? — хрипло спросил Митя.

— Ты ешь, ешь... Какая разница. Добрые люди... Об тебе думают...

Опустив руки, Митя смотрел в дымящуюся тарелку, с новой силой испытывая утихшую было старую боль.

— Не пойму я: сам не хочешь или считают, что ты недостойный?

— А по-твоему, достойный?— с ожесточенной улыбкой спросил он.

— Мы завсегда так полагали об нашем сыне,— растерянно отозвалась Марья Николаевна.

Отодвинув тарелку, Митя поднялся.

— Будет за что, примут.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



СЕКРЕТНЫЙ РАЗГОВОР

За несколько минут до гудка Митя вымыл керосином руки и переоделся: он впервые шел на рабочее собрание и торопился. Ваня Ковальчук усмехнулся:

— Поспешаешь, не иначе ты докладчик...

У входа в красный уголок Митя встретил Веру, и они, не сговариваясь, направились в конец зала, к раскидистому фикусу с атласными листьями.

— Все равно долго мне тут не сидеть,— опускаясь на скамейку, сказала Вера.— Протокол придется вести, увидишь.

— А давай спрячемся,— шутливо предложил Митя.— Вот сюда, за цветок.

Она улыбнулась, хотела что-то сказать, но увидела Алешу, помахала ему рукой.

— Думал, пообедаю — и за уроки. Извольте давить стул на собрании! — проворчал он.

Вера повернулась к брату:

— Как всегда, не вовремя приходит к тебе прилежание!

В красный уголок вошел Чижов. Заметив Митю, расплылся в улыбке и двинулся к нему неторопливой, увесистой походкой.

— Сколько лет!

— Последний раз летом виделись.— Митя сжал мясистую веснушчатую руку.

Но он говорил неправду. Сколько раз с наступлением обеденного перерыва отправлялся он на пути и, отыскав «свой» паровоз, подолгу наблюдал издали за Максимом Андреевичем, за Чижовым, а потом брел в депо с сердцем, разбитым тоской и завистью. Сколько раз, услышав знакомый свисток, бежал к закопченному деповскому окну...

Глядя теперь на забрызганное веснушками лицо Чижова, Митя вспомнил, что когда-то ему не нравился этот круглый подбородок, эти узкие колючие глаза. Но что же в них колючего? Можно смело сказать — симпатичные глаза, сплошная доброта.

Начальник депо объявил собрание открытым и попросил назвать кандидатуры председателя и секретаря. Несколько голосов враз выкрикнуло его и Верину фамилии.

Из первого ряда кто-то пробасил: «Других предложений нету!» — и тотчас поднялись руки.

— Что я говорила? — шепнула Вера.— Штатный секретарь.

В большом притихшем зале зазвучал негромкий, полный едва сдерживаемого волнения голос Горнового. Митя, сразу уловив тревожные интонации в этом голосе, начал прислушиваться.

Начальник депо говорил о том, что советские войска ведут решительное наступление по всему фронту, что завод «в глубинке», в Кедровнике, выпускает все больше артиллерийских орудий, которые нужно без промедления перебрасывать в Горноуральск, а оттуда — на запад, на передовые позиции, но что узкая колея не успевает «перерабатывать» грузы. Узкая колея не справляется, дорогу все время лихорадит, а причина — в работе депо, паровозы простаивают в ремонте больше положенного срока...

Митя вспомнил перевалочную станцию, беспокойные лица, черные торопливые стрелки электрических часов, отсчитывавшие опоздание поезда, и горькие, страшные слова майора о том, какой ценой расплачиваются наши люди за каждую минуту этого опоздания. И почти те же слова повторил сейчас начальник депо.

— Страху нагоняет,—насмешливо шепнул Алеша в Митино ухо.

— Много понимаешь! — с неприязнью зашипел Митя. Он разозлился не только за эти глупые слова, но еще и за то, что Алешка перебил его мысль. А думал он о том, что если два месяца сидишь в слесарях и еще немногому научился, если возишься над какой-нибудь паровозной деталью и что-то не ладится у тебя,— это, оказывается, беда не только твоя, а всего депо, всей дороги и даже еще больше...

После начальника слово взял мастер Никитин. Худощавый и сутулый, отчего нетрудно было угадать в нем бывшего слесаря, он то и дело стаскивал очки, протирал стекла и снизу вверх поглядывал в зал усталыми глазами.

Мастер был растерян, и Митя искренне пожалел его.

— По такой нагрузке, товарищи, надо бы иметь вдвое больше паровозов. И не такую древность, как у нас.— Никитин развел костлявыми руками.— Потом же кадры, товарищи. Старых-то работников — раз, два и обчелся. Зелень сплошная. Сердцем хотят, а руки еще не умеют. И управляйся как знаешь...

Митя сидел подавленный. Ему казалось, что все упреки мастера относились только к нему. Конечно, Никитин во многом прав, но Митя все же обиделся и перестал его жалеть. Он даже испытал злорадное чувство, когда на мастера обрушился незнакомый паровозник огромного роста, с голосом, от которого позванивали в окнах стекла.

— Говорят, свои недостатки легче разглядеть чужими глазами, — начал он. — Товарищи ремонтники доказали это: не все увидали сами. Вот я и хочу добавить, с точки зрения паровозника...

Сначала Никитин с удрученным согласием кивал головой, потом потупился, и длинные сухие морщины собрались у него на лбу. Но еще больше помрачнел мастер, когда заговорил Чижов.

— На машины легко сваливать,— он быстро поднялся и направился к столу.— Известно, паровоз опровержения не заявит. А как их только не крестили тут, наши машины,— и древность, и гробы, и клячи...

— На этих клячах мы смерть фашистам везем! — выкрикнула с места Маня Урусова, и мальчишеское лицо ее залилось краской.

Зал захлопал. Отложив перо, Вера подняла над столом руки и тоже забила в ладоши.

— Правильно! — вставил кто-то.

Чижов продолжал говорить. Речь его становилась все накаленнее, громче. Митя думал раньше, что этот рыжий парень, всегда говоривший как бы нехотя, с ленивым спокойствием, не умеет волноваться. Он повернулся к Алеше, хотел сказать ему об этом, но тот дремал, упершись в грудь подбородком.

— Видать, не любят ремонтники наши паровозы,— продолжал Чижов.

— Любитель нашелся! — закричал кто-то.

Горновой сильно постучал карандашом по графину.

— Кто слыхал, чтоб паровозник обозвал свою машину гробом или еще как-нибудь? Колюшей называют, Николкой, Федей, а машинист Григорьев даже Марьей Ивановной величает...— Он помолчал, пока затихла вспышка смеха.— Паровозы старые, это факт. Вот бы к ним больше ласки да заботы. Старикам, как говорится, у нас почет. А бывает, машина только-только из ремонта, а ее хоть опять ставь на лечение...

Забыв о своих секретарских обязанностях, Вера по-ученически грызла кончик ручки. Лишь когда Чижов заговорил о комсомольских постах, о редколлегии стенгазеты, которая долго «набирает пары», Маня Урусова тронула секретаря собрания за локоть, и та, смущенно улыбнувшись, принялась поспешно записывать.

До позднего вечера люди в красном уголке спорили, совето-

вались, о ком-то говорили одобрительно, кого-то корили. Только о нем, о Мите, никто не сказал ни доброго, ни худого слова — это было очень обидно. Даже Маня Урусова, называвшая многих молодых рабочих, не вспомнила о нем, ни разу не взглянула в его сторону, несмотря на то, что он сидел рядом с Чижовым...

Как только Горновой объявил собрание закрытым, Митя двинулся к выходу.

Вокруг депо на высоких мачтах горели прожекторы. Черные рельсы сверкали, словно весенние ручьи в снегу. Паровозные дымы беломраморными колоннами, расширявшимися кверху, подпирали низкое, сумрачное небо.

Вера вышла из красного уголка вместе с Алешей. Увидев удаляющуюся фигуру Мити, она окликнула его. Митя остановился.

— Торопишься? — спросила Вера. — Или решил, что мы уже ушли?

— Нет, я просто так...

В молчании дошли до угла Комсомольской, где их дороги расходились. Вера заглянула Мите в лицо, и ее поразил отсутствующий взгляд его больших темных глаз.

Еще больше поразил ее вид Мити, когда спустя несколько часов, уже ночью, он позвонил в их квартиру. Шапка на затылке, телогрейка распахнута. Дышал он часто, наверное, бежал сюда, на губах дрожала рассеянная улыбка.

— Алешку бы мне,— проговорил он задыхающимся голосом.

Вера молча раскрыла перед ним дверь. Но Митя попятился:

— Неудобно, поздно ведь...

Тогда, оставив дверь открытой, Вера ушла в комнату.

— Тебя друг вызывает,— сказала она брату притворно-безразличным тоном.

— Почему же ты не зазвала его? — спросила Анна Герасимовна, чинившая Алешкину рубаху.

— Не хочет. Секретный разговор, наверное.

— Помешалась на секретах! — буркнул Алеша, выходя из комнаты.

Вера села за стол, придвинула книгу. Но не прошло и пяти минут, как она забеспокоилась:

— Вышел раздетый, простудится еще...

Мальчики предусмотрительно притворили дверь. Но, не будь в коридоре ненавистных счетчиков, что-нибудь удалось бы расслышать. Три счетчика, которые, помимо основной своей роли, были призваны сохранять добрососедские отношения между тремя обитавшими в квартире семьями, гудели неустанно и громко.

Наконец Вера уловила приглушенный шепот на лестничной площадке.

— В общем, для себя я решил. За тобой слово...

Алеша пробубнил что-то в ответ.

— Ну как не понять? — громко вырвалось у Мити, и он тут же перешел на торопливый, неразборчивый шепот.

— Что-то я замерз,— Алеша зябко потянул носом.— Утро, говорят, мудреней. Завтра еще обсудим.

— Утром — ответ, — требовательно проговорил Митя, и шаги его гулко раздались на деревянной лестнице.

«ЧТО ЖЕ ОНИ ЗАТЕВАЮТ?»

По утрам над Горноуральском поют гудки.

Первым затягивает сипловатый, натужный голос «старика», положившего начало городу, затем из-за леса, постепенно набирая силу, вступает трубный, похожий на крик лося, гудок нового металлургического, его подхватывает раскатисто-удалой бас машиностроительного, потом звучит хриплый, бессонный голос паровозного депо, его будто старается перекричать высокий, с присвистом сигнал железного рудника, а там уж вступают в нестройный хор разноголосые гудки рудников, шахт и небольших заводов Горноуральска, которым нет числа.

Как только умолкает пение, тишина ненадолго сковывает почти ощутимо тугой морозный воздух, и тогда слышен шорох падающих снежинок, злой посвист быстрой поземки, далекие и словно несмелые звонки первых трамваев и напоминающий шум соснового бора рокот приближающегося к городу первого рабочего поезда.

Хлопают калитки, то здесь, то там в серой утренней мгле возникают одинокие фигуры прохожих, а через несколько минут улицу до краев, как в праздник, заполняет людской поток. Он разрастается, вбирая в себя такие же потоки, выбегающие из боковых улочек и переулков, и течет, течет, разливаясь по всему городу.

Каждое утро в этом потоке можно было встретить слесаря депо Митю Черепанова. Каждое утро он выходил из дому сонными, неверными шагами, но, захваченный стремительным движением, не замечал, как слетала сонливость.

На паровозе все было по-другому: солнце успело обойти полнеба, люди уже устали трудиться, а ты только собираешься на работу; весь город спит, а ты один шагаешь по пустынным улицам — в наряд. В этом, конечно, была своя особая прелесть паровозной службы. Но что могло сравниться с ощущением, которое испытываешь, идя на трудовую смену в этом людском разливе, сознавая себя частицей большой, неисчислимо огромной массы людей, именуемой рабочим народом!

С переходом в слесаря было связано и еще одно отрадное обстоятельство: теперь Митя виделся с Верой каждый день.

Давно ли он по утрам торопился к школе, чтобы, издали увидев Веру, лететь на занятия, сломя голову и сгорая от смущения (ему всегда казалось, что встречные — и взрослые, и ребята — посматривают на него с понимающей улыбкой). Теперь же он каждое утро поджидал ее на углу Комсомольской, не обращая внимания на прохожих.

Она выходила из ворот и по-взрослому степенной походкой направлялась к нему. А через минуту появлялся Алеша. Вобрав голову в плечи, он шел, покачиваясь, возможно, оттого, что не совсем еще отделался от сна, а может, в силу старой «морской» привычки.

Между Алешкой утренним и Алешкой дневным была, как говорила Вера, дистанция огромного размера. В самом деле, никто не угадал бы Алешу Белоногова в молчаливом, угрюмо-вялом человеке, тащившемся утром в депо. Только спустя час или два он становился самим собой — подвижным, говорливым и веселым.

— Посмотри,— Вера глазами показала Мите на брата,— будто на каторгу плетется человек.

— Соображай,— обернулся Алеша, поняв, что речь идет о нем.— Это в советской-то стране?

— Потому-то и удивительно.

Обеспокоенная вчерашним приходом Мити и подслушанными обрывками загадочных фраз, Вера ждала сейчас возобновления разговора и насчет каторги заметила с одной лишь целью — побыстрее вывести Алешу из состояния сонного безразличия. Но маневр не удался: Алеша огрызнулся и замолчал. Молчал и Митя.

«Что же они затевают, черти? — размышляла она.— Даже если это Митя придумал, можно ли поручиться, что это хорошо. А ведь утром Алешка должен дать ответ...» То, что мальчишки не говорили при ней, еще больше встревожило Веру. Не теряя, однако, надежды выпытать все, она спросила у Мити, какое впечатление произвело на него вчерашнее собрание.

— Обидно, — задумчиво отозвался Митя после молчания.

Вера удивленно повернулась к нему:

— Вроде на твоих глазах тонут, а ты плавать умеешь и топчешься на берегу...— пояснил Митя.

— Ну и хватил! — усмехнулась она. — Положение в депо не из легких, но ко дну никто не собирается.

— Влипли по самые уши, — недовольно буркнул Алеша.

— Как вас понимать? — насторожилась Вера.

— Попали на эту несчастную колею. Будьте уверены, на широкой так не заплюхаются.

«Может, вздумали бежать на широкую?» — промелькнуло в голове у Веры. Она искоса поглядела на брата.

— Счастье, что у нашей колеи не все такие патриоты.

— Колея-то узкая,— ухмыльнулся Алеша,— но зачем так узко понимать патриотизм?

— Какое остроумие! — бросила Вера.

Митя в разговор не вступал. Это подтверждало Верину догадку. И она заговорила о том, что за последнее время много народу перешло с широкой колеи на узкую, что лишь на той неделе к ним в депо перевели двух инженеров.

— Потому что здесь они нужнее,— твердо заключила Вера и, глядя перед собой, добавила негромко, но значительно: — А кое-кто высказывался однажды, что счастье — это, когда ты очень нужен, когда ты необходим... и еще что-то в том же роде. Сейчас, по-моему, каждый может стать счастливым...

Прищурив один глаз, Алеша посмотрел на сестру, на Митю и тоненько свистнул: «Вот какие уже у вас беседы!»

Но и на этот раз Вера ничего не добилась. Митя только всполошенно взглянул на нее и сразу отвел глаза. Смешанное чувство радости — оттого, что у него была с Верой общая тайна и неловкости перед другом,— охватило Митю.

Снова наступило молчание. Мороз подгонял, до депо было уже рукой подать, и направить разговор по нужному руслу не удавалось. «Ничего,— решила Вера после раздумья,— сейчас ты раскроешься, дружок!»

— Между прочим, тебе, Митя, привет,— сказала она равнодушно.

— От кого?

— От Максима Андреевича. Вчера с Маней Урусовой о тебе говорил.

— Обо мне?

— Что же тут странного? Расспрашивал, как твои дела, есть ли успехи... А больше я передать не могу...

— Критиковал?

— Нет, не могу. Непедагогично.

— Вредная! — огорченно улыбнулся Митя.

— Ах так? Тогда рискну,— с шутливой решимостью проговорила Вера.— Он сказал: «Будет из паренька толк». Из тебя, значит. Ну, мы с Маней не стали с ним спорить. И еще сказал, что ждет тебя к себе на паровоз...

— И не ошибся старик! — выпалил Митя.— Обязательно будет толк! И на паровоз к нему ворочусь!

«Широкая колея отпадает,— отметила про себя Вера.— Что же тогда?»

Походка у Мити сделалась еще более легкой, порхающей. Вера взмахнула рукой в шерстяной, многократно штопанной варежке, сказала:

— Вот это мне нравится! Идущий — дойдет!

«Все тебе в нем нравится»,— ревниво подумал Алеша.

Так они подошли к депо. Вера повернула к конторе.

В депо горели огни. Заиндевелые стекла в больших сумеречно-синих окнах отсвечивали то изумрудным, то лунно-голубым сиянием.

Ночная смена кончилась, утренняя еще не заступила — был тот короткий особенный час, когда тишина располагается под высокими, темными от копоти сводами, и люди невольно стараются не потревожить ее громким возгласом, звуком шагов, когда, кажется, даже паровоз, только что ставший в ремонт, дышит приглушенно и робко.

— Ну, Алексей, утро наступило,— Митя хотел даже обращением подчеркнуть, что вопрос нужно решать со всей серьезностью.

— Не согласен я,— глухо отозвался Алеша, не оборачиваясь.— К людям привык...

— Знаю я, к кому ты привык.

— Скажут, летун,— пропустив Митино замечание, хмуро проговорил Алеша.

— Кто поймет — сроду так не скажет.

— Нет, не пойду я никуда и тебе не советую.

— Последнее твое слово? — спросил Митя.

— Последнее слово бывает у подсудимых...

— Дело хозяйское,— с чувством досады ответил Митя и свернул на свой участок.

МИТИН ПЛАН

Ваня Ковальчук еще издали приветливо помахал Мите рукой:

— Хай живе!

У него было широкоскулое мужественное лицо с высоким, чуть покатым лбом и твердыми губами. Но стоило ему улыбнуться, как на щеках появлялись веселые благодушные ямочки и от мужественного выражения не оставалось и следа. Никто не знал, сколько огорчений доставляли Ване эти ямочки. С его точки зрения, они являлись украшением лишь девичьих физиономий и мужчине никак не подходили. Но что делать? Разве только не улыбаться?

— Трошки не проспав,— рассказывал Ваня, запыхавшись.— Мать включила радио и в очередь подалась, а я соби дрыхну, як той барон. Вдруг чую, Катька голосит, неначе ризана: «Немцы!» Я с койки: «Где немцы?» Катька белая вся, трусится, в окно показывает. А то, понимаешь, пленных вели. «Так це,— кажу,— немцы неопасные, ручные. Бачишь, наш солдат один, а их сколько...» Насилу заспокоив дивчинку, вона ж их, проклятых, помнит, ей тогда четыре года было. Ось яки дила,— усмехнулся Ковальчук. — Не будь тех пленных, проспав бы, ей право...

— Ты знаешь,— медленно и тихо сказал Митя,— а я уходить от тебя решил...

Улыбка исчезла с Ваниного лица, оно вытянулось, будто отраженное кривым зеркалом.

— Ты шо? Вже наробился? А ну повтори, чи мени почулось?

В эту минуту Митя впервые засомневался в своем плане, впервые понял, что ему не так-то легко уйти от Ковальчука. Эти два месяца новой жизни крепко связали его с Ваней. Собственно, связь их началась еще раньше — с того дня, как Максим Андреевич привел Митю на узкую колею; там впервые повстречался он с этим приветливым симпатичным пареньком с мягким украинским говором и ямочками на щеках.

Ковальчуку первому Митя признался, что переход в слесаря считает «вынужденной посадкой».

— Так що душевной тяги до слесарного дела не замечается,— отметил тогда Ваня и задумался.— А як же, браток, без души? Який то доктор, що человека не любит? А слесарь — доктор производства. Точно тебе кажу. Притащат до нас в цех паровоз, он вже и ходить не может, а мы оглянем, послухаем, подлечим, и будь ласка — опять побежал. Медицинским докторам в одном легче: человек пожалобится, ще и покажет, где у него болит, а машина — хиба вона скаже? Сам найди хворобу та вылечи. Вот и треба знать машину назубок. Зато в другом нам легче: для наших хворых запасные части имеются...

Очень скоро Митя убедился, что погибнуть от тоски здесь не придется и — главное — что ему повезло с учителем. Старые рабочие относились к Ковальчуку как к равному, а молодежь беспрестанно бегала к нему советоваться. Иван Ковальчук, должно быть, так утвердился в звании лучшего слесаря депо, что его фамилия на Доске почета была написана масляной краской, на долгие времена. При всем этом он оставался простым, душевным парнем, и Митя почувствовал в нем не только терпеливого и щедрого учителя, но и доброго старшего товарища.

Однажды после работы Ковальчук спросил, оформил ли Митя перевод в вечернюю школу.

— Успеется,— с притворной ленцой отозвался Митя.

Ковальчук посмотрел на него долгим, неодобрительным взглядом и вдруг крепко взял под руку:

— Веди до дому, буду с твоей матерью говорить.

— Пошли.

— Бачили такого героя? — ворчал дорогой Ваня. — Ты що, пример берешь? Так у меня ж положение какое! И знай: кончится война, буду учиться.

Подойдя к своему дому, Митя признался, что пошутил, что он уже зачислен в десятый класс вечерней рабочей школы, просто захотел затащить Ваню к себе...

— Ах ты, лихоманка, обдурил меня! — смеялся Ковальчук, сильно тиская Митю.

Сам того не замечая, Митя во многом подражал Ковальчуку. Даже к паровозу он обращался словами Вани: «Не горюй, браток, зараз тебя обследуем, послухаем и вылечим, еще побегаешь...» Одного только Митя не понимал и не одобрял в Ковальчуке: Ваню совсем не манила паровозная служба: «Ночью хочу дома на койке спать, а не на колесах»,— говорил он. Однако различие увлечений не мешало их крепнущей день ото дня дружбе. Но что будет теперь, когда Митя уйдет от него?

— Куда тикаешь? — сердился Ковальчук.— Замахнувся, так бей,— и окинул Митю каким-то новым, отчужденным взглядом.— А я считав, ты разумный хлопец...

— Сразу уж и выводы,— улыбнулся Митя.— Сейчас все растолкую.

Он думал, что объяснять придется долго, а выговорился в одну минуту и растерянно, ожидающе уставился на Ковальчука: должно быть, что-то недосказал впопыхах, Ваня его не поймет и ничего не посоветует!

А план Мити заключался в следующем. Каждая слесарная бригада состоит из нескольких групп, которые ремонтируют различные узлы паровоза — арматуру, механизм движения, гарнитуру и так далее. Митя решил «пройти через все группы», то есть какое-то время поработать в каждой из них.

Ковальчук, выслушав его, сдвинул кепку на затылок и, как всегда, когда был чем-то озадачен, взъерошил свой светлый чуб.

— Ну? — торопил Митя.

— Щось кумекаю,— Ваня изумленно смотрел на него.— Значит, поработал у нас, в арматурной группе, переходишь в гарнитурную, потом в дышловую...

— Верно! — обрадованно перебил его Митя.— Скажи, так можно машину изучить, а? И отдача от меня быстрее будет, правда?

— Все як по нотам,— Ковальчук заулыбался так, что вовсю заиграли ямочки на щеках, стукнул Митю по плечу: — «Отдача», кажешь? Ах ты, хитрюща голова!

Во время работы Ваня или тихонько насвистывал — дело спорилось, или тяжело сопел, словно карабкался на гору, когда что-то не ладилось. Разговор обычно состоял из предельно коротких фраз: то ли он требовал инструмент, то ли подсказывал или делал замечание подручному.

Сегодня он без умолку свистел и часто взглядывал на Митю.

— Добре придумав, Дмитро!

А через некоторое время:

— В обед иди до Никитина. Заартачится — подмогну...

Но перед тем как пойти к мастеру, Митя решил еще раз потолковать с Алешкой.

СЕРЕГИНСКОЕ ШЕФСТВО

Когда Алеша объявил, что хочет вместе с Митей поступить на работу и перейти в вечернюю школу, Анна Герасимовна испугалась. Алеша — и работа? Ведь он с грехом пополам успевал в обычной, дневной школе, и учителя в один голос твердили: способный, но ленивый, неорганизованный. А работать и учиться — хватит ли выдержки, упорства, воли?

Но, с другой стороны, рассуждала Анна Герасимовна, у него масса энергии, которой нет настоящего применения, отсюда всякие сумасбродные идеи. Быть может, работа, ответственность, неизбежные трудности явятся для него хорошим лекарством?

Анна Герасимовна спросила, не тянется ли Алеша просто «за компанию» с Митей, и он рассердился. В конце концов, до каких пор его будут считать младенцем! У него своя голова, свои соображения.

Это правда, она все еще считает его маленьким. А сколько таких же мальчишек в эти трудные годы стали нужными работниками! Почему же она волнуется, чего испугалась? Разве труд когда-нибудь портил человека? И как успела она забыть собственную юность!

— Лешка! — воскликнула Вера. — Поздравляю тебя, чертенок! Наконец-то ты выходишь в люди! — и она звучно чмокнула его в щеку.

Алеша отшатнулся:

— Нежности телячьи!

На другой день Анна Герасимовна пришла к Мите. В руках у нее ничего не было, а похоже, словно она что-то теребила ими.

— А вы не беспокойтесь, Анна Герасимовна,— говорил Митя.— Он обязательно полюбит паровозное дело. Как можно железную дорогу не полюбить. Вот увидите, моя правда будет...

Анна Герасимовна улыбнулась, взяла его за руку:

— Прошу тебя, последи за ним. Ты сможешь, ты серьезнее, тверже... Если бы не ты, он провалил бы переэкзаменовку. Его нельзя оставлять в покое...

Митя заверил тогда Анну Герасимовну, что, независимо от ее просьбы, сделает все, что будет нужно. Но как мало он сделал!

На первых порах Алеша чувствовал себя, как говорят, не в своей тарелке, откровенно ныл. Конечно, ему трудно. Митя коечему научился у отца, а Алеша никогда обыкновенного напильника в руках не держал, не мог починить даже электрическую плитку. И Митя успокаивал, ободрял его:

— Обвыкнемся. Еще в ударники выйдем. Вот такими буквами на Доске почета выведут: «Белоногов». А то и портрет, может, вывесят...

Но, прежде чем это произошло, Митя стал замечать в своем друге удивительные перемены. Уже через месяц у Алеши появи-

лось столько знакомых, будто он по меньшей мере год проработал в депо. И почти со всеми он держался с немного разухабистой и веселой легкостью этакого рубахи-парня, о котором подобные же рубахи-парни обычно говорят: свой в доску. Глядя на него, нельзя было допустить и мысли, что все здесь для него ново и непривычно. «Знаем, видали!» — как бы говорил его независимый и непринужденный вид. Митю порой даже зависть разбирала: стоило ему засомневаться в чем-нибудь, оробеть — и сразу все на носу написано. А его, Алешку, попробуй-ка разгадай! И откуда что берется!

Возможно, если бы они работали в одной бригаде, все было бы по-другому. Но мастер Никитин направил Алешку в арматурную группу слесаря Серегина, во вторую бригаду.

Серегин был шумливый, развязно-дерзкий парень с лицом, усыпанным прыщами. В цехе его не любили за грубый, эгоистичный характер и грязный язык: говорили, что Серегин гайку не может отвернуть без брани. Но слесарь он был хороший, и Никитин для его характеристики однажды воспользовался бытующей в народе шуткой: «Умная голова дураку досталась».

Серегин нередко являлся на работу с опухшим лицом, над крохотными бесцветными его глазками нависали мешочки, казалось, набрякшие влагой. А соседи по общежитию сообщали вполголоса:

— Вчера концерт давал...

После «концертов» он был хмур, особенно бранчлив, и все, даже мастер, во избежание недоразумений предпочитали не замечать его. В такие дни Серегин доверительно жаловался Алешке хрипловатым, влажным голосом:

— Тяжело. Вчера, понимаешь, перегруз получился...

— Значит, меньше надо грузиться,— смело советовал Алешка, польщенный благосклонностью Серегина.

Серегин понимал, что нравится Алешке, и это льстило ему. Друзей у него не было. Те, кого он когда-то считал друзьями, оказались просто-напросто изменниками: на собрании, где разбирали поведение Серегина, они первыми занялись его перевоспитанием. А к ним, как водится, присоединились и другие охотники учить правильной жизни. Этот же культурный, грамотный паренек оказался вполне самостоятельным человеком; он крепко привязался к Серегину, несмотря на то, что ему, конечно, уши прожужжали, какой дрянной человек Серегин. И он дорожил Алешкиной привязанностью, не скупясь делился с ним накопленной житейской мудростью.

— Для чего рождается человек? — философски спрашивал Серегин у своего ученика.

— Человек рождается для лучшего,— отвечал Алеша запомнившейся фразой из горьковского спектакля, который он видел прошлой зимой.

— Вот именно! — радовался Серегин.— Головастый ты парень, убей меня гром! Человек рождается, чтоб жить все лучше и лучше. Вот они,— Серегин широко поводил рукой, имея, наверно, в виду цеховой народ,— они берутся учить меня, а сами ни черта не пётрят в жизни. Спроси у них, для чего, мол, работаете, и они такого туману напустят — страх! И какой-то долг приплетут, и душу, и прочую муру. И все врут ведь, собаки. Человек в свое удовольствие работает, для своей хорошей жизни. Вот, скажем, говорят Серегину: нужно еще одну смену отработать. Я смотрю так: ежели для меня, для моей жизни, это подходит, буду вкалывать две смены подряд. А ежели мне это ни к чему, к примеру, у меня какой-то свой план есть — не стану. И никакой агитацией не вытащишь меня. Зачем агитировать? Я и сам знаю, что почем. Дадена тебе норма: сделать такую-то детальку за час, так? Хочешь жить лучше, чтоб, как говорится, был сыт, пьян и нос в табаке,— сделай ты ее минуток за тридцать. Ясно? И тебе хорошо, и все кругом довольны. Вот где корень...

Несколько раз Митя видел их вместе (Алешка ходил за Серегиным по пятам) и понял происхождение некоторых новых Алешкиных манер, повадок и словечек. Алеша восхищался слесарным мастерством и физической силой своего учителя.

— Знаешь, когда Серегин с ключом орудует на паровозе, даже как-то боязно: вот, думаешь, повернется неловко и опрокинет машину...

— На это ума не требуется,— отвечал Митя.— Слон тоже что хочешь опрокинет...

— Слон! — злился Алешка.— Он не глупее нас с собой. Мыслящий парень.

— Незаметно.

Алешка нервничал, заикался:

— А т-ты его знаешь? Наслушался трепотни всякой и сам болтаешь!

— Я не виноват, что про него доброго слова не услышишь.

— Травят его, вот что! А работник он — будь здоров!

— Бедняжка! — Митя с наигранным сочувствием вскидывал глаза к небу.— Его травят! Да твой Серегин сам кого угодно затравит. А насчет того, какой он работник... Людей нехватка, а то он бы вылетел, как пробка.

Алешка рассерженно выбрасывал в стороны руки:

— Ну, ясное дело, твой Ковальчук — правильный человек! Ни рыба ни мясо...

— Слушай, а Серегин не научил тебя пить?

Несколько раз они схватывались так. Алешка за своего шефа стоял горой, и Митя начал понимать, что споры эти не только не уменьшают его привязанности к Серегину, но как бы даже укрепляют ее. Что же делать? Во всяком случае, нельзя оставлять Алешку в покое. Если бы все-таки он согласился с Митиным

планом, если бы удалось уговорить его, пришел бы конец серегинскому шефству.

Едва дождавшись гудка на обед, Митя заторопился на участок, где работал Алешка.

«ПРИЖИЛСЯ...»

Посреди пролета, возле инструментальной кладовой, стояли Алеша и слесарь Серегин. Из открытого окошка кладовой, обнесенной густой железной сеткой, выглядывала, чем-то похожая на зверушку, кладовщица Люся.

Щедро улыбаясь, Алешка и Серегин красовались перед окошком и что-то говорили, а Люся слушала их с игривым вниманием.

Серегин снял с нижней мокрой своей губы дымящийся махорочный окурок и протянул его компаньону. Когда Алешка взял двумя пальцами окурок и направил в рот, Митя даже поморщился от брезгливости.

Выпустив струю дыма, Алешка лихо сплюнул сквозь зубы. В это время Митя окликнул его. Алешка сделал движение, чтобы спрятать папироску, но, видимо, боясь уронить достоинство перед Люсей и Серегиным, раздумал. Кивнув девушке с таким выражением — дескать, бывают в жизни неприятности, он медленно отошел от окошка. Лицо его было так перепачкано мазутом, что нельзя было заметить проступивший на щеках румянец.

— Растешь! — Митя с брезгливой усмешкой глянул на окурок, источавший одуряюще острый дым.

— Знаешь, верное средство от аппетита,— торопливо стал убеждать Алешка, уводя Митю подальше от инструментальной кладовой.— Я все время голоден. Сказывается физическая нагрузка. А покурю — вроде отбивную срубал...— Он затянулся в последний раз, бросил окурок и припечатал его каблуком.— Ты хотел что-то сказать?

Митя начал рассказывать, как отнесся к его плану Ковальчук, но Алешка, нервно дернув плечом, прервал:

— Я думал, что-нибудь серьезное. Носишься со своей идеей, как с писаной торбой. Сдал бы ее лучше в бюро рационализации...

— Ты ведь не понял и заупрямился. Ты подумай...

— К-как же! — вдруг вскипел Алешка.— Ты придумал, преподобный твой Ковальчук одобрил, а я не понял. Где уж нам уж!

— Я хотел сказать — ты не разобрался толком и сразу отказываешься,— смягчился Митя.

— Не понял, не разобрался, не так сел, не так повернулся! Мне дома все это вот как осточертело! — Алешка провел по шее ребром ладони.

Некоторое время они стояли друг против друга и молчали.

Митя боялся, что Алешка уйдет сейчас,— и разговору конец.

— Ну чего ты ершишься?— тихо сказал Митя.— Подумай, если пройдем через все группы, любая работа будет нам нипочем. Дела у нас просто запоют...

— Я тебе, кажется, сказал: не интересует меня твоя академия наук.

— А что тебя интересует? — Митя едва сдерживался.

— Широкая колея. Если хочешь знать, сегодня бы туда перемахнул. Это ты мечтал, рисовал себе картины, а теперь пригрелся и все забыл, всем доволен. Мечтатель!

Митя даже отступил, словно для того, чтобы лучше разглядеть Алешку. Он пригрелся! Он забыл про широкую колею! Надо же быть круглым дураком, нисколько не разбираться в людях или на редкость черствым человеком, чтобы сказать такое!

— А мне пока и тут не узко,— очень внятно сказал Митя.— И еще скажу тебе: многие на этой колее начинали — и ничего, вышли в большие люди.

— То-то я вижу, ты всерьез лезешь в большие.

— Очень хотел бы... А ты с места боишься сдвинуться, дружка потерять боишься, этого прыщеватого.

— Глупо. Прыщи могут и у тебя завтра вскочить. А летать с места на место не вижу смысла. У арматурщиков я хорошо прижился, меня ценят, какого дьявола, спрашивается, я попрусь куда-то?

— Прижился! Ценят! — насмешливо повторил Митя.— А я думал, мы вместе... всюду вместе... Смотри, присохнешь около своего Серегина.

— Какой пророк нашелся! — Алешка с нагловатой усмешкой закинул голову.— Посмотрим. Может, кой-кому еще придется за нами вприпрыжку...

Остыв немного, Митя подумал, что разговаривал бестолково, неумело,— рассорился только, а чего добился? Верно говорится, что злость плохо дружит с умом. Над последними Алешкиными словами он посмеялся в душе, но через некоторое время обстоятельства заставили его вспомнить их.

ОЧКИ НА НОСУ

Когда Митя вернулся от Алешки, Ковальчук складывал в ящик инструменты, собираясь идти обедать.

— Чего смутный? — мельком взглянув на своего подручного, спросил он.

Митя рассказал о разговоре с Алешкой.

— Наплюй на него с высокой колокольни и говори с мастером за себя. Ветрогон твой товаришок, ось хто вин.— Ковальчук бросил зубило в ящик верстака и, понизив голос, добавил: — Только сегодня до Никитина краще не пидходь.

— Это еще почему?

— А подывысь,— и Ваня кивнул через плечо.

По пролету медленно шли Горновой и Никитин. Временами они останавливались, разговаривая, и шли дальше. Увидев мастера, Митя понял, что Ковальчук предостерегал его не напрасно: очки у Степана Васильевича были на носу.

В цехе было известно: если очки у мастера на лбу — все ладно; если же он насаживает их на нос — значит, не все благополучно на подъемке.

Начальник депо и мастер остановились в двух шагах от Мити, и он невольно услышал их разговор. Сегодня утром два слесаря пришли с повестками из военкомата и, вместо того чтобы приняться за работу, отправились получать расчет. Никитин в отчаянии разводил руками.

— Разве ты не знаешь, Степан Васильич,— невесело улыбался Горновой,— беда в одиночку никогда не ходит, она всегда является с целой свитой больших и малых неприятностей.

— Мозги сохнут, Сергей Михайлыч! — хрипловато и жалобно отвечал Никитин, показывая на паровозы, стоящие на канавах.— Что ни машина, то самый сложный ремонт. А руки-то, руки рабочие где взять?

Митя проводил их долгим взглядом. Эх, если бы можно было подойти сейчас и сказать: «Понапрасну горюете, товарищ Горновой, и вы, товарищ Никитин! Мы с Белоноговым сработаем и за себя и за тех двоих, что ушли сегодня. Такое наше обязательство. И можете не сомневаться, сработаем на совесть!» И тогда взлетят у Горнового тяжелые брови, и выпрямится Никитин, поднимет на лоб очки, и озабоченное морщинистое лицо его посветлеет...

Голос Ковальчука прервал раздумье:

— Гэй, хлопче, прикорнув, чи шо? Айда в столовку.

Они уже подходили к столовой, когда Митя замедлил шаг и стиснул Ковальчуку локоть:

— Нет, я лучше к Никитину. Пообедать успею...

— Ой, боюсь, Дмитро! — нараспев проговорил Ковальчук.— Знаешь, чем драил мастер свои окуляры? Паклей. Нехай провалюсь на этом месте! Сам бачив.

Была еще одна достоверная примета душевного беспокойства Никитина: волнуясь, он то и дело протирал стекла очков специально предназначенным для этого платком. Легко представить себе, что творилось на душе у Степана Васильевича, если он протирал стекла грубой паклей...

Но Митя в ответ на слова Ковальчука упрямо махнул рукой:

— Может, он целую неделю паклей будет тереть очки, а я сиди и жди? Что будет, то будет!

Он осторожно высвободил руку и побежал назад. Обернувшись, крикнул:

— На меня обед закажи!..

Конторка мастера представляла собой тесную, но светлую коробочку с тремя деревянными остекленными стенами; четвертая каменная стена коробочки была одновременно и стеной корпуса. Мастер сидел у стола и в угрюмой задумчивости листал замусоленные страницы технологических карт. Почти на краю стола дымилась алюминиевая кружка со слабо заваренным полусладким чаем. Время от времени Никитин, не отрываясь от карт, шарил по столу рукой, будто слепой, находил кружку, отхлебывал несколько глотков и, крякая, отставлял ее.

— Степан Васильич,— с ходу начал Митя, едва притворив за собой невысокую остекленную дверь. — Степан Васильич, можно с вами посоветоваться?

Митя понял, что мастер не только не слышал, но и не замечал его, и умолк. Нетерпеливо переступил с ноги на ногу, не зная, как привлечь к себе внимание, и, к счастью, вдруг чихнул, да так, что сам испугался.

Никитин оторвался от технологических карт, провел ладонью по лбу.

— Черепанов? — мастер взглянул на него рассеянно сквозь очки. — Неужто опять заусеницы?

В первые дни, когда Митя начинал слесарить, Ковальчук почти ничего не давал ему делать. Ремонтируя или выпиливая какую-нибудь паровозную деталь, Ваня подробно объяснял новичку назначение этой детали и поручал зачистить ее, снять заусеницы. Так прошла целая неделя. И Митя заявил Ковальчуку протест:

— Ты наверняка думаешь лет пять держать меня в учениках!

Но Ваня лишь добродушно посмеялся:

— Який швидкий. Лезешь поперед батько в пекло. На все свой час, хлопче. Поначалу треба добре знать, що к чему, а то будешь работать, як автомат, без головы и без души...

Митя пожаловался мастеру:

— Сколько же можно, Степан Васильич, на заусеницах сидеть? Одни заусеницы да заусеницы. Кто-то сделал вещь, а ты только подчищай...

Этот разговор и вспомнил сейчас Никитин.

«Смотри-ка, не забыл»,— с удовлетворением подумал Митя и еще больше осмелел.

— Нет, Степан Васильич,— сказал он, взволнованно улыбаясь.— Заусеницы я все уже снял... Я к вам по другому... Степан Васильич, что нужно, чтоб слесарем стать? Настоящим слесарем?

В усталых глазах Никитина затеплилось любопытство.

— Настоящим? — повторил он задумчиво.— Перво-наперво хотение надо иметь. А там уж зависимо, какая у человека голова, какие руки...

С надеждой посмотрев на свои руки в заживающих царапинах, в бугорках мозолей, темных и твердых, точно кедровые орешки, Митя сказал:

— Раз уж попал в слесаря, так хоть кровь из носу, а надо стать хорошим слесарем...

Едва заметная усмешка шевельнула бесцветные губы Никитина.

— Кровь-то зачем? — сказал он тихо.— Ее и так сейчас много льется. А вот попотеть да мозгами поворочать доведется...

Митя метнул на Никитина хитроватый взгляд.

— А скажите, Степан Васильич, если человек все время будет работать арматурщиком, в одной только арматурной группе, что из него получится?

— Известно, слесарь-арматурщик, специалист своего дела...

Никитин откинулся на спинку стула и со все возрастающим интересом смотрел на Митю. По всему было видно — паренек гнет какую-то линию, как будто хочет поймать его на слове, но пойди отгадай, что ему нужно, что он собирается выудить!

— Говорят, наше слесарное дело — все равно что докторское. Верно? — спросил Митя.— А какой же это доктор, если он только одно что-нибудь знает, а во всей машине ни бум-бум?

«Ишь ты, какой перец!» — с удовольствием подумал мастер и спросил:

— Что же ты предложить можешь, Черепанов?

Митя залпом выложил свой план.

На желтом лбу Никитина разгладились длинные, глубоко прорезанные складки. Он ответил не сразу. Мите показалось, что прошло минут двадцать, не меньше, а Никитин не произнес ни слова. Спокойный, даже немного медлительный характер мастера, о котором с уважением говорили в цехе, сегодня извел Митю. От волнения у него вспотели ладони, и он вытер их о брюки.

Наконец Никитин отодвинул технологические карты, кружку с остывшим чаем и поднял очки на лоб. Митя задохнулся от этого радостного предзнаменования.

— Ну-ка, присаживайся, Черепанов,— мастер блеснул сощуренными в улыбке, оживившимися глазами.— Садись, давай потолкуем...

НЕЧАЯННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Увидев, как Митя влетел в столовую — в распахнутом ватнике, с шапкой, смятой в руке, с полуоткрытым ртом и лучащимися глазами,— Ковальчук сразу все понял. Он приподнялся, замахал рукой. Митя тотчас заметил его и стал быстро пробираться между столиков.

— Порядок? — спросил Ваня, пододвигая ему стул.

— Еще какой! — часто дыша, сияя, отозвался Митя.— Мастер у нас — голова! Золотой дядька!

— Сидай, а то суп замерзает,— Ваня осторожно придвинул к нему тарелку.— Потом доложишь...

Но молчать было свыше Митиных сил.

— «Нравится мне, говорит, твоя задумка». Понимаешь? Так прямо и сказал,— быстро рассказывал он, хватая Ваню за локоть.— «Не было б, говорит, у нас запарки, надо бы завести такой порядок для всех учеников». Представляешь?

— Та вже представляю,— смеялся Ковальчук.

— «Трудненько, говорит, тебе придется,— через все группы». Ну и что ж, понимаю, что не легко, да зато больше толку будет.

— Слухай, сегодня на второе кролячее мясо с гречкой. Нажимай, хлопче!

Умолкнув на минуту, Митя поводил ложкой в жидком холодном супе, похлебал немного и отодвинул тарелку.

Обедавший за тем же столом пожилой рабочий с добрым лицом, с мясистым, усеянным капельками пота носом, насмешливо смотрел на Митю.

— А знаешь, парень, как в когдатошние времена в работники нанимали? — спросил он.

Митя бросил на него недоумевающий взгляд.

— А вот так. Хозяин испытание устраивал — давал работнику поесть: как, мол, ест человек, так он и работает...

Митя понял намек, но радостное возбуждение помешало ему обидеться. Ему было душно, он расстегнул воротник рубахи и, шумно отодвинув стул, поднялся, хлопнул Ковальчука по плечу:

— Пошел я. А кроля можешь уничтожить за мое здоровье...

Воздух был чистый, обжигающе крепкий; мороз тысячами иголочек покалывал разгоряченные щеки. Выпавший утром снег, синевато-белый, сверкающий, как нафталин, еще не припорошило копотью, и каждая снежинка, должно быть, чувствовала себя маленьким солнцем.

Зажмурясь, откинув голову, Митя глубоко вздохнул, постоял недолго и, словно очнувшись, размашисто зашагал по широкой, до блеска утоптанной тропинке к депо. В дверях он лицом к лицу столкнулся с Верой; она тихо охнула от неожиданности. Митя молчал, не сводя с нее глаз.

Вера не выдержала его взгляда и потупилась.

— Похоже, ты давно не видел меня.— Она отошла от двери, чтобы не мешать возвращавшимся с перерыва рабочим.

— Конечно, давно — с самого утра,— улыбнулся Митя, сверкнув зубами. — Только утром ты была какая-то другая. Даже не пойму, пасмурная ты, что ли?

— Станешь пасмурной, когда тебе не доверяют.

— Тебе не доверяют? — удивленно, с нотками возмущения спросил он.— Кто?

— Да те, кто разные планы придумывает и в тайне от меня держит,— обиженно и чуть насмешливо проговорила Вера, кутаясь в серую шерстяную шаль.

Он все еще не догадывался и, сведя брови, мучительно соображал. И вдруг весело рассмеялся:

— Вон ты о чем! А я считал, тебе совсем это неинтересно. Думал, посмеешься и все. Честное слово. Откуда же мне знать? Нет, слово даю, только поэтому. Хочешь, сейчас расскажу?

— Благодарю,— она с удовлетворением наблюдала его взволнованность.— Только что видела Алешку.

Митя недовольно качнул головой.

— Он, конечно, по-своему все вывернул.

— Не знаю.

— Ну, как ты считаешь, правильная затея? — Он застегивал и расстегивал железную пуговицу на ватной телогрейке.

Вера повела плечом и сказала, что если бы Митю действительно интересовало ее мнение, он мог бы спросить об этом вчера вечером, когда шли с собрания или когда он как угорелый прибегал к ним ночью.

Не в силах скрыть радость, вызванную ее упреками, Митя положил себе на грудь плохо промытые, темные от мазута руки.

— Но скажи, по-твоему, стоящее дело или нет? — просительно сказал он.

— По-моему, толково...

— Вот и мастер Никитин так считает,— перебил Митя.— А Алешка не понимает, не соглашается. «Прижился»! Тоже мне довод! А я считал, тебе это будет неинтересно. И вообще это никакая не тайна.

— И все-таки не доверил...

Он порывисто протянул было к ней руки, но снова прижал их к своей поблескивающей жирными пятнами телогрейке.

— Вера! Да что ты! Да я тебе любую тайну, самую большую... какую никому не доверю. Я...

По лицу Веры пятнами разлился румянец. Она вскинула на Митю испуганные глаза и, не вымолвив ни слова, побежала к конторе, поймав на лету сорвавшуюся с плеч серую шерстяную шаль.

А Митя, счастливый своим нечаянным признанием и тем, как она приняла его, с сильно бьющимся сердцем помчался в депо.

«ГАДЮКА»

Утром, минут за десять до гудка, Никитин привел Митю на участок гарнитурной группы и познакомил со слесарем Силкиным.

— Как говорится, просим любить и жаловать, Федор Васильич,— скупо улыбнулся мастер и поднял очки на лоб.

— Постараемся,— ответил Силкин, поворачиваясь к Мите.

На вид ему было лет двадцать пять: обращали на себя внимание его глаза — какие-то стариковски-дремучие, чересчур спокойные. Голос у него тоже был спокойный, размеренный, на одной ноте. И потому, должно быть, объяснения Силкина о назначении гарнитурной группы показались Мите скучноватыми.

Когда объяснения подходили к концу, к слесарю подошла девушка в синем комбинезоне, подпоясанном узким лаковым ремешком, и в синем, кокетливо надетом берете. Круглые, как у рыси, синие глаза ее смотрели с веселым озорством.

— Это что, Федор Васильич, к нам на укрепление прислали? — она показала на Митю гаечным ключом, который был в ее руке.

В одно мгновение Митя заметил и эти глаза, и бледный, словно из воска вылепленный лоб в мягких колечках ореховых волос, и размашистые подвижные брови, и маленький насмешливый рот. Он понимал, что надо немедленно дать отпор этой до нахальности смелой девчонке, но так и не нашелся, что сказать.

На помощь пришел Силкин.

— Ладно, Тонечка, — сказал он мягко и спокойно. — Выключи пока что свой репродуктор...

Но девушка ничуть не смутилась. Подойдя ближе, она метнула быстрый, по-прежнему озорной взгляд на Силкина, потом на Митю:

— Федор Васильич, конечно, не догадается нас познакомить. Тоня Василевская. — С этими словами она протянула Мите маленькую узкую руку.

Заливаясь жаркой краской, глядя в пол, Митя несмело пожал ее.

— В таких случаях принято называть свою фамилию и говорить: «Очень приятно!» или что-нибудь в этом роде, — не сводя с него глаз, заметила Тоня.

— Черепанов Митя, — проговорил он пропавшим голосом. — А насчет приятности... я помолчу...

— Очень хорошо! — радостно воскликнула Тоня. — По крайней мере, откровенно!

— Ну, вот что, Тоня, — сказал Силкин. — Теперь вы уже знакомы, отправляйтесь на девяносто восьмую машину. Чем яд понапрасну расходовать, помоги товарищу, пускай осваивается...

И Силкин ушел. Митя посмотрел ему вслед с видом человека, которого втолкнули в клетку с лютым зверем. Поймав этот взгляд, девушка тоненько хихикнула:

— Что ж, Черепанов Митя, возьмем инструменты и будем осваиваться, — и направилась к своему верстаку.

Походка у нее была легкая, почти невесомая. Казалось, что маленькие валенки ее совсем не касаются пола.

С некоторых пор всех девушек, которые встречались Мите в депо, в вечерней школе, на улице — где бы то ни было, — он почему-то сравнивал с Верой, и первенство неизменно оказывалось за ней. Тоня в этом отношении не составляла исключения, хотя с первого же взгляда Митя понял, что она очень красива. И злился он на девушку не только за то, что она так встретила его, но и за то, что она была красивее Веры. Он много отдал бы, чтобы обойтись без ее помощи, да что поделаешь, такая уж, наверное, нелегкая доля всех новичков!

Отомкнув и выдвинув ящик, Тоня деловито перечислила инструменты, которые Мите следует приготовить, пока она сходит в кладовую за мерительной головкой.

Он отобрал названные ею ключи, зубило, молоток. Но что такое крейцмейсель? Название это он слышал впервые. Да, не дешево придется расплачиваться за новые знания! И он не ошибся. Вернувшись, Тоня окинула быстрым взглядом инструменты, выложенные на верстаке, и брови ее взлетели:

— С тобой, оказывается, беседовать, что с глухим. А крейцмейсель? Я его называла. Внимательность — первое условие.

— Я не нашел, — схитрил Митя и подумал с неприязнью: «Профессор!»

— Значит, ты к тому же и не очень зрячий? Вот он лежит и смотрит на тебя. Как видишь, обыкновенное зубило, только узкое. Ну, пошли...

Митя постарался взять как можно больше инструментов — где ей поднести такую тяжесть. И Тоня оценила это. Но лучше бы она не смотрела на него. Почувствовав на себе ее взгляд, он тотчас выронил злостное зубило с причудливым названием.

— Местный? — спросила Тоня на ходу.

Митя не сразу понял.

— Теперь все люди делятся на местных и эвакуированных, так называемых приезжих.

— Местный я, коренной.

— Так я и думала.

Уже привыкший за считанные минуты знакомства находить в каждом ее слове острое жало, он услышал иронию и в этом замечании. Но пропустил его мимо ушей, чтобы не связываться с этой язвой.

— В слесарях давно? — поинтересовалась Тоня.

— Третий месяц пошел.

— Стаж!

Сейчас надо было сказать, что случаи, когда у человека сразу, будто по щучьему велению, образовался бы, например, десятилетний стаж, пока еще неизвестны. Но при этой девчонке он

совершенно немел. А Тоне, кажется, доставляло удовольствие его смущение, и она продолжала расспрашивать:

— Учишься?

— Учусь в десятом «Б» классе вечерней рабочей школы, под судом не был, родственников за границей нет, рабочего разряда еще не имею... — одним духом выпалил Митя и нахмурился. Скорее бы уж за дело, не станет же она и во время работы трепать языком!

— Смотри-ка! — весело удивилась Тоня. — Разряда, значит, не имеешь? Это хуже. А раньше был в дневной школе?

— Да.

— Пришлось уйти?

— Да.

— Тихие успехи и громкое поведение? Папаше надоело ходить в школу по вызовам завуча, и, посоветовавшись с мамашей, решено было приобщить сыночка к трудовой деятельности — пускай узнает, почем фунт лиха. К тому же и в армию, может, не возьмут. Верно я говорю?

Митя никогда не был любителем драк, но сейчас он пожалел, что перед ним не парень, а эта противная девчонка.

— Судя по твоему виду, я угадала, — ликовала Тоня, останавливаясь возле паровоза № 98.

— Отгадываешь здорово! — Митя чувствовал, как все в нем дрожит. — И судьбу предсказывать умеешь?

— Еще как! — Она взялась за поручни и, повиснув на вытянутых руках и запрокинув голову, лукаво блеснула синими глазами. — Не пройдет и полугода, сыночек поймет, как добывается хлеб, образумится и воспитается. А папаша и мамаша будут счастливы... — По-кошачьи ловко и быстро она поднялась на площадку паровоза и махнула рукой в большой брезентовой рукавице: — Давай сюда. Смелее!

Взяв ключ, она стала отвертывать одну гайку за другой, потом дернула к себе круглую дверцу дымовой коробки. Тяжелая дверца скрипнула в шарнирах и поддалась. На слесарей пахнуло запахом застарелой сладковатой гари и остывающего металла. В тесном цилиндрическом пространстве дымовой коробки было черным-черно от сажи.

— Не случалось еще бывать в царстве копоти? — спросила Тоня

Митя качнул головой.

— У нас, у гарнитурщиков, работа немаловажная, но самая черная.

«Есть кое-что пострашнее сажи», — пронеслось в голове у Мити.

Работая, Тоня рассуждала:

— Говорят, с дыханием непорядок. Одышка началась. Сейчас поглядим...

Митю поразило, что она, подобно Ковальчуку, говорила о машине, будто о живом существе, и, должно быть, как и Ваня, представляла себя ни кем иным, как доктором. Ему стало обидно за Ковальчука. Но пора уже вникать в дело. И, показав на черный чугунный корпус, он спросил, как называется эта штука, от которой, по словам Тони, зависит дыхание машины.

Девушка рассмеялась, запрокинув голову:

— Эта штука называется «конус». А вообще в технике нет никаких «штук»... — И тут же объяснила, что конус служит для удаления отработанного пара из цилиндров машины и газов из дымовой коробки.

— Вот посмотри: нагар на трубе лежит неровным слоем. Это значит, что конус сбился в сторону. Отсюда и одышка...

Митя надеялся, что, втянувшись в работу, она спрячет жало. Но увлеченность делом вовсе не мешала Тоне: она не оставляла ученика без своего веселого и едкого внимания.

На циферблате манометра есть красная черта, показывающая предельное давление пара в котле, превышать которое небезопасно и запрещено. Была минута, когда терпение у Мити подошло к «красной черте». Еще минута — и взрыв. Он швырнет об пол инструменты и выложит в глаза девчонке все, что думает о ней. Хватит, сыт по горло, не за тем пришел сюда. И уйдет. Но куда? К мастеру Никитину? И что скажет? «Спасите, Степан Васильич, заела девчонка!» А она... она уж посмеется вволю, от всей своей змеиной души. Посмеется? Нет, не бывать этому! Не доставит он ей такого удовольствия. Только бы поскорее кончилась эта проклятущая смена. Такого тягучего, изнурительного дня еще не было в его жизни. Не иначе, забыли дать гудок. Он не знал, бывали ли в многолетней истории депо подобные случаи, но сегодня это событие, наверное, произошло. В такие несчастливые дни все может случиться.

Наконец раздался гудок. Для Мити он прозвучал чудесной музыкой. Он вышел из депо и тяжелой походкой очень утомленного человека направился домой.

На путях его догнала Вера.

— Боже мой! — ужаснулась она. — Ты же унес всю деповскую сажу!

— Такая работа, — вяло ответил он.

— Тяжело?

— Не говори.

— Этого-то и побоялся Алешка. Хитрец!

— Ему хорошо, он не узнает и этой... — с тоской и гневом вырвалось у Мити.

— О ком ты?

— Ты ее не знаешь, наверное. Тоня Василевская такая. Работает слесарем, а сама чистая гадюка.

— Тоня Василевская — гадюка?

— Знакомая? — Митя покосился на нее с таким видом, словно не одобрял это знакомство.

— До сих пор не замечала в ней ничего такого...

— А я хорошо заметил! — Злость взбодрила его, прогнала усталость. — И язык у нее — не язык, а жало. Слова не скажет без подковырки. Вроде сама родилась с пятым разрядом...

— Видно, сильно она тебе досадила, — засмеялась Вера. — Но ты напрасно, я хорошо знаю Тоню...

Они сдружились, работая в редколлегии деповской стенгазеты «Паровозник». Василевская прекрасно рисовала. Ее карикатуры нередко получались красноречивее заметок. «Кукрыникса!» — с недовольством проворчал как-то один помощник машиниста, попавший на ее острое перо. «Талант!» — говорили о ней другие. А Тоня посмеивалась, потому что все это получалось у нее легко, а увлекалась она только техникой, интересно рассуждала о ней, была автором нескольких рационализаторских предложений.

— Я думаю, ты напрасно так о ней, — сказала Вера. — Тоня умная, хорошая девочка... и красивая.

Митя как будто всполошился, покраснел.

— Правда ведь красивая? — спросила Вера.

— А кому она нужна, ее красота?

Вера снова засмеялась.

Смущение Мити, причину которого он сам не понимал, помешало ему уловить в голосе Веры, в ее взгляде, в словах настороженный и немного тревожный интерес, скрытый за этим беспечным смехом. Впрочем, и сама Вера не смогла бы объяснить, что почувствовала в эти минуты. Сердце ее вдруг почему-то встрепенулось, будто испугалось Митиной ненависти к Тоне, и замерло, скованное неожиданным и непонятным волнением.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Лежа на животе, он поболтал ногами, и ему показалось, что под ним пропасть. И, хотя он знал, что этого не может быть, холодок пробежал по его спине.

Несколько секунд он лежал неподвижно в том же неудобном положении, потом, слегка оттолкнувшись руками, подвинулся назад и наконец почувствовал под собой почву. Он осторожно поставил сначала одну ногу, затем вторую, сжался весь и просунул туловище в овальную дыру. Видимо, он преждевременно поднял голову и тут же поплатился за свою нерасчетливость, благо еще шапка-ушанка смягчила удар.

Душный, сухой мрак плотно обступил Митю со всех сторон. Он долго стоял сгорбившись, не решаясь пошевелиться, пока не различил овальную дыру, из которой струился слабый, сумереч-

ный свет. Он уже нащупал в кармане короткий скользковатый огарок свечи, спичечный коробок, когда совсем близко раздались голоса и грохот шагов.

Потом стало тихо. И в тишине послышались какие-то свистящие неумолчные шорохи. Он понял, что это шепчутся сквознячки. Пламя свечи подтвердило его догадку: золотая капелька пламени на черном стерженьке фитиля зябко покачивалась, готовая в любой момент скатиться с огарка. Но сквознячки были очень слабы, они не могли ни задуть свечу, ни расшевелить застоявшийся горьковато-теплый и едкий воздух.

Мите представлялось, что находится он в глухой пещере, из которой и выхода другого нет, кроме этой узкой щели, или в кратере потухшего вулкана, и тяжелый воздух, который ест глаза, — это дыхание земли, проникающее сюда из невероятно далеких глубин. И хотя это была не пещера и не кратер вулкана, а всего-навсего тесная и темная с невысоким полукруглым сводом паровозная топка, или, как ее называют производственники, огневая коробка, для Мити здесь заключалось не меньше загадок и тайн, чем в любой пещере или кратере вулкана.

С горящей свечой в руке он осторожно ступал по необычному полу из чугунных балок — колосников, перемежавшихся длинными черными щелями. Он двигался вдоль теплой металлической стены, трогая пальцами ее шероховатую поверхность, нащупывая выпуклые и шершавые лепешки заклепок, обожженные сизые головки анкерных болтов и стараясь ничего не упустить из виду.

Чтобы увидеть больше, он поднимал над головой свечу, и тогда на противоположной стене появлялась большая и немного сутулая, словно прижатая невысоким сводом, тень, повторявшая все его движения.

Свет упал на стенку, похожую на пчелиные соты, всю в черных круглых отверстиях. Огневая решетка. Когда в топке бушует пламя, горячие газы устремляются в эти отверстия, проходят по трубам, дарят им свое тепло, и в котле бурлит, неистовствует вода, которой суждено стать паром. Огонек свечи имел те же повадки, что и большой огонь: оказавшись возле решетки, он заволновался сильнее и потянулся к ближайшему отверстию. Заслонив его рукой, Митя смотрел, смотрел вокруг. Лицо у него было сосредоточенное и настороженное. Такое выражение, наверное, бывает у людей, перед которыми открываются интереснейшие тайны. Как похоже и как непохоже все это на то, что было в книге!

«Ничего, Тонечка Василевская, — думал он, — скоро вам не придется похваляться своей ученостью. Конечно, можно было с первого дня отбить охоту прокатываться на мой счет, но мы другим путем доконаем вашу просвещенную милость. Правда, вы и так уже что-то посмирнели: то ли весь яд на меня извели,

то ли жало об мою кожу затупили. А скоро-скоро вовсе заскучаете...»

Вверху раздался стук. Кто-то поднялся на паровоз, крикнул:

— Девушка! А, девушка! Будьте любезны, отцепите шнур. Вон, за домкратом. Благодарю...

По железному полу паровозной будки загремели шаги. Митя задул свечу и прижался к стене.

Вдруг в топке вспыхнул ослепительный свет. Электрическая лампочка в проволочной сетке, напоминающей намордник, спустилась в топку и повисла на черном резиновом шланге. Следом за лампочкой в овальной дыре показался сначала один, затем другой сапог с черными вафельными подошвами. Кряхтя и приговаривая что-то, в топку лез человек. Он с трудом просовывал свое туловище; грубый, как у пожарников, брезентовый комбинезон шумел, точно жестяной.

Человек чертыхнулся и, сделав последнее усилие, спустился в топку. Он поправил сбитую на затылок шапку, поднял лампу и осмотрелся.

— Кто здесь? — чересчур громко спросил человек.

— Я, — неуверенно сказал Митя, ожидая выговора за самовольные действия.

— Это еще ничего мне не говорит, — строго и вместе с тем насмешливо проговорил человек.

Он поднял лампу так, что сетка-намордник стукнулась о потолок, и увидел перед собой длинного, плечистого паренька в ватной телогрейке и сапогах. Ему показалось на миг, что он уже когда-то видел это юношески худощавое смуглое лицо с крутым лбом, черными бровями, сросшимися на переносье, и темным пушком над верхней губой. Но, удивленный неожиданной встречей, он не стал рыться в памяти.

— Позвольте узнать, молодой человек, чем вы занимаетесь здесь?

— Учусь.

— Забавно. Чему же вы учитесь в топке?

Митя узнал человека и, понимая, что ему ничего не грозит, успокоился.

— Паровоз лучше всего изучать на паровозе.

— Вот как! — Человек пристально разглядывал Митю. — Очень желал бы знать, с кем имею удовольствие беседовать.

— Удовольствие-то, видать, небольшое, товарищ инженер, — усмехнулся Митя. — На слесаря я учусь...

— Стало быть, моя личность вам знакома?

— А как же, товарищ Пчелкин. Еще с прошлого года.

— Вы меня окончательно заинтриговали, молодой человек.

— На экскурсии я был. Да и отец про вас рассказывал...

Митя уже привык к яркому свету и мог хорошо рассмотреть своего собеседника. Выражение пристального и немного недо-

верчивого внимания сменилось радостным удивлением на длинном, с резкими чертами лице инженера.

— «Разрезанная курица»? Да? Как же, помню. Черепанова сын? — и Пчелкин обнял Митю, легонько стукнув его лампой по лопатке.

— Одного только я не пойму, — сказал Митя, — вы ведь были на широкой колее?

— Совершенно справедливо. А теперь, как видишь, на узкой. Второй месяц, как переведен сюда.

— И что, интересно вам? — живо спросил Митя.

— Здесь труднее, значит интереснее. Если не можешь быть на передовой позиции, нужно хотя бы туда, где потрудней. Согласен? Поэтому я не возражал. Стало быть, экскурсия не прошла бесследно? Рад, весьма рад. Ну, знаешь, напугал ты меня: сколько ни лазил в топки, никогда никого не встречал... Позволь, а школу ты разве уже кончил?

Митя сказал.

— Что ж, вполне разумно. По отцовской дорожке, значит? Так, так. Приятно. Тимофей Иванович, помню, мечтал об этом. Очень похвально. А мы с твоим батькой не только работали вместе, но и дружили. Да-а. И надо было ему на тот бронепоезд...

— Он тоже старался туда, где потрудней...

Инженер посмотрел на него открытым взглядом.

— Верно. Он был именно такой. Послушай, Черепанов, а ты заметил, что смена уже кончилась?

— Заметил, Георгий Сергеич. Я ее отработал. А тут я... как бы сказать... сверхурочно.

— У тебя отличная память. Все-таки я еще не уяснил, какую задачу ты здесь поставил перед собой.

Митя объяснил, что в дни, свободные от школы, он «ввел» самостоятельные занятия на паровозе, которые должны ускорить его обучение.

— Толково. Весьма толково, — одобрил Пчелкин. — Нравится слесарить?

— На паровоз поскорей бы, — признался Митя, пряча в карман огарок.

Инженер развел руками, длинные тени метнулись по стенам.

— Что ж, взгляд не очень оригинальный. Знавал я одного субъекта — между прочим, работать начинал в твои годы, — ни за что в слесаря не хотел, хоть режь его. Подавай ему сразу паровоз и непременно самой последней конструкции. И, представь себе, устроился каким-то хитрым образом. Но что бы ты думал, случилось дальше? А то, что должно было случиться. Не учел наш субъект, что чудес не бывает, и провалился. Еще с каким треском провалился!

Митя беспокойно взглянул на Пчелкина, но опасения его не

подтвердились — инженер явно не знал о потопе. Тогда у него возникла догадка: субъект, о котором рассказывал Пчелкин, не кто иной, как он сам.

— Так вы тоже проваливались? — с радостным простодушием воскликнул Митя.

Пчелкин так рассмеялся, что металлическая коробка топки загудела.

— Странное заключение! Впрочем, это неважно. А кто, позволь узнать, проваливался помимо моего знакомого?

— С одним товарищем моим было, — Митя поспешно отвел в сторону глаза.

— Ну и как он? Сделал выводы? Уразумел что-нибудь?

— Как будто уразумел, — хитровато сощурился Митя и спросил, как дальше сложилась судьба того субъекта.

— А дальше все пошло нормально. Послесарил, потом кочегаром ездил, помощником, права управления получил, стал командиром паровоза — машинистом...

— Теперь уж он, наверное, инженер?

— Ты угадал, — немного приподнято отозвался Пчелкин, пряча улыбку. — Должен тебе сказать, Черепанов, это путешествие в топку придумано замечательно. Книги книгами, но необходимо подышать этим воздухом, — он поднял голову и, смешно поморщившись, звучно потянул носом, — необходимо увидеть все своими глазами, пощупать пальцами, — он протянул руку и, точно слепой, потрогал стенку топки. — Горе тому инженеру, который не умеет управлять паровозом за машиниста, топить за помощника, отремонтировать любую паровозную деталь за слесаря. Рабочие люди в момент раскусят такого специалиста в кавычках и попросту засмеют... — Пчелкин на секунду умолк и тут же всполошился: — Ты не находишь, что мы с тобой заболтались? А ну-ка, держи чертеж, — и достал из огромного накладного кармана сложенный прямоугольником синий лист бумаги, весь в белом кружеве линий.

Митя вытер пальцы ветошью, взял чертеж. Инженер вытащил из кармана блокнот в мягкой обтрепанной по краям обложке и, подняв карандаш, продолжал своим басовитым голосом:

— Итак, мы в топке. Образно говоря, это сердце паровоза. Здесь, в бушующем пламени, рождается сила машины. Давай же, милый друг, выясним, в каком состоянии это сердце. Нуждается ли оно в лечении и в каком? Первым долгом осмотрим пробки. Кстати, где они?.. Совершенно справедливо. Поглядим, нет ли следов течи... Нет. А под головками анкерных болтов? Здесь явное неблагополучие. Видишь это светлое пятно? Течь. Весьма серьезное заболевание... — он записал что-то в блокнот. — Двинемся дальше...

Под сводами депо зажглись яркие лампы, когда они выбрались на волю. У Мити слегка кружилась голова, должно быть,

он угорел. Спрыгнув с последней ступеньки паровоза, Пчелкин отряхнулся и на свету снова оглядел Митю. «Парень хорошо, добротно скроен, даже здесь, на просторе, он не кажется меньше, чем там, в тесной коробке. А взгляд в точности черепановский», — с удовлетворением отметил инженер и спросил:

— Путешествием доволен?

— Большое спасибо, Георгий Сергеич.

— В паровозном котле не бывал? — Пчелкин заговорщически наклонился к нему. — Заходи на этих днях, отправимся в котел. И вообще заходи, не стесняйся...

Выяснилось, что им по пути, и Митя подождал, пока Пчелкин переодевался.

Вокруг фонарей кружились большие снежинки, похожие на ночных бабочек. Морозно поскрипывал под ногами снег.

Митя шел, забыв застегнуть ватник.

Когда поднялись на улицу Красных зорь, Пчелкин вдруг остановился. Митя подумал было, что инженера утомила гора, но Пчелкин, задумчиво глядя в даль улицы, показал рукой на березы, белыми свечами торчавшие из сугробов.

— Историю этих березок знаешь?

Митя отрицательно качнул головой.

Деревья были по-зимнему легкие, прозрачные. На ближней березе темнело несколько неопавших листьев, и в сумерках казалось, что это птицы, нахохлившись, задремали на ветвях.

— Постой, постой, сколько же это? — вслух вспоминал Пчелкин. — Да, четырнадцать лет, как один денек. Четырнадцать лет назад, друг мой, в один из очередных рейсов приехали мы с Тимофеем Ивановичем в Косачи. По графику с обратным маршрутом надо было выходить через пять часов. Тимофей Иванович отдохнул немного, потом достал где-то две садовые лопаты и говорит мне: «На экскурсию поедешь, товарищ помощник?» Я согласился, хотя ничего еще не понимал. На попутном паровозе отъехали четыре перегона от Косачей, Тимофей Иванович поблагодарил машиниста — и в лес. Подвел меня к молодой березке, вручил лопату: «Выкапывай. Да осторожненько, чтоб корней не поранить...» А в Горноуральск черепановский паровоз пришел с небывалым грузом: на тендере лежали березки, бережно закутанные в мешковину — «чтоб не продуло». Вдвоем перенесли мы деревья сюда, в поселок, он тогда еще только строился, и Тимофей Иванович роздал их соседям — высаживайте! Вот такие были, в человеческий рост, а сейчас... Да, милый друг, время не стоит... — и, словно вспомнив о времени, Пчелкин заторопился, протянул Мите руку: — Ну, мне сюда, на Комсомольскую. Желаю успехов. Заходи обязательно...

Митя не сразу двинулся с места. Долго, с нежностью смотрел на березки, выстроившиеся по обеим сторонам улицы, удивляясь, что раньше не замечал, как они красивы.

На крылечке его встретила мать:

— Долго ты как! Школы ведь нет сегодня...

— Важное дело было, маманя, — бодро ответил он, заходя в дом.

Марья Николаевна внимательно посмотрела на сына и поняла, что он устал, но что «важные» дела его в полном порядке.

НЕПОНЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Стоя перед осколком зеркальца, прикрепленным к дверце шкафа, Тоня Василевская укладывала волосы. Она являлась в депо в белой пуховой шали, а здесь надевала берет, в связи с чем приходилось вносить в прическу кое-какие поправки. Надо было так уложить волосы, чтобы они достаточно виднелись из-под щегольски надетого берета и в то же время не мешали работать. И Тоня осуществляла это со всей серьезностью и старательностью, как делала все, за что принималась.

Когда операция близилась к успешному завершению, Тоня заметила в зеркальце Митю. Он быстро шел по пролету, но, увидев ее, как будто замедлил шаг. Не спеша закончив прическу и в это время услышав за спиной его шаги, Тоня прикрыла дверцу шкафа.

— Привет! — она обернулась, отнимая от волос маленькие, порозовевшие от холода руки.

Митя ответил, достал из газетного свертка с учебниками «Астрономию» и уселся на верстаке. Вчера вечером учил тригонометрию, решал шахматные задачи, а на астрономию времени не хватило.

— Рано ты сегодня, — сказала Тоня. — По случаю знаменательной даты, наверно?

Он пожал недоуменно плечами.

— Ай-яй-яй, забыл? — почти пропела она, подходя ближе и поправляя узенький лаковый поясок, перехватывавший в талии синий комбинезон. — Сегодня ровно месяц, как ты в нашей группе...

«Я и забыл...» Митя вскинул на нее заблестевшие глаза. Однако тотчас опустил их, проговорил спокойно:

— Месяц? А мне показалось — уже целый год...

— Не нравится гарнитурное дело?

— Работа как работа, — уклончиво ответил он и раскрыл учебник.

Тоня облокотилась на тиски, заглянула в книгу.

— «Методы изучения Вселенной», — прочитала вслух. — Серьезный вопрос. Но ведь это не очень вежливо — читать, когда с тобой разговаривают. Или у вас этого еще не проходили?

Он чувствовал, что Тоня настойчиво смотрит на него, и не отрывался от книги:

— У нас все проходили, что полагается. Только есть люди — еще и не так невежливо поступают...

— Это что, намек?

— Нет, просто к слову...

Более неподходящие условия для изучения Вселенной трудно было придумать.

Несколько минут прошло в молчании. Тоня усмехнулась:

— Это называется — давай поговорим. Я помолчу, а ты послушай...

Митя насупился, не ответил.

— А я вот возьму и не дам тебе учить! — она шутливо и решительно притопнула ногой. — Ну, что ты сделаешь?

— Что я могу сделать? Схвачу двойку, только и всего.

— Тогда я ухожу, — Тоня взглянула на него с надеждой, но Митя не сделал ни малейшей попытки удержать ее, и она пошла по пролету медленной, скучающей походкой.

Он вздохнул облегченно и поймал себя на том, что кривит душой: ему стало досадно оттого, что Тоня ушла. Нет, он не понимал этой девчонки.

Ему никогда не случалось видеть, чтобы люди так менялись за короткое время. Тоню будто подменили. Работая, Митя постоянно чувствовал, что она следит за ним. Но это было уже не то едкое внимание, каким она наделяла его на первых порах, а доброе, и временами чудилось — даже заискивающее внимание.

«Это грубый напильник, им только испортишь. Вот этот возьми», — говорила она осторожно, словно боясь обидеть его. Както раз напустилась на Силкина: «Зачем же вы, Федор Васильевич, дали Черепанову работу пятого разряда? Чтоб засыпался человек?» Но Митя сказал, что на мелком месте плавать не научишься, и она посмотрела на него с уважением.

Всякий раз, встречаясь с ее взглядом, он почему-то стал испытывать безотчетное, непонятное беспокойство. По-рысьи круглые синие глаза будто притягивали. В первые дни он побаивался и презирал Тоню. Теперь он боялся не языка ее, а перемен, происшедших в девушке, боялся той силы, которая неодолимо тянула к ней. Эта боязнь придавала ему смелости, и он, еще недавно молча сносивший все ее жалящие насмешки, начал отвечать колкостями.

И тут же об этом жалел.

Когда Тоня отошла от верстака, Митя решил, что это очень хорошо, что больше он не станет думать о ней. Но, невольно оторвавшись от книги, он исподлобья проводил глазами маленькую тонкую фигурку, и размышления о Тоне вытеснили мысли о Вселенной и о методах ее изучения...

Весь день они были вместе. Работать с ней было весело, ин-

тересно. Митя с завистливым вниманием отмечал про себя, как умело и ловко получалось у нее все. Слабосильные с виду, почти детские руки Тони на удивление легко и мастерски справлялись с трудной и грубой слесарной работой.

Они стояли на котле друг против друга, согнувшись над крышкой песочницы, которую прикрепляли к корпусу. Митя не поспевал за Тоней, злился. Временами настороженно взглядывал на нее — девушка тотчас отворачивалась. Конечно, от нее ничего не упрячешь. Но почему же она молчит? Жалеет его, что ли? И он злился еще больше.

Перед концом смены на площадку паровоза поднялся Силкин. В дремучих глазах его мелькало беспокойство.

Силкин сказал, что в депо пришел паровоз с неисправностями по «гарнитурной части» и что ремонт необходимо сделать за четыре-пять часов, так как ночью паровоз должен отправляться в рейс. Но он опасался, что без подмоги вторая смена не справится.

— Вы хотите сказать, Федор Васильевич, что вся надежда на нас? — игриво спросила Тоня.

На мгновение глаза Силкина осветились улыбкой.

— Одно удовольствие беседовать с догадливыми людьми!

— Что ж, нам не привыкать. — Тоня самоуверенно повела плечом, вспомнила: — Только вот у Черепанова сегодня занятия...

Митю передернуло: опять жало! Ведь если речь идет о помощи, то каждому понятно, что в первую очередь нуждается в ней сам Черепанов.

— Что скажешь, Черепанов? — спросил Силкин, потирая черный нос. — Пропуск нельзя сделать?

«Неужто и Силкин гнет ее линию?» — тревожно пронеслось в Митиной голове, охваченной внезапным жаром.

— Прогула не будет, мы справку для школы выпишем, так, мол, и так. Причина-то вполне уважительная, — продолжал слесарь своим негромким, размеренно-спокойным голосом.

— Как не стыдно! — Тоня рассерженно стукнула гаечным ключом по крышке песочницы, впилась в Митю своими рысьими глазами. — Подумаешь, четыре урока пропустить? Проблема! Днем позже станешь профессором!

Не сводя с Силкина все еще недоверчивого взгляда, Митя соскользнул с котла, оглушительно загремев каблуками сапог о железную площадку.

— Так вы, Федор Васильевич, вы это всерьез? А я... Вы не подумайте... Какой может быть разговор!

— Вот и договорились.

Силкин объяснил, где стоит паровоз, и ушел.

Тоня миролюбиво усмехнулась:

— Зря торопился утром постигнуть Вселенную...

— Все равно ничего не постиг, — неожиданно признался Митя.

— Во всяком случае, моей вины в этом нет...

«Как раз!» — подумал он.

Паровоз, приглушенно дыша, стоял в конце третьего пролета. Над его трубой нависал черный железный зонт, и все-таки сернистый дымок плавал в воздухе.

Митя ликовал. Силкин попросил его остаться! Был ли бы смысл оставлять бесполезного человека? Глупости! Его попросили остаться потому, что он — работник, нужный человек!

Из конторы мастера вышел Алеша и развалистой походкой направился к воротам. Увидев Митю, остановился.

— В школу не собираешься?

— Меня оставили на вторую смену. Понимаешь, срочный ремонт. — Митя пожалел, что рядом Тоня и нельзя объяснить всю важность этого факта.

— Понимаю... — процедил Алеша, бросил веселый взгляд на Тоню и, чуть прикрыв один глаз, многозначительно кивнул головой.

Митя хотел еще что-то сказать, но после этой знакомой улыбочки только махнул рукой.

— Как он не похож на свою сестру! — презрительно сощурилась Тоня.

Они поднялись на передний мостик паровоза, положили инструменты, и Тоня заметила с улыбкой, что, видимо, по случаю юбилейной даты работа сегодня выпала та же самая, что и в тот день, когда Митя пришел в их группу.

— Помнишь? — спросила она и, увидев, что Митя собирается отвертывать центральный штурвал дверки, встревоженно схватила его за руку: — Ты что? Ты же на горячем паровозе! Где рукавицы?

Рукавицы остались в шкафчике, он совсем забыл о них на радостях.

— Определенно будешь профессором. По рассеянности уже в кандидаты наук годишься, — Тоня протянула ему свои брезентовые, блестящие от мазута рукавицы и, прежде чем он успел поблагодарить, спустилась с площадки и скрылась за паровозом.

Медленно засовывая руки в большие, твердые рукавицы, Митя удивленно поднял плечи. Что же все-таки с ней происходит? Может быть, Силкин дал взбучку? Может, просто совесть заговорила? Но как бы то ни было, за рукавицами он должен был сам сбегать. Нехорошо!

— Чего же ты побежала, я бы сам... — сказал он, когда Тоня вернулась.

— Жди, когда ты догадаешься! — засмеялась она и принялась за работу.

Отворив круглую горячую дверку, Митя зажмурился и отступил: дымовая коробка дохнула в лицо сухим нестерпимым жаром.

— Ужасно надоела копоть! — закашлялась Тоня. — Все это несгоревшее топливо. Пролетело сквозь трубы, не успело отдать свое тепло и теперь только мешает. А с людьми разве так не бывает? И оттого, что пропало столько тепла, коэффициент полезного действия машины очень низкий. У людей, я считаю, тоже есть свой коэффициент. Хорошо звучит, правда: коэффициент полезного действия! Ох, как хочется действовать так, чтоб копоти поменьше, а пользы было побольше!.. Фу ты, настоящий ад! Ну, будем действовать.

С нескрываемым удивлением Митя смотрел на нее. То, о чем он много и часто думал последнее время, она выразила так метко и просто, как он никогда бы, наверное, не смог. Вот и отгадай, что творится под этими вздорными, старательно уложенными ореховыми колечками!

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Она любила дяди Борин «холостяцкий рай» — большую комнату, в которой зимой и летом было прохладно и во все времена года одинаково неуютно.

Старинный письменный стол, дубовый, массивный, на толстых точеных ножках, с синим, изрядно выгоревшим сукном, громоздился почти посреди комнаты; казалось, его только что передвигали и не успели поставить на место. Несколько стульев с высокими спинками и кожаными сиденьями разбрелись как попало. Обеденного стола не было: большую часть жизни хозяин проводил в походах, а когда бывал дома, питался, как он говорил, «общественным порядком». Отсутствовала и кровать. В промежутки между экспедициями он спал на кожаном диване, укрываясь пледом, — все-таки не разнежишься, как в мягкой постели.

Две стены от пола до потолка были заставлены стеллажами с книгами. Второе после книг место в комнате занимали камни и образцы всевозможных руд; они лежали на столе, на выступе голландской печи, на бамбуковой этажерке, в специальных деревянных ящиках с квадратными ячейками и невысокими бортами.

Когда Вера была еще маленькой и являлась сюда с родителями, Борис Семенович становился невнимательным, рассеянным. Девочка забиралась на стол, доставала пестрые камни, а он убирал книги, деловые бумаги, и пока она гостила, находился в напряжении.

Теперь было совсем другое. Он видел, с каким уважением относилась она к порядку в его комнате, который люди посторонние принимали за невероятный беспорядок, с каким благо-

говением прикасалась к камням. И, глядя на Веру, думал с гордостью: «Родители дали тебе, девочка, много — жизнь. Ну, а дядька — всего-навсего любовь к камню, к замечательной науке — геологии. Как говорится, чем богаты... Но так ли уж это мало?»

Всякий раз, навещая дядьку, Вера убирала в его «раю». Борис Семенович неизменно возражал: «Лучше посидим, племянница, покалякаем». «А мы и так покалякаем», — отвечала Вера. Уборка доставляла ей истинное удовольствие: она получала возможность еще и еще раз подержать в руках камни, эти дивные творения природы, вдоволь, сколько душе угодно, любоваться ими. Вот обломок орлеца, густо-розового, в черных прожилках, словно обуглившаяся ветка дерева, объятая пламенем. Вера прикоснулась к камню влажной тряпкой — пламя будто вспыхнуло, и беспокойные отсветы, казалось, упали на другой камень — лазурит, похожий на чистое ночное небо; оно глубоко и безмятежно, только где-то в далекой вышине мерцают серебристые созвездия. А рядом взметнулась малахитовая волна, высокая, крутая, гривастая. И чудилось, сейчас грохнет глухой удар прибоя, холодными зеленоватыми искрами разлетятся во все стороны брызги и потом в тишине послышатся влажный шелест отлива, потрескивание пены...

Очень нравился Вере кусок яшмы, лежавший рядом с настольной лампой. Умелые руки камнереза нашли счастливое сечение: посреди светло-зеленого безбрежного простора моря, щедро залитого солнцем, в дали, слегка подернутой прозрачным туманом, колышется на волнах белый крохотный треугольничек паруса. Бесконечный простор, весь в солнечной ряби, туманная даль и одинокий парус — все напоминало Вере лермонтовские стихи, и она всегда подолгу вглядывалась в этот сотворенный природой и искусной рукой мастера каменный рисунок. Потом она брала так называемый «письменный гранит» — желтовато-розовый камень, усеянный загадочной вязью «иероглифов». И хотя она знала, что «иероглифы» эти — говоря языком науки — не что иное, как включения кварца, постоянно задумывалась: «А что, если тут написано что-то очень, очень интересное, и никто не сможет прочитать?»

Смахивая пыль с больших дымчатых кристаллов горного хрусталя, Вера почему-то вспомнила уральскую народную песню, которую слышала от дяди Бориса:

Камни, камни-самоцветики,
Уросливы, привередливы,
Не ко всем идете в рученьки,
Обойдете бесталанного,
Обойдете несчастливого...

Дядя Борис утверждает, что у матушки-землицы припрятано еще немало чудесных богатых кладов и что геологам предстоит

их открыть. Но сможет ли Вера? Не обойдет ли ее уросливый, привередливый камень?

Задумавшись, она уронила толстую книгу. Книга упала на пол, раскрылась, из нее выпало несколько страниц.

По-детски испуганно и виновато взглянув на дядю, Вера присела на корточки, подняла с пола сплошь усеянные таблицами и формулами, слегка поблекшие страницы. Между ними лежала ветка какого-то растения. Когда Вера взяла ее, ветка зашуршала, словно жестяная. И в самом деле, было похоже, что длинный узловатый стебель и продолговатые линяло-зеленые листья и бурые соцветия,— все мастерски сделано чьими-то руками. Между тем, Вере показалось, что она услышала, словно дошедший издалека, неясный и тонкий запах этих цветов.

Борис Семенович, легко опершись на Верино плечо, наклонился, проговорил своим слегка задыхающимся голосом:

— Кто скажет, что они были очень красивыми и пахучими, эти маленькие цветы?

В первую минуту Вера испытала неловкость, словно вторглась в чужую тайну. Но потом ей сделалось смешно: подумать только, «холостяк по убеждению», сам засушенный, как эта ветка, прятал на память цветы! Смотри-ка, у него даже морщины разгладились...

Вера подняла на него лукаво сощуренные глаза:

— Как это у Пушкина, помните?

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей,
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас...

— Наверно, приятное воспоминание?

— Чрезвычайно. — Борис Семенович с удивленным вниманием посмотрел на нее. — Теперь вижу, как ты выросла, племянничка... С этим цветком связана очень приятная память. Но совсем не та, что ты подумала, зеленоглазая чертовка. Растение это — жимолость — мой соавтор. Да, да. Удивлена? Так тебе и надо. Чтоб не приписывала дядьке чего не следует...

— Считайте, дядя Боря, что я уже наказана.

— Да, мой соавтор. Слыхала — Красноисточинское золотое месторождение под Горноуральском? Ну, вот. Открыли мы его в двадцать восьмом. И немалую услугу оказала нам... кто бы ты думала? Эта самая жимолость... Так-то, дорогая. Если ты вносишь листок жимолости в пламя горелки и в спектре появляются черные линии, знай: тут залегает золото. Ты, конечно, видала пышную гортензию? Может, любовалась ее нежно-розовыми цветами? Но если увидишь гортензию с голубыми лепестками, смело можешь сказать: в земле есть железо. Даже к простой полыни присматривайся: на железоносной почве она из серебристой становится желтой...

Свой рассказ о цветах — помощниках геологов — Борис Семенович закончил старой легендой об алом цветке папоротника, который цветет лишь одну ночь; легенда гласит, что только счастливцам, сумевшим найти этот цветок, раскроются все клады земли.

— Но ты не беспокойся, дорогая, — сказал Борис Семенович с сухим астматическим придыханием, — и не думай, что без цветов мы бессильны. Тебе не понадобится искать цветок папоротника: ты и так будешь счастливой. Когда тебе придется отправляться на поиски, будут уже такие приборы и аппараты, каких сейчас и в мечтах не увидишь...

Поздним вечером ушла Вера от дяди Бориса. На душе было хорошо: она помогла «закоренелому бобылю» скоротать одинокий вечер, а главное — вволю наговорилась и наслушалась о самом заветном...

Улица, слабо освещенная голубоватым морозным светом месяца, была почти пустынна. Не замечая холода, Вера шла медленно, глядя на освещенные окна домов, на редких прохожих, на неподвижные деревья, причудливо обросшие пухлым синеватым куржаком. Она все еще думала о своем, и ей чудилось, будто вдыхает легкий воздух горных просторов Урала, будто услышала терпкий дымок походного костра и пьянящий запах полевых цветов...

Из-за поворота долетел приглушенный звонок, показались желтые огни трамвая, а на противоположном тротуаре неторопливо вышагивала парочка, и снег скрипел на всю улицу. Вера взглянула в ту сторону и остановилась. Девушку она не видела, но парень... Как он похож!.. Рост, фигура, походка...

Вера хотела побежать, да ноги словно примерзли. В висках почему-то сильно застучало. Она смотрела, смотрела с таким напряжением, что глаза стали слезиться. Наконец двинулась с места, но на середине улицы пришлось остановиться: трамвай промчался, обдав ее грохотом, светом и холодной снежной пыльцой.

А когда она перешла на другую сторону, парочки уже не было, наверное, свернула за угол. Вера постояла несколько минут и пошла дальше. Мороз как будто сильнее стал жечь лицо. Она подняла воротник. Тонкий беличий мех быстро заиндевел и холодил ей подбородок и шею.

Как похож! Но нет же, нет, этого не может быть, ей показалось, померещилось. О чем думает человек, то ему и мерещится во сне и даже наяву...

Алеши дома не было. Значит, и Митя еще в школе, а она уж разрисовала... Но если это был он? Если он пропустил занятия? И что же? Почему она думает об этом? Пускай беспокоится классный руководитель. Какое дело ей, когда и с кем он разгуливает? Никакого. Ей это совершенно безразлично.

— Я хотела летать. Летать, как моя землячка, харьковчанка Валентина Гризодубова, как Марина Раскова и Полина Осипенко. Каждую ночь мне снилось одно и то же — я лечу. Видела себя в кабине самолета, в шлеме, в унтах. Каждый прибор на доске видела. И заканчивался сон одним и тем же: самолет терял управление и камнем шел к земле. Я просыпалась, сердце колотилось ужасно, будто и в самом деле падала...

Тоня замолчала, и Митя почему-то не решался нарушить молчание, хотя ему хотелось узнать о ее жизни.

Из депо они вышли около десяти вечера. Тоня спросила, где он живет, и, когда Митя ответил, огорчилась:

— А мне в другую сторону. Наше общежитие напротив кладбища.

Он подумал, что девушке, наверное, боязно идти одной по глухим улочкам, и не посмел оставить ее.

На улицах было малолюдно. Светлый дым над домами поднимался высокими столбами — к морозу. В чистом небе стоял месяц; Митя подумал, что он похож на медный начищенный рожок стрелочника.

Тоня, видимо, была рада провожатому и почти не замолкала, как будто не заботясь, слушает он ее или нет. Но Митя не пропускал ни слова.

— И кончилось все, как кончались мои сны, крахом,— задумчиво продолжала Тоня, глядя перед собой. — Летать, как видишь, не пришлось. А мечты мои вылетели в трубу. Не очень длинная и совсем невеселая история...

В августе сорок первого Харьковский паровозостроительный завод эвакуировался на восток. С Балашовского вокзала один за другим уходили эшелоны. На платформах громоздились станки и всевозможные машины, перекрытые брезентом, замаскированные тополевыми ветками. А теплушки были до отказа набиты людьми. В одном из таких вагонов ехал инженер Василевский с женой и шестнадцатилетней дочерью.

На третью ночь эшелон остановился на каком-то разъезде, под темным рокочущим небом. И сразу же из тьмы раздался многократно повторявшийся за дорогу всполошенный крик: «Воздух!»

Торопя и толкая друг друга, люди ринулись к широкому синему проему двери. Кто-то, гремя железом, прилаживал короткую висячую лесенку. Но люди, не дожидаясь, прыгали в темноту, полную удручающего, заунывного, словно задыхающегося рева немецких самолетов. Плакали дети.

Все трое суток Тоня просидела на чемодане — нары уступили старикам и женщинам с маленькими детьми — и так измучилась, что желание уснуть пересилило страх. Она не побежала вместе

со всеми, а забралась в потемках на чужую постель и с наслаждением вытянула затекшие ноги. Уже сквозь сон услышала она чей-то голос, звавший ее, но не смогла даже пошевелить губами в ответ.

А люди бежали из вагонов к невысокой рощице, что чернела метрах в ста от полотна. Вдруг стало до ужаса светло: в черном, грозно ворчавшем небе вспыхнули голубоватые ослепительные «люстры» — ракеты.

Тонина мать, маленькая, подвижная женщина, бросалась к каждому человеку, выпрыгивавшему из вагона, и, заломив руки, не переставала звать дочь. Когда же вагон опустел, она решила, что Тоня уже пробежала, и кинулась догонять мужа.

Он приостановился, ожидая ее; в мертвенно-холодном и слепящем свете «люстр» блеснули стекла его пенсне. В это мгновение всепоглощающий, сверлящий не только воздух, но и душу, вой бомбы заставил Тонину мать застыть на месте, присесть, обхватить голову руками. Потом — отчаянной силы толчок, словно из-под земли, солнечная вспышка, видимая даже сквозь прикрытые веки, и душная горячая волна, которая опрокинула ее и понесла куда-то во тьму.

Инженера Василевского так и не нашли, как, впрочем, и еще нескольких человек. Тонину мать, раненную осколком, внесли в вагон. А Тоня спала, свернувшись калачиком. Никто не смог бы сказать, сколько она проспала. Люди, прятавшиеся от бомбежки, были убеждены, что налет длился невероятно долго. Тоне же, когда ее с трудом растормошили, почудилось, словно она совсем не смыкала глаз. Позднее она не раз жалела, что вообще проснулась тогда...

Страшным бесконечным сном казалась и эта поездка, и эта ночь, и все, что было после. Сон как будто продолжался и когда она сидела в госпитале, возле матери, неузнаваемо постаревшей, неподвижной, и слушала рассказ о той ночи.

Проснулась она, в сущности, только через несколько дней: пришла утром в госпиталь, и дежурная сестра, отведя глаза, сказала, что Василевская на рассвете скончалась — газовая гангрена...

Сослуживец отца хотел взять Тоню в свою семью, но она ушла в детский дом. В сорок втором, закончив девять классов, поступила на работу в депо и переселилась в общежитие...

— Вот и все... — вздохнула Тоня. — Потом пыталась в летную школу попасть — медкомиссия завернула: нервы. И я решила: все равно каким способом уничтожать их, фашистов. Конечно, напильником и гаечным ключом не так романтично, ну так что ж...

Мите казалось, будто есть две Тони: одна — веселая, озорная, порой грубоватая, и другая — задумчивая, тихая и грустная, та, что была сейчас рядом с ним. И эту, другую Тоню, было

жаль до слез. Поэтому он долго не мог выговорить ни слова.

— Нагнала на тебя тоску смертную — больше не пойдешь меня провожать, — грустно улыбнулась Тоня.

Ему стало досадно, что она неправильно поняла его молчание.

— Это уж ты зря, — сказал он тихо. — Кто-кто, а я-то могу понять...

— Так я и думала. Нечасто и не со всеми я делюсь... — она заглянула Мите в лицо, помолчала с минуту, словно колеблясь. — А ведь сначала я считала, что ты совсем другой.

— Какой же?

— Ну, в общем, другой... Этакий благополучный, аккуратненький маменькин сын. Учиться не хочет и не может, забрали из школы, пристроили на транспорте, от армии забронировали. Я даже думала, что тебя каждое утро мама в депо провожает...

Митя смеялся. Мороз тотчас же превращал запутавшиеся в его ресницах слезы в ледышки.

— Не выношу благополучных людей, — тихо, но страстно проговорила Тоня. — Нет, я совсем не хочу, чтоб у всех было горе. Но есть люди, у них все так хорошо, они так полны своим благополучием, что даже посочувствовать не умеют. Таких ненавижу. Наверное, это плохо, что я такая, но пока ничего с собой не могу сделать...

— Выходит, и я угодил в эту компанию? — смеялся Митя, осторожно отдирая от ресниц ледышки.

— А ты решил: вот это пантера! Скажи, правда?

Мите захотелось ответить откровенностью на откровенность.

— Про пантеру почему-то не думал, — признался он весело.

— Про кого же?

— Все больше гадюку вспоминал...

— Какая гадость! Что ж, спасибо, — с шутливой обидой отозвалась Тоня. — Лучше бы уж сравнил... даже не знаю с кем... хотя бы с гиеной...

— Гиена всякую падаль жрет, а ты на живых кидаешься...

Теперь смеялась Тоня.

— Уморил ты меня!.. Вот я и дома. Видишь, какое у нас неважное соседство, — она кивнула на другую сторону улицы. Там, на холме, в лесочке, за каменной оградой, было городское кладбище.

Мите вспомнилось, как Алешка «проверял» здесь свои нервы, и он не смог сдержать улыбку. Давно, очень давно это было, и как будто совсем в другой жизни, безоблачной, постыдно легкой и, по правде говоря, пустой...

Когда Тоня скрылась в подъезде, он поглядел на двухэтажное здание общежития, подумал, что сейчас засветится одно из темных окон. И вдруг услышал за спиной голос Ковальчука:

— Кого я бачу! Не инакше свиданка у хлопця...

15 Заказ 464

Хотя перед тем как проститься, Митя балагурил с Тоней о всякой всячине, он все еще был под впечатлением рассказа о ее судьбе. Поэтому не обрадовался встрече с Ковальчуком.

— Я только что из депо,— сухо ответил он.— Почти две смены отмахал...

— Кого же поджидаешь? — Ковальчук с веселым вниманием приглядывался к нему.— Чи не Тонечку Василевскую, вона ж тут живет?

Митя сказал, что работал вместе с Тоней и проводил ее.

— Жалуешься, що достается от нее, а провожать ходишь...— с лукавинкой заметил Ваня.

— Ты знаешь, за кого она меня приняла? — и Митя живо рассказал ему то, что услыхал от Тони.

Ковальчук остановился, крепко сжал и затряс Митины локти:

— Ой, Дмитро, Дмитро, ты, я бачу, ще новичок не только в слесарном деле...

— При чем тут это?

— Ты ж ей нравишься, лихоманка!

Резким движением Митя высвободил свои руки:

— Что-то у тебя сегодня язык заплетается.

— Вона ж у меня допытывалась, що ты за человек. Но раз ты мне не веришь, спытай у нашей нормировщицы, у Зои Копыловой. Девчата про тебя разговор вели, и Тоня сама ей призналась.

Митя старался разглядеть Ванины глаза, но едва различал только узкие темные щелочки.

— Я по-серьезному с тобой делился,— обиженно проговорил Митя,— а ты разыгрываешь...

Ковальчук всплеснул руками:

— Та нехай я провалюся на этом самом месте, если брешу! Дурна твоя голова. Все ж як дважды два. У нее до тебя расположение, а показать не хочет и маскируется, шпигует тебя. А ты ничегосеньки не кумекаешь, дуешься, фырчишь...

Придя домой, Митя умылся и, воспользовавшись тем, что семья была на кухне, взял с тумбочки круглое зеркальце Лены и быстро пошел в свою комнату.

Никогда еще так внимательно, изучающе и вместе с тем критически он не смотрел в зеркало. Он нравится! Удивительно, что могло понравиться в нем? Этот ежик, похожий на щетку? Эти брови, несуразно длинные, широкие и к тому же срастающиеся? Может быть, эта длинная, как у гусака, шея? Или, может эта никому не нужная ямка на подбородке? Но ведь Ковальчук не мог придумать такое?

И вдруг он с неодобрением, даже со злостью взглянул на себя, отложил зеркальце. Подумаешь, какая-то девчонка что-то сказала кому-то, а он уж расплылся, как масло на горячей ско-

вородке! Счастье великое — он понравился Тоне Василевской! А вот она ему не понравилась. Совсем не понравилась, да, да. И хватит думать об этом!

В человеке, однако, может понравиться не только ежик, не только зубы и глаза, а, скажем, ум, характер, одним словом, — содержание. Но для этого надо хорошо знать человека, а Тоня разве знает его?

Митя так засмотрелся на себя в зеркало, что заметил Егорку, лишь когда тот, в упор глядя на него ясными голубыми глазами, серьезно спросил:

— Мить, а у тебя тоже седые волосы?

Он хотел было спрятать зеркальце, но понял, что это бессмысленно.

— Мама говорит, что седые волосы бывают от переживания. А у тебя тоже есть переживания?

— Ничего у меня нет, — недовольно сказал Митя. — Прыщ как будто рядится на самом видном месте...

ПРОВОКАЦИЯ

Вера вдруг увидела, что Митя переменился, хотя вряд ли сумела бы объяснить, в чем заключалась перемена. Может, это его необычная замкнутость, может, рассеянный взгляд? Может быть, то, что он избегал встречаться с ней глазами? Она вспомнила, что два или три дня кряду Митя не ждал их по утрам на углу Комсомольской, не заходил к ней в нарядческую во время обеденного перерыва. Тогда она не придала этому значения, а сейчас отнесла за счет той же перемены в Мите.

Кутаясь в шаль, Вера молчала. И, если бы Алешка не затеял разговор, дошла бы, наверное, до самого депо, не сказав ни слова.

— Ну как, справились со срочной работой? — спросил Алешка.

Чтобы Вера поняла, о чем идет речь, Митя рассказал о паровозе, который пришлось срочно ремонтировать, и о том, что его, Митю, оставили на вторую смену.

Вера слушала, не поворачивая головы. Она ждала, что он сам скажет сейчас о Тоне, об их совместной работе. Но Митя спросил у Алешки, был ли новый материал в школе, и стал договариваться о встрече.

— А у тебя отношения с «гадюкой» как будто наладились? — Алешка вдруг вспомнил вчерашнее сияющее лицо Мити, когда он сообщил, что его оставляют на вторую смену.

Возможно, и не следовало говорить об этом при Вере, но ему не терпелось рассчитаться за нравоучения и нападки, не терпелось показать Мите, что сам он не такой уж безгрешный,

хотя берется учить других. Встретив удивленный взгляд Мити, Алеша спокойно пояснил:

— Кажется, ты так окрестил Василевскую?

Вера быстро обернулась.

— А сейчас не сказал бы так, — Митя зло уставился на Алешу. — Легче всего обозвать человека.

— Ой, меня осенило! — Алешка шлепнул себя по лбу варежкой. — А ты свою академию не ради нее устроил? Чтоб в ее группу попасть? — и он расхохотался, видя, что достиг цели: Митя приостановился, испуганно посмотрел на него, переметнул взгляд на Веру.

«Что это? — лихорадочно думал Митя. — Что он говорит?..»

— По всем приметам — угадал, — смеясь, воскликнул Алешка.

— Дурак ты! — севшим голосом выдавил Митя.

В течение всей этой перепалки Вера следила за Митей, и то, что она заметила, еще сильнее взволновало ее.

— Холодно что-то, — сказала она, поправляя шаль. — А мы плетемся, как после сытного обеда!.. — и зашагала энергично и быстро, оставив мальчишек позади.

Митя понял, почувствовал, что вовсе не холод заставил ее уйти. Кстати, сегодня утром заметно потеплело.

Остаток дороги он прошел в мрачном молчании.

А Вера, запыхавшись, влетела в нарядческую, скинула шубку, повесила ее на гвоздь в углу, положила перед собой книгу нарядов, графики, маршрутные листы и попыталась углубиться в работу.

Из этих скучноватых, на первый взгляд, бумаг перед ней постоянно вставала жизнь всего депо, беспокойная, полная движения, захватывающе интересная, потому что сегодняшний день здесь никогда не похож на вчерашний, потому что с жизнью этой связаны судьбы сотен людей.

Но сегодня Вера смотрела в бумаги и с величайшим усилием постигала заключавшийся в них смысл. Она читала маршрутный лист машиниста Свиридова, а вспоминала Митю, растерянного и злого. Почему он так испугался Алешкиных слов? Почему не нашелся, что ответить?

СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС

В этот день он выслушал от Тони больше замечаний, чем за все время их совместной работы. Началось с того, что вскоре после гудка она приложила к его лбу ладонь. Выяснилось, что Митя безуспешно старается отвернуть полдюймовую гайку дюймовым ключом. Спустя некоторое время, когда он допустил еще какой-то промах, Тоня заметила:

— Я бы сказала — твой коэффициент полезного действия сегодня ниже, чем в первые дни...

Митя опустил голову: он и сам видел, что работа не клеится. Был момент, когда он готов был бросить все и убежать.

Вдруг Тоня вскрикнула и схватила его за руку: вытаскивая из фланца болт, Митя ударил по нему молотком. А болт этот — призонный, контрольный, требующий особо деликатного обращения.

— Нет, с тобой определенно что-то происходит, — с веселым сочувствием заключила Тоня.

«Происходит, — согласился он мысленно, злясь и на нее и на себя. — Работал бы с Ковальчуком, ничего не происходило бы. Придумал на свою голову!..»

Он ругал себя за все: за то, что тайком заглядывался на Тоню и, обманывая самого себя, поддавался той непонятной силе, которая тянула к ней, за Верину обиду, за то, что не понимал и не старался понять, что с ним делается.

Конечно, Алешка поступил по-свински, но разве это хоть сколько-нибудь убавляет его, Митину, вину? А как порадовала бы его Верина обида, если бы он не был виноват!

Тоня по-своему понимала его рассеянность и втайне ликовала. Поэтому замечания ее были беззлобными и делала она их скорее всего для того, чтобы «разговорить» Митю.

Поглощенный своими мыслями, Митя неподвижно сидел на корточках в дымовой коробке паровоза и медленно работал ключом. Внезапно он почувствовал, как что-то шелковистое, похожее на паутину, щекотно коснулось его щеки. Он поднял голову. Занятая работой, Тоня, видимо, и не замечала, что ее ореховый локон касается Митиного лица.

Он отстранился.

— Я не кусаюсь, — Тоня обиженно спрятала выбившийся из-под берета локон, обдала Митю беспокойным светом своих глаз.

— Эй, друзья! Митя! — стоя возле паровоза, кричал Алеша и, когда Митя порывисто обернулся, жестом позвал его.

Митя вышел на передний мостик.

— Да ты снизойди, — махнул рукой Алеша. — Узнаешь новость.

Митя спустился с паровоза, холодно взглянул на возбужденное, красивое лицо Алеши.

— Полчаса уже кричу, — миролюбиво заворчал Алеша. — Сидят себе, как голубки, воркуют...

— Ты что, продолжать решил? — нахмурился Митя.

— Брось ты! Поздравляй меня. Разряд получил.

— Какой разряд?

— Рабочий разряд. Разрешите представиться: слесарь четвертого разряда Алексей Андреевич Белоногов. — Он выпрямил-

ся, что, правда, почти не отразилось на его росте, хотел надуть щеки для важности, но ликующая улыбка не позволила закрыть рот.

— Шутишь, — не поверил Митя.

— Убей меня гром! Какие тут шутки? Делать больше нечего. Сейчас пробу сдал. Завтра приказ прочитаешь...

Забыв про недавнюю стычку, Митя радостно заулыбался, схватил Алешку в охапку, оторвал от пола, покрутил в воздухе и поставил.

— Вот это да! Как же это ты?

— А так. Дали пробу, я отгрохал ее на высоком уровне, тютелька в тютельку по норме, и вопрос решен. Гениально, а? Ну, я побежал... — Он приложил к шапке два пальца и быстро зашагал по пролету своей «морской» походкой, но теперь в «качке» появилась неожиданная степенность.

Митя подумал с удовлетворением, что работа все-таки захватила Алешку, что Анна Герасимовна будет очень рада и что мастер Никитин — умнейший человек: этот разряд еще больше привяжет Алешку...

— Ну и парень! — неодобрительно отозвалась Тоня, когда Митя рассказал ей об Алешкиной новости.

— А что?

— Настырный, как муха. Все-таки выходил, значит.

— Что выходил?

— Да разряд. Каждый день клянчил у Никитина пробу.

— Кто, Алешка? — вскрикнул Митя.

— Он самый. Это-то меня и удивило: такие вроде друзья, а он все только про себя...

— А ты сама слыхала? — возмутился Митя. — При тебе он клянчил? И зачем плести на человека?

Воинственно поднявшись, Тоня громко заявила, что никогда еще ни на кого не «плела», что клевета — не ее призвание, но что если Митя не убежден в этом, то пусть спросит у нормировщицы Зои Копыловой, она подтвердит, как наседал Алешка на Никитина.

«Опять — Зоя Копылова!» — подумал Митя.

— Пойдем, — настаивала Тоня. — Сейчас же пойдем, зачем оставлять камни за пазухой...

Митя долго подавленно молчал. Потом спросил, почему же Тоня раньше не сказала ему об Алешкиных хлопотах.

— Не хотела, — она исподлобья взглянула на него. — Не догадываешься, почему?

Митя молча покачал головой.

— Ладно, скажу. Ты получил бы разряд и сразу лыжи навострил из нашей группы...

Он представил себе, что было бы, если бы Вера услышала эти слова, и поежился от внутреннего холодка. Не осмелясь по-

смотреть на Тоню, он пробормотал, что все равно перейдет скоро в другую группу.

— Очень уж ты тихий,— размышляла Тоня.— А он сделает на копейку, пошумит на целый рубль. Горластый он, пробойный. И потом, какой-то броский, видный...

Митя не отвечал. Ему хотелось поскорее увидеть Алешку, убедиться, что все это не так, все неправда, что у него и в мыслях не было бегать к Никитину, что мастер сам дал ему пробу. Нет, какой ни есть Алешка, но он не стал бы действовать в одиночку, тут что-то не так...

Он нашел его после смены в душевой. Окутанный паром, Алешка стоял под хлестким, крутым и шумливым дождичком. Глаза его были закрыты. Он блаженствовал. И даже бесконечные горячие струи не могли смыть с его лица выражение умиротворения и блаженства.

Он засовывал под мышки темные кисти рук, извивался, сопел и крякал от удовольствия. Потом принимался неистово тереть коричневую шею, фыркал, звонко шлепал себя по белым мокрым бокам, откидывал назад длинные, темные, с зеленоватым оттенком, точно старые водоросли, волосы и с трудом, будто после сна, открывал глаза. В это время он и увидел Митю, стоящего посреди душевой с мылом и вехоткой в руках.

— Давай сюда! — весело крикнул Алешка.— Поместимся. Эх, и здорово, кто понимает! Метко сказано: «Без воды и ни туды и ни сюды!» Ты захватил мыло? Гениально. А я забыл...

Взяв у Мити мыло, он вышел из-под водяного конуса и через несколько минут от головы до пят был в синевато-белой пене, в радужных, беззвучно лопавшихся пузырях, весь блестящий и скользкий.

— Никитин сам предложил тебе пробу держать? — спросил Митя.

Алешка приложил руки к ушам, давая понять, что не слышит, и, крепко зажмурившись, кинулся под душ. И опять приплясывал, кряхтел, шлепал себя и долго тер глаза, в которые, должно быть, попало мыло.

Митя повторил вопрос. Алешка пальцами прочистил уши, поднял, наконец, покрасневшие веки, но не ответил. Тогда Митя в третий раз задал свой вопрос.

— Чем интересуется человек! — Алешка насмешливо сплюнул.— А все первым делом — какая проба была. Будь здоров — проба! Сначала даже передрейфил. Слушай, подрай-ка мне лучше спинку. Потом я тебе. Взаимная выручка...— с этими словами он повернулся к Мите спиной и согнулся, упершись руками в некрашеную мокрую табуретку.

Не очень усердно водя намыленной вехоткой по розовой спине с горным кряжем из позвонков, Митя сказал:

— А говорят, ты добивался у Никитина.

Ему показалось, что скользкая спина под вехоткой слегка вздрогнула.

— Ты что, не обедал сегодня? — требовательно крикнул Алешка. — Да приложи силы немножко! Раздразнил только...

Митя так задвигал вехоткой, что спина в несколько минут побагровела. Часто дыша, он припал к Алешке:

— Тебе опять уши заложило? Выклянчил, говорят, пробу...

Алешка выскользнул из-под его рук, выпрямился, посмотрел на Митю дерзкими красными глазами.

— Почему выклянчил? Кто это тебе в уши надул?

— К Никитину ходил насчет пробы?

— Ну и что? Может, это преступление — просить экзамен устроить? И в-вообще это похоже на допрос... — Он стоял под жгучими струями, хлеставшими его по лицу, отплевывался беспрестанно и прикрывал глаза не то от дождя, не то от чего-то другого.

— Значит, правда, — глухим, упавшим голосом проговорил Митя и стряхнул с ресниц капли воды, будто слезы.

— Ты ведь ходил насчет своей академии — я тебе ничего...

— Но я про себя говорил потому, что ты отказался.

— И правильно сделал, как видишь. Ты обижаешься, что ли? Я подумал: если за двоих хлопотать, ничего не выйдет. Всегда легче про одного себя говорить. А сейчас тебе уже будет проще! Дорожка пробита. Ручаюсь.

— Спасибо, — сказал Митя и по скользкому полу зашлепал из душевой.

Так вот что имел в виду Алешка, когда предсказывал, что некоторым придется догонять его вприпрыжку! Хорош дружок! И, оказывается, он «пробивал для Мити дорожку»!..

Заметив в руке вехотку, Митя швырнул ее в угол и стал быстро одеваться.

ВДОХНОВЕНИЕ

Кладовщица Люся жила далеко от депо. Когда Алеша провожал ее в первый раз, он немало удивил девушку своей неожиданной молчаливостью. Люся не догадывалась, что его удручала длинная незнакомая дорога. Боясь заблудиться на обратном пути, он мучительно старался запомнить всевозможные приметы и жалел, что у него нет при себе кусочка мела, — можно было бы тайком делать отметки, как в игре, в которую играл когда-то в детстве.

Сегодня Алеша не думал о дороге. И если что мешало ему сегодня, так только разговор с Митей в душевой.

У Люси тоже было плохое настроение — не то пропал из кладовой, не то сломался какой-то дорогой инструмент, Алеша не

понял, но из всех сил старался утешить ее. И это ему удавалось. Он умел и других развлечь и с неизменным успехом от себя отогнать мысли, мешающие быть веселым. Достигал он этого довольно простым средством — говорил. Говорил, как поются восточные песни, — о том, что видел. Падал снег — он говорил о снеге, причем легко вплетал рассуждения даже о снеге прошлогоднем. Если светила луна — то о луне. Если же, как сегодня, луна отсутствовала, то можно было сострить насчет нерасторопности горсовета...

Вскоре Люся как будто забыла о своей неприятности, оживленно говорила о всяких деповских делах, о себе и вдруг спросила, случалось ли Алеше задумываться над будущим.

— А как же! — Он постарался тоном подчеркнуть наивность вопроса.

— Ну и что ты видишь в будущем?

— Кончится война. Жизнь пойдет чудесная, без карточек...

— А дальше? Лет через пять, например?

— Лет через пять? Ты женишься, — предсказал он без сожаления.

Люся рассмеялась:

— Хотя бы сказал: выйдешь замуж.

— Не все ли равно...

— Как странно люди рассуждают! Угодишь кому-нибудь, и сразу: «Хорошего жениха тебе!» А вот институт кончить или хотя бы техникум никто не догадается пожелать. — Люся помолчала и добавила задумчиво: — Выйти замуж, наверное, не фокус. Главное — базу создать.

— Какую базу? — искренне заинтересовался Алеша.

— Образование получить, специальность хорошую.

Алеша сказал, что девчонкам не обязательно утруждать себя такими заботами.

— Да? — запальчиво возразила Люся. — Довольно отстало думаешь. Самое страшное — это зависимость.

Он повертел пальцем перед своим лбом:

— Что-то не дошло до меня.

— Если девушка выходит без всякой специальности, она попадает к мужу в зависимость. А что, если он разлюбит ее? Женщина должна быть самостоятельной и независимой.

— Смотри-ка, целая стратегия! — иронически заметил Алеша.

Рассуждения эти не очень пришлись ему по вкусу, он еще не понимал, почему, но задумываться не имел желания.

А Люся, развивая свою мысль, заговорила о преимуществах образованных и культурных людей перед людьми некультурными и необразованными. Алеша слушал ее с чуть насмешливым вниманием.

— Это правильно, но не так легко достигается, — заключил

он с несколько грустным глубокомыслием.— В жизни все устроено так, чтоб человеку было как можно труднее, чтоб ему ничего легко не давалось. Голову кладу — для того чтобы стать образованным и культурным, нужно прочитать всего какую-нибудь сотню книг. Но в чем беда? Сколько уж времени свет стоит, а никто не может сказать, какие это книги. И приходится искать их самому. А попробуй найди! Чтоб отыскать эту нужную сотню книг, придется целые горы переворошить. А на это может уйти столько лет, что ни черта не успеешь. Вот как обстоит дело...

«Умница!» — восторженно подумала Люся и спросила, кем собирается он стать в будущем.

— Наверное, кем-нибудь в области техники. По наследству: у меня отец инженер.

— А мне представлялось, ты по литературной части пойдешь.

— Почему?

— Так. Язык у тебя подвешен.

— Вот не приходило в голову,— шутливо, но с достоинством проговорил Алеша.— Надо будет подумать...

— Ты любишь стихи?

Он хотел было сказать, что насчет стихов лучше всего обращаться к его сестре Вере, что никогда не задумывался, любит он стихи или нет, но воздержался от этого признания.

Порывшись в памяти, он извлек несколько строк из того, что слышал в Верином чтении:

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь,
Белая палата,
Крашеная дверь...

— Хорошие стихи. Или вот:

Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит...

— Вообще стихов написано тьма-тьмущая,— сказал он, намекая, что запомнить их нет никакой возможности.

— А сам писать стихи умеешь? — спросила Люся.

— Знаешь, не пробовал как-то...

— А ты попробовал бы,— она взглянула на него через плечо,— и написал что-нибудь мне на память...

— На память? По-моему, ты никуда не уезжаешь, а я умирать не собираюсь...

— Разве только в таких случаях пишут? — обиделась Люся.— Ну, как хочешь.

— Ладно, сегодня ночью сочиню для тебя стихи,— с пафосом пообещал Алеша и взял девушку за руку...

Условия для творчества неожиданно оказались блестящими: когда Алеша пришел домой, Вера уже спала.

— Мне кажется, у нее неважное настроение, — сказала Анна Герасимовна, вопросительно глядя на него и, вероятно, надеясь, что он выскажет какие-нибудь предположения.

Но Алеша ничего не сказал, хотя и догадывался о причине дурного настроения сестры. Как бы ни было, это чудесно, что она спит.

Поужинав, Алеша вышел в другую комнату, зажег настольную лампу и положил перед собой лист бумаги.

Долго сидел он, навалившись локтями на стол, и чутко прислушивался к мыслям. В голове царил поразительный застой. Ни одной мысли, за которую можно было бы ухватиться. Приходили на ум слова, яркие и тусклые, шумные и тихие, но все непокорные, разобщенные; они с коротким стуком ударялись друг о друга, словно холодные стальные шарики, и своевольно разбредались, раскатывались в стороны. Кто бы мог подумать, что это такое мучительное дело — сочинять стихи!

Но он не собирался отступать перед трудностями. Да и нельзя было отступать — он обещал Люсе стихи и стихи будут!

Наконец он сообразил, в чем загвоздка: наверное, не было вдохновения. Даже гениальные поэты, как известно, писали только по вдохновению. Но штука эта, видимо, ужасно непостоянная и своенравная. Тебе нужно писать, а его нет. Впрочем, стоит ли отчаиваться, если его нет сию минуту, — в следующую оно может появиться. Важно только не пропустить момент. Должно быть, не ко всем оно приходит одинаково быстро. Значит, надо ждать, терпеливо ждать. Все равно оно придет, и тогда слова сами побегут, поспевай лишь расставлять их!

Анна Герасимовна заглянула в комнату. Обхватив голову руками, Алеша сидел за столом, устремив на чистый лист бумаги сосредоточенно-неподвижный взгляд. Услышав шорох, он повернул встрепанную голову:

— Это ты? Я скоро, мамочка... Заметку надо написать.

Анна Герасимовна неслышно притворила дверь. Стало очень тихо. О стекло бились снежинки. На оконной раме шуршала отставшая полоска бумаги. Алеша где-то читал или слышал, что вдохновение любит ночь и тишину. Почему бы сейчас ему не прийти, самое время! Однако оно не торопилось, совсем не считаясь с тем, что Алеша не может больше ждать: как-никак, завтра на работу, а ведь опоздание не объяснишь долгим ожиданием вдохновения...

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ КРАН

У него зябли руки. От холода сводило пальцы ног, ныла спина, совсем отсырел нос. А злосчастный кран все еще не был готов. Когда-то Алеше казалось, что бронза, этот отливающий

таким теплым, солнечным светом металл, мягка и податлива. Ничего подобного. Бронза упряма и тверда не меньше стали. Сколько уж времени возится он, а дело ни с места.

Он вытаскивает кран — этот кусок бездушной бронзы в форме усеченного конуса, «солит» его, то есть посыпает мелкой наждачной пылью, вставляет в корпус и снова начинает «тягомотину» — вращать кран в корпусе. Теоретически все понятно: крупинки наждака сдирают мельчайшие частицы металла, и кран плотно входит в корпус. Но проклятые частицы не сдираются. И если вытащить кран, обтереть тряпкой, смазать его синей краской и снова повертеть в корпусе, то воочию можно увидеть, что он еще не «сел» на место, что поверхность его плохо пристает к поверхности корпуса. Просто наказание какое-то!

Неделю назад можно было подозвать Серегина и захныкать: «Федя, что-то не выходит». Федя ругнулся бы сквозь зубы, отодвинул ученика в сторону, а через несколько минут, ухмыляясь, сказал бы: «Вот все и вышло, а ты, дурачок, боялся...» Но слесарю четвертого разряда так действовать неловко. Кроме того, Серегин сегодня после «большого концерта», и ему ничего не стоит гаркнуть громогласно все, что взбредет на хмельной ум. Он уже подходил полчаса назад и гудел хмуро:

— Давай побыстрей. Что-то длинную музыку затянул...

Неделю назад мастер Никитин, узнав, что ученик не уложился в норму, задержал работу, крякнул бы от огорчения и насадил очки на нос, только и всего. А теперь? Слесарь Белоногов не справился — как же ему дали разряд? В общем, радости от этого разряда на один день, а сколько неудобств?

Не справиться нельзя и по другой причине. Ремонтники дали слово выпустить этот паровоз на два часа раньше срока. Сегодня вечером он должен уйти из депо. Об этом написано и в «молнии». Не хватало, чтобы слесарь Белоногов задержал такой паровоз!

Но сколько же еще придется крутить «волынку»? Какая дикость. Техника идет вперед, а тут сиди и до умопомрачения верти этот занудливый кран. Как будто нельзя было приспособить электричество или сжатый воздух! Нажал кнопку, кран крутанулся в корпусе — и пожалуйста, все готово. Наверное, если бы конструкторы не поленились пошевелить мозгами, они смогли бы пристроить спускной кран не под брюхом котла, а в более удобном месте, чтобы слесарю не приходилось сгибаться в три погибели. Конструктора бы сюда, пускай бы притер этот несчастный краник!

Спина совсем уже не разгибалась, руки закоченели, а кран не поддавался ни наждачной пыли, ни тонкому, как пудра, мятому стеклу, ни темно-зеленой пасте.

И Алеша вспомнил, как однажды в разговоре с матерью жаловался отец: «Собачья работа! Грязь и холод. Зависишь черт

знает от чего. Не успел подготовиться к зиме — и все полетело вверх тормашками. Разве испытывают такое заводские работники!»

Что там говорить, на заводе не пришлось бы так мучиться. Светло, тепло, чисто. А тут от смены до смены руки не промоешь как следует. Паровозы то заходят, то выходят, холод врывается в здоровенные ворота, сквозняки гуляют как ни в чем не бывало, не успеваешь нос утирать, а схватить грипп, кажется, проще простого. Но, как назло, ничего не пристает...

Такими размышлениями был занят Алеша, когда увидел Митю. Митя работал на этом же паровозе. Он торопился и, если бы Алеша не заметил его, возможно, не подошел бы. Но не подойти теперь означало еще более усложнить отношения. Конечно, во всем виноват Алешка — и в том, что болтал при Вере, и в том, что тайком хлопотал о разряде. Но отходчивое сердце Мити уже отыскало ему оправдание. Ведь болтал-то он не по злобе. Что поделаешь с человеком, который сам признается, что у него не хватает каких-то центров, управляющих языком! С разрядом получилось неладно, думал только о себе.

Но ведь Мите-то он не напортил, не перебежал дорогу. А хорохорился, видимо, оттого, что понял свою вину, да характер не позволил сознаться. И вообще, сердиться на него трудно, как на Егорку: нашкодничает и тут же забудет.

Они поздоровались. Помолчали.

Митя спросил:

— Чего такой синий? Замерз, что ли?

— Посинеешь с этим проклятущим спускным краном! — заворчал Алешка, тыльной стороной ладони вытирая коричневый от мазута нос.

— Когда-то я тоже с ним умаялся. А ну-ка, дай посмотреть, — Митя быстро проверил кран по краске и присвистнул: — О, тут, брат, осталось начать и кончить. Поспешить надо, паровоз раньше срока сдают... — он вскинул глаза на сумрачное лицо Алешки. — Знаешь что? Я сейчас одно дело кончу — и к тебе. Добьем его...

Вероятно, в знак благодарности Алешка звучно потянул носом. Оставив кран, он вылез из-под брюха паровоза, с наслаждением разогнул спину и, глядя в ту сторону, куда ушел Митя, задумался.

На его месте он, Алешка, никогда не смог бы так. Как будто человек понятия не имеет о гордости. А ведь у него гордости хоть отбавляй. Что же он на самом деле все забыл, все простил? Нет, так не бывает! Значит, это хитрый, мстительный ход: «Засыпаешься, дружок! Этого и следовало ожидать. Но не падай духом. Я хоть и не имею разряда, а все же подсоблю тебе, выручу, знай мою доброту! А тем временем все увидят, какой ты слесарь!»

Взгляд у Алеши стал ледяным. «Плевали мы на вашу великодушную помощь!»

Митя пришел через час, раньше не удалось вырваться. Алешки возле паровоза не было. На раме лежали гаечный ключ, ветошь и консервные банки с краской, мятым стеклом и пастой. Проверив кран, Митя прищелкнул языком: Алешка почти ничего не успел.

Едва он поставил кран на место, как подлетел Алешка, в лихорадочном порыве прикрыл кран руками, взволнованно зачастил:

— Оставь, пожалуйста. Тебя же никто не просит. Зачем это нужно?

Митя опешил в первую минуту. Но потом доверительно улыбнулся.

— Не будь чудаком. Стесняешься, что ли? С кем не бывает? Иной раз дело заколодится и так упаришься, что выхода не видать. А мы сейчас спокойненько...

— Говорю тебе — ничего не нужно, — Алешка все еще держал руки на кране. — Бог даст, обойдемся.

— Дурной принцип. А если прокопаешься и не успеешь?

Испуг и настороженность в глазах, во всей фигуре Алешки внезапно сменились выражением расслабленного и слегка насмешливого спокойствия. Он спрятал руки в карманы, снисходительно и вежливо усмехнулся:

— Спасибо за заботу. Но помощь, как говорится, пришла, когда надобность в ней миновала...

— Что значит — миновала?

— А то, что кран я уже сдал.

— Как это — сдал?

— Обыкновенно. Притер и сдал. Разве тебе не приходилось?

— И приняли у тебя?

— Представь себе.

— Шутишь или врешь?

— Никогда не позволил бы себе заниматься этим в рабочее время.

— Ты помазал его, а не притер. Кран притирать и притирать еще, я сейчас только смотрел.

— А Серегин другого мнения. Принял и нарядик вот подписал...— Алешка похлопал ладонью по нагрудному карману спецовки, поднял ключ, стал собирать консервные банки.— Вопрос исчерпан.

Словно желая оставить его, Митя протянул руки.

— Если правду говоришь, то Серегин ошибся. Точно. Да ты что, сам не видишь?— Нервным движением Митя вытащил кран, ткнул в него пальцем.— На этом участке он висит, а кругом просвет. Потечет кран...

Алеша дернул плечом, точно спецовка вдруг стала ему тесна.

— Поставь кран на место. Что за привычка совать нос в чужие дела! Противно!

— Ты обманул Серегина! — Митя опустил кран в корпус.— Обманул. Не мог он, не мог принять такое... Разве только пьяный. Это липа, обман...

Алешка вызывающе поднял голову, взвизгнул:

— Осторожней на поворотах!

— Давай доделывай. Слышишь? Кран потечет — будешь отвечать...

— Прокурор! — с гневной иронией бросил Алешка и повернулся к Мите спиной, собираясь уходить.

— Халтурщик! — презрительно прохрипел Митя.— Это все равно, что вредительство.

Алешка повернулся волчком, тонкие нервные ноздри его вздрагивали, в сузившихся зеленоватых глазах забилась холодная, злая радость.

— В-вот оно что! С этого бы и начинал. Разоблачился наконец-то. Так я и знал. Черная зависть заела... «Я приду, мы его добьем». Ангел без крылышек...

Разговор на этом оборвался: подбежала Тоня Василевская, накинулась на Митю:

— Ты же сказал — на десять минут. Особое приглашение тебе? Силкин работу подкинул. Пошли...

Через некоторое время, улучив минуту, Митя побежал к Вере. Хотя она избегает его, выходит на работу в разное время, чтобы не встречаться, хотя не желает разговаривать с ним, он расскажет ей об Алешке — пускай подействует на своего братца.

Веры в нарядческой не было. Выйдя во двор, он задумался. Что делать? Скоро начнут заправлять паровоз, кран потечет, запарит, и паровоз придется погасить. Авария... Сейчас же к Никитину! Пока не поздно.

БЕСПОКОЙНАЯ СМЕНА

Не смог бы сосчитать мастер Никитин, сколько паровозов на своем веку выпустил он из ремонта, скольким машинам вернул жизнь.

И все же, когда наступала пора выпуска, ему становилось и радостно и беспокойно.

Пока по деталям, по винтикам разберешь машину, пока вылечишь ее — совсем сроднишься с ней, узнаешь как друга. А перед выпуском всегда немного неспокойно на сердце. Выпуск — это итог работы многих людей, проверка этой работы, экзамен. А паровоз требователен и злопамятен. Во время выпуска он беспощадно отомстит за малейший промах, за самую незначительную ошибку.

Поэтому задолго до выпуска мастеру уже не сиделось на месте. Только что длинную, чуть сутулую фигуру его видели на площадке паровоза, а вот он уже в канаве или в будке машиниста, и заревые всполохи нарождающегося пламени топки играют на его остром, худощавом лице, где в глубоких морщинах гнездится непроходящая усталость.

Сегодня особенный выпуск — на два часа раньше срока. И нужно с особым вниманием осмотреться: люди торопились и, захваченные большим делом, могли упустить из виду какие-нибудь «мелочи».

Приходил Горновой. Долго стоял с Никитиным в сторонке, негромко говорил что-то. Видно, прямо с паровоза, после маршрута, с чуть припухшими веками, явилась в депо Маня Урусова. Она не успела помыться, и на темном от копоти и усталости лице сверкали эмалевые белки глаз. Урусова подошла к Тоне. Митя слышал, как она сказала своим грудным, исполненным сдержанной радости голосом:

— Сразу после смены — в комитет. Надо «молнию» сообразить...

Даже Силкин переменился. Будто кто сорвал с его лица пелену сонливости. Голос его утратил сегодня скучноватую размеренность, вдруг зазвучал неузнаваемо живо.

Ваня Ковальчук несколько раз проносился мимо: ямочки на его щеках можно было увидеть, наверное, за километр.

И только для Мити торжественная, волнующая прелесть этого момента была отравлена тревогой. Что будет? Что покажет заправка паровоза?

Не найдя Веры, он кинулся искать Никитина. Мастера в конторке не было, а когда Митя нашел его, решимость уже пропала. Ведь Алешка не поймет, что Митя рассказал о кране потому, что не хотел подвести депо, не хотел допустить скандал. Он поймет все по-своему: Митя донес на него, «накапал» из черной зависти, в отместку за разряд.

Должно быть, когда Митя вызвался помочь ему и ушел и отсутствовал целый час, Алешка разозлился, попросил Серегина, и тот пообещал доделать кран. Потому-то Алешка и встретил Митю во второй раз так враждебно: «Помощь пришла, когда надобность в ней миновала...» Он, понятно, не захотел признаться, что Серегин «вытянет» его, и придумал, что уж сдал работу. Кстати, наряда он не показал, лишь похлопал по карману. Недаром же он держался так уверенно. И если все это так, Митя действительно окажется доносчиком и клеветником... Быть может этого-то и ждет сейчас Алешка?

Началась заправка. Посреди холодной топки, потрескивая, плясал огонек. Он был еще очень слаб, а ему предстояло разжечь остывшее сердце машины. И, чтобы помочь животворному огоньку, удержать его, то и дело ему подбрасывали лакомую

приманку: сухую, шершавую щепу, кудрявую и душистую древесную стружку, паклю, смоченную в мазуте. Потом кочегар бросил ему полную лопату вишневого дымящегося кокса — это соседний, «живой» паровоз отдал часть своего тепла, чтобы вернуть жизнь товарищу.

Огонек в топке сначала вздрогнул, словно померк от испуга, но вскоре выпрямился, повеселел, любопытно потянулся к шуровочному отверстию — что там еще приготовили для него? И тотчас ему щедро бросили несколько звонких березовых поленьев. Он даже запрыгал и загудел от радости...

А когда через полтора часа Митя снова заглянул в топку, пламя ослепило его. Оно бесновалось, неистово ревело, билось о стенки: ему было тесно в глухой металлической коробке. Живое, отрадное тепло разбрелось уже по всей машине, им налились даже стальные поручни. Взявшись за них, Митя всем телом услышал неуемно бьющуюся, гулкую жизнь машины. Значит, скоро, очень скоро паровоз будет готов в очередной маршрут. А кран? Не потечет ли кран, когда паровоз наберет пары?

Дважды под разными предлогами Митя убегал со своего рабочего места, чтобы посмотреть на кран. Все было в порядке. Алешка разыграл его. Зло, безжалостно разыграл. Он даже обрадовался, когда Митя раскипятился, попался на удочку. Какое право имел он болтать о пробе, оскорблять человека? Завистник! Правильно сказал Алешка...

— А ты помнишь, как он притащился в депо? — Тоня Василевская постучала пальцами по черной обшивке паровоза.— Совсем полуживой, чахлый. Жалко было смотреть. А сейчас вот сам уйдет, здоровый, сильный... Я вспомнила, как в госпитале радовались, когда выписывали двух молодых бойцов. Я дежурила тогда возле мамы. Как их провожали! И главврач, и лечащий врач, и палатная сестра, а нянечек не сосчитать. Я потом у сестры спросила, почему им такое почтение. «Как же,— говорит, — вы б видели, какие они были, когда их привезли! В чем только душа держалась! А выходили, подняли ребяток. Теперь они опять в строй пошли...» И наши деповские радуются сейчас точно так же...

Силкин, работавший в двух шагах, повернулся к Тоне, безуспешно постарался придать лицу строгое выражение:

— Чем разводить лирику, сходила бы за линейкой. Да быстренько, на одной ноге...

Подбежав к инструментальной кладовой, Тоня со стуком положила на узкий, обитый железом подоконник металлический жетон и попросила дать ей линейку.

Люся стояла, привалясь плечом к стеллажу. В руках у нее был тетрадный лист. Губы ее слегка шевелились. Она читала. Всегда удивленное лицо кладовщицы в светлых кудрях восторженно светилось.

Взяв жетон, Люся скрылась за стеллажами с инструментом и через минуту вынесла французский ключ.

— Я просила линейку,— нервно улыбнулась Тоня.

Люся смутилась, опять ушла к стеллажам, а когда воротилась, неся линейку, лицо ее сияло по-прежнему.

— Письмо? — спросила Тоня.

Вместо ответа Люся, глядя в тетрадный лист, с чувством прочитала:

Я пришел к тебе с приветом —
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся...

— Ну и что? — перебила Тоня с прорывающейся улыбкой.

— Тебе не нравится? — удивилась Люся.

— Это не те стихи, которыми зачитываются. Да еще на работе.— И Тоня скороговоркой прочитала:

...Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все также счастью
И тебе служить готова...

— Как, ты знаешь? — испуганно раскрыв глаза, Люся медленно, будто со страхом подошла к окошку. Побледневшие губы ее дрожали.

— Почему же мне не знать? — улыбнулась Тоня.

Глаза у Люси потухли и остановились.

— Он... он тебе тоже дарил?

— Кто? О ком ты говоришь? — воскликнула Тоня.

— Ну он... Тот, кто написал... Он тебе тоже?..

Тоня всплеснула руками и расхохоталась:

— Ой, девочка, да над тобой же кто-то подшутил! Это же стихи Фета. Слыхала? Афанасий Фет... он жил в прошлом веке...

— В прошлом веке...— повторила Люся. Выражение изумления сменилось отчаянием на ее лице.

Когда Тоня ушла, она опустилась на табуретку, руки ее бессильно легли на колени.

— В прошлом веке,— сами собой прошептали ее губы. Она услышала, как что-то упало на листок, который был в ее руках; слово «счастье» вдруг подернулось мутно-лиловой дымкой.

ПРОВАЛ

Стоя вполоборота к тискам, Серегин работал напильником. Руки его двигались, точно шатуны, размеренно и сильно. Старенькая рубашка, плотно облегавшая тело, казалось, вот-вот

с треском расползется, не выдержав игры его бугристых лопаток.

Когда Ваня Ковальчук подбежал к Серегину и что-то шепнул ему на ухо, тот, словно по инерции, еще несколько раз двинул руками и как будто окаменел. Ковальчук видел, как наливалась кровью его широкая мясистая шея, как багровел плоский, под «бокс» остриженный затылок.

Неестественно медленно положив на верстак напильник, Серегин так же медленно повернулся к Ковальчуку, сплюнул погасший махорочный окурок, точно в жару, облизнул длинные губы и протянул с угрюмым удивлением:

— Ну-у?

— Пошли, сам побачишь, — торопил Ваня.

Серегин еще ниже, на самые брови, насунул цигейковую кубанку с черным кожаным донышком и тяжелой походкой направился к паровозу.

Спускной кран курился легким белым паром. В бетонное дно канавы шлепались большие частые капли.

— Хтось из твоих орлов постарався,— мрачно сказал Ковальчук.

Лихорадочно облизывая губы, Серегин тупо смотрел на кран.

— Никитин знает?

— Ще никто не знает...

Митя в это время в третий раз подбежал посмотреть на кран и столкнулся с Ковальчуком и Серегиным. Он разом все понял по их лицам, услыхал глухой стук падающих капель, почувствовал, как удары эти слились с ударами его заколотившегося сердца.

«Что же это? — в отчаянии думал Митя.— Значит, в самом деле халтура, обман? Надо было сразу... А он... теперь пропало, все пропало...»

Серегин стоял неподвижно. Наконец он пошевелился, хотел оттянуть воротник рубашки, пуговка отлетела, ударилась о дно канавы и покатилась.

— Доверился, убей меня гром! — выдавил Серегин влажным, хрипловатым голосом. — Евоному дружку доверился, Белоногову, — он кивнул головой в Митину сторону.

— Як це — доверился?

— А так. Зачем, думаю, проверять, он сам грамотный, разряд имеет. Кран-то, думаю, притрет. Положился на него, шлапак...

— Я же ему говорил! — с раскаянием и досадой вырвалось у Мити.

— Что говорил? — вскинулся Ковальчук.

Митя молчал.

— Что ты говорил? — настаивал Ковальчук.

— Что он плохо притер... А он сказал, что Серегин принял, наряд подписал... Сначала я не поверил, а потом поверил...

— Хлюст! — заскрипел зубами Серегин и повернулся к Мите. — Ну-ка, тащи его сюда...

Митя медленно отошел от паровоза, жалея, что его не попросили сбегать на край города или даже в Кедровник...

Алеши на участке не было.

За несколько минут до прихода Ковальчука Серегин хватился, что нечем вытереть руки. «Про все старшему слесарю забота, вроде башка у него казенная!» — недовольно захрипел он и послал Алешку за ветошью.

Вернувшись со склада и не застав старшего слесаря, Алешка обрадовался.

Торопливо засунул ворох ветоши в шкафчик и помчался к инстурментальной кладовой. Заглянул в квадратное окошко и позвал певучим, сладковатым голосом:

— Людмила Петровна!

Улыбка была у него уже наготове, самоуверенная улыбка человека, довольного собой и убежденного, что его ожидает теплая, сердечная встреча.

Люся вышла из-за стеллажей. И Алеша не узнал ее. Мягкие и не очень определенные черты ее маленького лица словно обрели непостижимую уверенность и твердость. И эти новые черты будто сковал холод отчужденности и презрения.

— Что нужно? — Люся не подошла к окошку и глядела куда-то рядом с Алешкиной головой.

Он оглянулся, ища того, к кому относились обращение и взгляд. Возле кладовой никого, кроме него, не было.

Алешка пожал плечами.

— Люся...

— Что нужно? — твердым, ледяным голосом повторила она.

Ему ничего не было нужно, но, окончательно растерявшись, он машинально сказал:

— Ключ на два дюйма... Да я... я так... Не в том дело... Я хотел... Что случилось?

Люся в момент достала с полки ключ и бросила его на подоконник. Алеша отшатнулся. Следом за ключом из окошка выпорхнул тетрадный лист со стихами.

— Возьми, литератор! Своих слов нету, так чужие воруешь? Да еще из прошлого века? Культура!

Алеша метнул взгляд по сторонам, поспешно поднял с пола листок и сунул его в карман. Этой минуты, однако, ему хватило, чтобы оправиться от испуга и смущения.

— Смотри, какая молодчина! —воскликнул он с притворной веселостью... — Просто умница! Узнала ведь. А я твой уровень проверял...

Окошко шумно захлопнулось. Алеша снова отпрянул. Потом взял с подоконника тяжелый и ненужный ключ и развалистой, беспечной походкой двинулся по пролету.

Судьба все-таки щадила его: по направлению к инструментальной кладовой размашисто шагал Митя. Явись всего двумя минутами раньше, он стал бы свидетелем происшедшего...

Еще издали Митя прокричал ему приказ Серегина. Митин голос, его взволнованное лицо о многом сказали Алешке. Но он не показал виду, что испугался. Лишь когда подошли к паровозу, он расстался с мужеством, остановился.

Над ними, на площадке, стояла Тоня, они не заметили ее. Тоня еще не знала о случившемся и не могла понять, чем так расстроены мальчишки.

— Кран? — спросил Алешка насупясь.

— Кого ты обманывал? Серегин, оказывается, не принимал, доверился тебе. А сейчас беда...

Алешка поднял глаза, часто замигал, словно запорошил глаза.

— А т-тебе что? — густо краснея, накинулся он. — Что тебе до этого крана? При чем тут ты? Уже донес? Я т-так и знал. Зависть тебя гложет... А теперь вздыхаешь: ай-яй-яй, беда! Пошел ты со своим сочувствием!

Митя не успел ответить — Алешка, вобрав голову в плечи, сжавшись, уже подходил к Серегину.

— Это, по-твоему, называется работа? — негромким, напряженным голосом спросил Серегин. — Вред один, а не работа... Здорово продал ты меня, мил-друг, — тоскливо продолжал он.— В самую душу напаскудил. И себя и меня загадил. С тебя-то что возьмешь, а Серегин в ответе. Он и такой, он и сякой, и авария по его милости...

— Какая же авария? — с мольбой проговорил Алешка.

— А що це, по-твоему? — сверлил его глазами Ковальчук.— Хто ж выпустит на линию такого калеку?

— Факт, — угрюмо согласился Серегин. — Сейчас приказ дадут: гасить паровоз — и накрылся Серегин.

Алешка стоял, съежась, боясь посмотреть на кран. Если бы старший слесарь двинул его изо всей своей бычьей силы, если бы выругал, как он мог, семиэтажной бранью, ему было бы куда легче...

Увидев Митю, Ковальчук подошел к нему. Каждый мускул, каждая черточка его лица дышали гневом.

— Що ж выходит? Выходит, ты знав, що дружок напартачил, и мовчав?

Митя смотрел себе под ноги.

— Ты ж мог растолковать ему, доказать...

— Попробуй докажи ему...

— Значит, пойти до Серегина, до мастера — так и так, товаришок мой ошибся — тревогу поднять. Що, духу не хватило?

Митя подавленно молчал.

— Два часа назад ще можно было подправить, а зараз скандал. Вже радовались: раньше срока паровоз выпустим! И на тебе — полный пшик! Срам на все депо. Товаришка побоялся выдать, а столько народу подвел. Про це забув? Ото дружба! Ото и выручив дружка!

— Я не мог... — с трудом сказал Митя.

— А теперь можешь? Потому — товаришок вже сам засыпався? А я думав, ты... — Ковальчук поморщился с брезгливым раздражением. — Я думав, ты принципиальный. Люди выдумали слово, щоб помягче было. Треба сказать — нечестный, а говорят — непринципиальный. А я тебе в очи скажу: нечестно.

— Ваня! — со слезой в голосе попросил Митя. — Я все понимаю... Не мог я иначе... Только не надо никому... Я тебя прошу...

— Що? — возмутился Ковальчук.— Кругову поруку устроить хочешь? Не выйдет. Нехай все знают твою сознательность...

Через двадцать минут паровоз начали гасить.

Отшумели возбужденно-громкие голоса, утихли взрывы раздраженных выкриков, злых насмешек, попреков, обвинений и угроз. Все перекипело, вырвалось наружу, и люди умолкли.

Никитин, с потемневшим и каким-то мученическим лицом, с очками на носу, стоял возле паровоза, как стоят возле покойника,— в тяжелом безмолвии понурив голову, опустив руки.

— Нету еще у тебя, Белоногов, чести рабочей...— с горечью проговорил он.

Алешка стоял рядом, надутый и бледный.

— Будь на то моя воля, я б за таке дило — по шеям и за ворота! — Ковальчук выразительным жестом проиллюстрировал свои слова.

— Слыхали уже! — мрачно огрызнулся Алешка.—И хорошо, что не ваша воля. Я имею право на труд...

— А на какой труд? Ты думал над этим? — Никитин покосился на него сквозь очки.— Только на образцовый, на честный труд наше право...

Урусова сказала:

— На комитете поговорим о правах и обязанностях...

У Алеши внезапно стало жечь глаза, точно кто-то швырнул в лицо горсть раскаленного песку. Он потер их кулаками, понял, что это не песок, а всего-навсего слезы, и кинулся бежать.

Урусова бросила ему вдогонку неприязненный взгляд и перевела глаза на Митю. Он потупился, слегка пригнул голову, будто ожидал удара.

— А ты, Черепанов, еще не комсомолец. Нет...— Урусова грустно покачала головой и отвернулась.

Прибежав на свой участок, Алеша увидел Веру.

— Ты зачем? — закричал он не то испуганно, не то рассерженно.

— Что с тобой? Я принесла карточки. Я должна задержаться. После работы купишь хлеб,— она сунула карточки в карман его спецовки.— В чем дело? Почему ты такой?

— Спасибо Митечке! Предал! Накапал такого... Меня выгнать могут из депо.

Вера взяла его за руки. Пальцы у него были холодные.

— Ты успокойся. Что произошло? Если ты не виноват, разберутся ведь... Успокойся, Леша...

Блестя сухими от злости глазами, глотая слова, захлебываясь, он рассказал, что отремонтировал кран, и Серегин принял у него работу, а Митя заметил, что Алеша ошибся, и сразу донес мастеру. Теперь Алешу обвиняют в недобросовестности...

— Ну, иди, иди,— спохватился он,— а то неудобно...

Вера не подумала, почему Алеше неудобно разговаривать с сестрой. Она сжала его руки, попросила:

— Только не груби никому. Даешь слово?

— Ладно, ладно, иди...

Повернувшись, Алеша увидел Серегина. Он надвигался, как туча.

— Домой и не собирайся, красавец,— прогудел он, глядя в пол.— Малость остынет паровоз, станешь притирать кран. Сам напакостил, сам и прибирай за собой...

А в другом конце пролета в это время Митя складывал в шкафчик инструменты. Тоня Василевская, словно нечаянно касаясь локтем его руки, тихо, вкрадчиво говорила:

— Может, это и не мое дело, но я хотела... Я не понимаю... Неужели ты такой? Зачем ты сказал на него? Зачем донес, как он выражается? Раз он напортил, все равно выяснилось бы. Без тебя. Зачем тебе нужно было? Он же твой друг... Ой, какие у тебя глаза! Как два шила. Вот сейчас проткнут...

Митя вцепился в железную полку шкафа, точно нуждался в опоре.

Возможно, если бы он вовремя «донес» на друга и не дал случиться тому, что случилось, слова Тони вызвали бы у него лишь улыбку сожаления. Но он никому не сказал о делах своего дружка, он смалодушничал, не предотвратил неприятности, в сущности стал Алешкиным сообщником.

И эти рассуждения Тони, почти из слова в слово напоминавшие его собственные рассуждения, за которые он осуждал себя, теперь возмутили его.

— Ты верно говоришь: не твое это дело,— сказал Митя с трудным спокойствием, едва сдерживая неприязнь к девушке.— И давай не будем...

Она примирительно улыбнулась, осторожно положила свою руку на его:

— Чего ты закипел? Просто мне не хотелось, чтоб ты был такой... Неужели он правду говорит — зависть?

Митя выдернул свою руку, применив для этого гораздо большую силу, чем требовалось.

— А мне все равно, чего бы тебе хотелось. И отстань ты со своими разговорами!..

Что-то глухо ударилось об пол. Митя догадался, что какой-то инструмент выпал из Тониных рук. Он сделал было движение, чтобы нагнуться, но сдержался. Тоня тоже не двигалась, изумленно глядя на него.

Впервые он прямо, без страха посмотрел в эти глаза, и свет их показался Мите очень чужим, даже отталкивающим. Ему были неприятны и эти глаза, и старательно уложенные ореховые колечки волос, ему была неприятна сама Тоня за ту власть над ним, из-под которой он вырвался, за ее рассуждения, в которых слышались Алешкины интонации, за то, что она, пускай сама того не подозревая, вклинилась в его отношения с Верой.

И, когда он понял это, ему вдруг сделалось легко, словно волна неприязни смыла с души все, что тяготило, мучило ее.

Он не стал складывать инструменты, а с грохотом бросил их на полку и ушел, не простившись с Тоней. Сейчас он явится к Вере и расскажет ей все. Уж кто-кто, а Вера поймет его.

Митя приближался к конторе, когда из нарядческой показалась Вера. Она посмотрела по сторонам, должно быть, не заметила его и направилась к проходной.

Митя ускорил шаг. Вера тоже пошла быстрее. Он побежал, на ходу застегивая ватник. Только догнав ее, понял, что Вера видела его. Иначе почему она не обернулась на шаги погони, почему не посмотрела в сторону Мити, когда он поравнялся с ней? Но это не убавило его решимости.

— Вера, я хотел с тобой... Мне нужно тебе сказать... Ты не знаешь...

— Напрасно беспокоишься, я все знаю,— она остановилась, хотела смерить его взглядом с головы до ног, но расстояние между ними было так мало, что этого нельзя было сделать.— Все знаю и не хочу, ничего не хочу слышать. Да и что ты можешь?.. Что говорить? Это... это предательство!..

Дернув чуть приподнятым плечом, она пошла своей походкой гордячки — не размахивая руками, высоко вскинув голову.

НОВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Он долго брел морозными, продуваемыми сквозным ветром улицами, не думая, куда идет, зачем. И если бы спросить, о чем он думал только что, ему нелегко было бы ответить: мысли были отрывочны, неуловимо быстры, бессвязны.

Остановился он среди старых сосен, с разных сторон протянувших к нему отягощенные снегом ветви. Вдали просвечивали березы, чудилось, там синеет огромное, спокойное озеро. А рядом высился белый курган, и от него, как от центра, радиусами тянулись занесенные глубоким снегом дорожки, исчерканные следами лыж. Он оглянулся, как оглядывается заблудившийся, стараясь разглядеть, куда завела его дорога.

Это был парк. Небольшой поселковый парк с широкими просеками аллей, лучами сходившимися к клумбе, которая летом напоминала пеструю тюбетейку. На севере парк неожиданно обрывался. Внизу, под кручей, лежала река, похожая сейчас на ровное заснеженное поле. С высоты были видны дальние горы, спокойными, округлыми и нечастыми волнами омывавшие Горноуральск.

Митя не был здесь с того самого дня, когда в дом Черепановых приходил безрукий солдат. И теперь ему вспомнилось, как той памятной ночью он встретил Веру, как пошли они сюда. Вспомнил ее глаза, темные и печальные в неверном свете месяца, ее косы, впервые уложенные вокруг головы, тонкие, слегка курчавые на висках волосы, которые будто светились. Вспомнил ее голос, негромкий и какой-то особенно задушевный в ту ночь...

Ветер принес веселый ребячий гомон, а через минуту в глубине одной из аллей, уже затянутой сумерками, показались лыжники: наверное, школьники проводили здесь урок физкультуры. Митя вдруг застыдился своей праздной неподвижности и поспешил в ближнюю аллею. И тотчас он увидел скамейку, где сидел тогда с Верой. Посредине сиденья снег был примят, на двух чугунных выступах, к которым прикреплялась спинка, белели снежные пампушки, словно приготовленные для кого-то две порции мороженого, только почему-то без вафель.

В ту страшную ночь о землю гулко стучали шишки, и ближняя береза уронила на Верины плечи сухой и звонкий лист, по темному небу проносились рваные тучи: над городом они вспыхивали, раскалялись багрово. Беспокойно шумели деревья, небо то и дело вздрагивало от ослепительных грозовых всполохов, а Вера испуганно прижимала руки к груди.

Вдруг он подумал, что та встреча была совсем не случайной. Конечно же, Вера не просто так разгуливала ночью против дома Черепановых. Она пришла тогда к нему, она боялась, что тяжесть, которая обрушилась на Митю, может сломить его. И она в самом деле как-то облегчила эту тяжесть. И, может, не только простое сочувствие привело ее тогда... А сегодня сказала — «это предательство»...

Ему стало больно от мысли, что Вера имела в виду не только происшедшее между ним и Алешей, но и его, Митино, отношение к Тоне Василевской. В этом-то уж она была права, до

ужаса права. Как он мог поддаться этой колдовской девчонке? Предательство. И Вера никогда не простит его.

Той ночью в парке они говорили о воле, о будущем, о счастье, и Митя доказывал, что «везет — не везет» — сущая чепуха, что все зависит от самого человека. Видимо, он был и прав и неправ. Все-таки ему не везло. Что он мог поделать с существующими на свете несправедливостями — хочешь сделать человеку добро, а получается зло и для этого человека и для других? Смалодушничал, не «выдал» друга и стал его соучастником, предателем. И почему так устроено, что сознание приходит не раньше, чем посадишь себе на лоб отменную шишку? Но неужели Вера понимает это «предательство» так же, как Алешка и Тоня! Неужели она не захочет разобраться, понять?

Домой он пришел затемно. Сославшись на сильную усталость, улегся в постель и, чтобы избежать расспросов, отвернулся к стене, закрыл глаза.

Он слышал, как в столовой часы пробили одиннадцать раз, потом двенадцать. После полуночи часы будто взбесились: только что они пробили час ночи, а вот уже стучат три раза...

Забылся он только под утро. И, казалось, в ту же минуту услышал голос матери:

— Димушка, вставать пора...

Не заходя на участок, чтобы не встретиться с Тоней, Митя направился в конторку мастера. Что и говорить, после вчерашнего придется, наверное, трудновато, но будь что будет!

Когда он выходил от Никитина, навстречу ему шел Ковальчук.

— Ну, здорово, лыцарь!

Митя обрадованно ответил ему крепким пожатием:

— А я думал, ты мне и руки теперь не протянешь.

— Я б тебя солдатским ремнем перетянув...— в серых глазах Ковальчука блеснули вчерашние недобрые искорки.

— С меня хватит! — Митя толкнул носком сапога валявшуюся обрубленную головку болта.

Ковальчук поинтересовался, зачем он ходил к мастеру, и Митя сказал, что по просьбе Силкина лишнее время пробыл в гарнитурной группе, а больше засиживаться не видит смысла.

— А мастер що?

— С сегодняшнего дня — в дышловую группу, к слесарю Паршукову.

— До Паршукова? — Ковальчук так сморщился, будто укусил что-то ужасно кислое.

— Я его видел, человек как человек.

— Куркуль.

— Что, что?

— По-русскому — кулак. Понятно тебе?

Митя удивленно поднял брови:

— Кулаков, по-моему, давно нету.

— Куркулей-то, слава богу, нема, а замашки, браток, ще живут...

Не совсем понятный смысл этих слов раскрылся Мите скорее, чем можно было ожидать. Он доложил Силкину, что его переводят в другую группу, выслушал лестную, но довольно тягучую, на одной ноте, тираду о том, что с добрым работником приятнее здороваться, нежели прощаться, и направился на новый участок.

Проходя мимо покоящегося на домкратах паровоза, Митя вдруг услышал свою фамилию. Он оглянулся. Поблизости никого не было. А по другую сторону паровоза стояли друг против друга Никитин и слесарь Паршуков, длинный и тонкий человек с длинным, узким носом и ввалившимися глазами.

Митя видел их, словно на киноэкране, в прямоугольном вырезе паровозной рамы.

— Дайте кого другого, Степан Васильич,— хмуро просил Паршуков.

Из-под плоской лоснящейся кепки у него торчали прямые, серые волосы. Седая щетина топорщилась на его щеках, подступала к самым глазам, угрожающе лезла из ушей, из длинных узких ноздрей, похожая на иглы. Даже маленький, выдавшийся вперед острый подбородок и тот грозился уколоть.

— Вроде ты с неба свалился. Вынул и дал тебе слесаря шестого разряда! — Мастер сунул руку в карман спецовки, тут же выдернул ее и дунул на пустую ладонь.

Человек средних лет, работавший возле дышел, подмигнув Никитину, повернулся к Паршукову:

— Не пойму я тебя, Савелий Прохорыч. Разряда у парня нету, стало быть, он на твой наряд стараться будет, сплошная выгода...

— Ни разряда, ни уменья нету. Я лучше сам по себе,— осторожно и по-прежнему хмуро попросил Паршуков.

— У тебя одна забота — о себе думать, а мне о кадрах нужно заботиться.

— Кадра! — Паршуков болезненно скривил губы и, отвернувшись, трубно высморкался с помощью двух пальцев.— Его ж еще учить да учить.

— И поучишь.

— А робить за меня кто будет?

— Успеешь. Люди успевают.

Паршуков наклонил голову, словно собирался боднуть мастера.

— Ну да, бери на свою шею! Через учительство это и не заробишь ни черта.

— Заробишь, заробишь! — сердито передразнил Никитин.—

И когда ты стонать перестанешь, Савелий Прохорыч. Человека за рублем не видишь.

— «За рублем»! — Паршуков хлопнул себя по тощим бедрам.— Работничка всучиваете, а ты нянчись с ним в убыток себе и помалкивай, так, что ли?

— Базарный разговор,— повысил голос мастер. Он протирал очки, и чувствовалось, что ему стоит больших усилий сохранить спокойствие.— «Убыток, всучиваете»! И слова-то базарные. А парень как раз работящий, с соображением...

Паршуков отмахнулся:

— Видал я этих знатных сынков... Пользы от них — что с козла молока...

Паровоз, казалось, слегка покачнулся на домкратах. Шапка вдруг стала больно сжимать Мите виски, он сдвинул ее на затылок и с трудом оторвал от пола отяжелевшие ноги.

Он вышел из депо, пересек один путь, другой, третий. Свисток паровоза, сильный, требовательный, остановил его. Паровоз шел ему наперерез и словно кричал: «Куда, куда, куда!»

Митя замер, потом всем телом подался назад. Его обдуло железным грохотом и тугой волной сухого теплого воздуха, а перед глазами часто замелькали дышла, красные спицы колес.

Только когда паровоз прошел, Митя ощутил разлившуюся по всему телу слабость. Простояв несколько минут, он перевел дух и потащился обратно в депо.

— Не пойду я к Паршукову,— с порога конторки сказал он дрогнувшим от возмущения голосом.— Я все слыхал, Степан Васильич. Я не подслушивал, так вышло. Не пойду я...

Никитин снял очки и, понурив голову, стал протирать стекла большим клетчатым платком.

— Плохо, что слыхал,— будто вслух подумал мастер.

— Нехороший он человек. Жила,— быстро проговорил Митя.— Не нужен он мне. Копеечник, куркуль! Направьте, Степан Васильич, к кому другому...

Никитин дал Мите выговориться, улыбнулся:

— Насчет характеристики не спорю, Черепанов. Мужик он и вправду прижимистый, несговорный, а работник добрый. Для тебя это главное...

— При чем тут «знатный сынок»? — голос у Мити опять задрожал.— Знает он меня, что ли? Какое он имеет право? Если ни к кому больше нельзя, уйду обратно к Ковальчуку. Не хочу ни у кого на шее сидеть. Пускай все по-старому...

Мастер подошел к Мите так близко, что тот увидел пылинки, оставшиеся по краям овальных стекол очков.

— Выходит, сдаешь позиции? — негромко сказал Никитин.— Однако не думал я, что ты такой слабый человек. Сказать мастеру, что приятель брак допустил, смелости не хватило, от задумки своей враз открещиваешься. Это одна цепочка...

Митя молчал.

— Ну, ляпнул человек, а ты мимо ушей пропусти,— тише и теплее заговорил Никитин после паузы.— Твое дело — учись, вытягивай из него науку, и все. Было время, дорогой, мы у своих врагов заклятых учились, а тут, как-никак, не враг, свой человек. Тяжелый, да свой. Так-то, Черепанов...

Паршуков изредка взглядывал на своего ученика ввалившимися стылыми глазами, и Митю кидало то в жар, то в холод от этих взглядов. Слесарь не утомлял его ни разговорами, ни поучениями. Несколько отрывочных пояснений — и долгое молчание. Митя напряженно следил за каждым движением слесаря, угадывал, какой нужен ему инструмент. И Паршуков не успевал слова вымолвить, как инструмент оказывался у него в руках. Он чаще стал посматривать на ученика, не тая удивления. Митя же умышленно отворачивался или опускал глаза, думая с незатухающей обидой: «Я тебе покажу, есть польза или нету!»

Когда он возвращался с обеда, его догнала Тоня Василевская:

— Кажется, ты сильно влип?

Он повернулся к ней, еще не понимая, о чем она говорит.

— Попал к дикобразу. Ведь Силкин советовал тебе остаться у нас. Теперь придется расхлебывать...

Ему послышались нотки злорадства в этих словах. И он сказал сухо:

— Что ж, сам и расхлебаю. В компанию никого не позову.

— И зачем только ты к нам пришел? — вздохнула Тоня после молчания.

Митя отлично понял смысл этих слов, но теперь они не тронули его.

— Куда это — «к нам»? — улыбнулся он.

— В нашу группу, конечно,— задумчиво ответила Тоня.

— А я думал, к вам в депо,— насмешливо проговорил Митя.

Тоня безнадежно посмотрела на него.

СОКРОВЕННОЕ ЧУВСТВО

Выйдя из нарядческой, Вера остановилась на пороге. Весь день на сердце у нее было так пасмурно, что она даже удивилась — как солнечно, как чудесно на дворе.

Ей хотелось перед заседанием комитета повидать Алешку, но старший нарядчик задержал ее, и, когда она пришла в цех, Алеши уже не было там.

Возвращаясь из депо, Вера вспомнила, что утром, когда о заседании еще не было известно, она условилась с Тоней Василевской «помудрить» после работы над оформлением новой газеты.

Вера нашла ее в комнатушке за красным уголком, где обычно собиралась редколлегия. Возле стола в разноцветных застарелых пятнах, подперев голову руками, сидела Тоня. Перед ней лежал лист бумаги в клеточку с перечеркнутым наброском карикатуры.

Откинув на плечи шаль, Вера подсела к столу и поняла, что Тоня расстроена.

— Ты уже начала, я вижу? — спросила она.

— И как видишь, не получается,— встрепенувшись, иронически улыбнулась Тоня.

Но оживление, которое она пыталась изобразить, не удалось. Она откинулась на спинку стула, а руки, худенькие и темные от въевшегося мазута, остались расслабленно лежать на столе.

— Неприятность? На работе что-то?

— В жизни, Верочка.

Она сказала это с такой прорвавшейся вдруг безнадежностью, что Вера всем телом потянулась к ней. Тоня взяла ее руку своими твердыми руками, посмотрела внезапно засиявшими глазами с таким выражением, словно решалась на что-то.

— Скажи, у тебя такое бывало,— зашептала она.— Только-только просыпаешься и уже думаешь о нем... Идешь куда-нибудь, сидишь на лекции, работаешь — и все о нем, о нем. Ну как тебе объяснить... В общем, об одном человеке. И даже когда его нет возле тебя, все равно говоришь с ним. Скажи правду, было с тобой такое?

— Ох, и напугала ты меня! — засмеялась Вера.— Я думала, что-то серьезное...

— Серьезное? — печально повторила Тоня и задумалась.— Я знаю, это, может, нехорошо: такое время, а я... И ничего не могу сделать с собой.— Она вдруг сжала Верины пальцы.— А ты? Тебе это знакомо?

Вера покраснела и некоторое время с преувеличенным интересом рассматривала перечеркнутый набросок карикатуры. Она вообще была замкнутой и за всю жизнь только с одним человеком была откровенна без остатка — с Симой Чернышовой, верной подругой, с которой дружила с шестого класса. Но с тех пор как Сима поступила в университет и уехала из Горноуральска, Вера ни с кем не делилась радостями и печалями, неизбежными девичьими тайнами. С Тоней же она не могла быть до конца откровенной еще и потому, что с беспокойством догадывалась, кто был тот «один человек».

— Все, все знакомо, Тонечка. Но не так уж, чтоб с утра и до ночи, все время, без передышки,— сказала она, не поднимая глаз и не зная, зачем говорит неправду.— Просто у тебя, наверное, в сильной форме, как выражаются медики...

— У меня все бывает в сильной форме. Болела корью, потом

скарлатиной — тоже в сильной форме. И теперь вот... А было, чтоб тебя не замечали? — она все еще держала Верину руку и настороженно смотрела ей в лицо.

— То есть как — не замечали? — В глазах Веры мерцали не то беспокойные, не то насмешливые огоньки.

— А так... Ты всей душой, а на тебя ноль внимания. Даже будто не видят...

Вера закрыла руками внезапно запылавшие щеки.

— И такое было однажды,— она опустила голову, чтобы Тоня не увидела ее лица,— но, скорее всего, это мне показалось...

— Счастливая! — вздохнула Тоня, а взгляд ее сказал: «И зачем я все это говорю тебе? Ведь ты все равно не поймешь меня».

Она придвинула к себе коробку, высыпала на стол цветные карандаши и, взяв один из них, стала чертить на тетрадном листе синие параллельные линии.

Вера быстро поднялась, подошла к окну. Захваченная смешанным чувством радости от услышанного и жалости к Тоне, она глядела в окно, ничего не видя, до боли кусая губы.

— Как можно тебя не замечать,— наконец сказала Вера.— Ты такая красивая. Алешка, например, говорит, что ты самая красивая девушка в депо...

Тоня грустно улыбнулась.

И вдруг сомнение обожгло Верино сердце: а если Тоня говорила вовсе не о нем, а о ком-то другом?

— Послушай,— сказала Вера так, словно только что прибежала сюда,— разве Митя не замечает тебя?

Тоня вздрогнула, отложила карандаш:

— Откуда... Как ты узнала?

Вера поспешно расстегнула потертый беличий воротник шубы, с облегчением улыбнулась:

— Наблюдательность, милая моя.

Внезапная надежда осветила лицо Тони:

— Он говорил что-нибудь?

— Говорил, что слесарь пятого разряда Тоня Василевская беспрерывно и безжалостно жалит его. Больше ничего.— Вера опустила все сильные слова, на которые Митя не поскупился тогда.

— Сама во всем виновата,— горько раскаивалась Тоня.— Сама. Можно, я думаю, опротиветь человеку, если, кроме колкостей и насмешек, он ничего не слышал от тебя. Ты хорошо знаешь его? Он ведь давно с Алешкой? Расскажи о нем, я тебя прошу...

Вера прошлась по комнате, испытывая какое-то неведомое бурливое и тревожное чувство. И, борясь с этим чувством, она заговорила холодновато и безразлично:

— Не знаю даже, что и рассказывать. Самый обыкновен-

ный мальчишка. Дергал меня за косы, подкладывал на парту кнопки, бойкоты мне устраивал вместе с Алешкой. Иногда двоечки хватал. Что еще сказать? — Она стояла против света, и Тоня не могла видеть ее глаз, лучившихся веселым лукавством.

— Нет, не знаешь ты его! — со страстной убежденностью проговорила Тоня.— Он такой... он совсем необыкновенный. Сколько у нас таких ребят — с ними еще двух слов не скажешь, а они уж за руки тебя хватают. А Митя... ты видела, как Митя краснеет? Ясный он какой-то и весь на виду, просто светится весь...

— Вполне возможно,— сдержанно отозвалась Вера.

Помолчав, Тоня мечтательно сощурилась:

— Так хотелось в ответ большого-большого чувства. Такого чувства, чтоб дух захватывало...

— А мне кажется,— Вера отвернулась к окну,— мне кажется, о большом, о настоящем чувстве не говорят. Никому. Это свое, самое дорогое, сокровенное. И как-то даже нехорошо и боязно говорить. А у тебя, я думаю, это так... что-то мимолетное...

Опустив голову, Тоня бесцельно перебирала карандаши:

— Я тоже скрывала, Верочка. Никому не рассказывала, боялась чего-то. А теперь все равно. Работали вместе, и то не замечал. А пройдет месяц — встретит и вовсе не узнает...

Тревожащее сердце чувство опять завладело Верой. Оно вмиг погасило жалость к Тоне, всколыхнуло и подняло что-то злорадное, насмешливое, озорное. Вера испугалась этого чувства, но поняла, что не сможет с ним совладать.

— Отчего же, узнает,— сказала она.— У него, по-моему, прекрасная зрительная память...

Тоня поднялась, приоткрыла дверь и, посмотрев на часы, схватилась за голову:

— Поработали, называется! Тебе уже пора на комитет... Задурила я тебе голову своими несчастьями,— как бы извиняясь, добавила она,— а тебе совсем не до того. Ах, Алешка, Алешка...

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Маня Урусова была человеком мягкой и чуткой души, но она становилась суровой и беспощадной, когда сталкивалась с человеческими пороками.

Урусова коротко рассказала собравшимся о поступке Алексея Белоногова и выразила надежду, что сам он дополнит ее сообщение. Только сейчас члены комитета взглянули на Алешку. Он сидел возле окна, прямой, красивый и, казалось, спокойный.

Слушая комсорга, Алешка думал, что это очень хорошо, что Урусова собрала комитет на третий день,— острота уже спала и, может быть, все обойдется более или менее благополучно. В конце концов, что такого он сделал? Преступление совершил, что ли? Умышленно плохо притер кран, чтобы паровоз в срок не мог выйти из депо? Ничего похожего! Он ошибся. А ошибок, известно, не делают только те, кто вообще ничего не делает. Если же говорить о праве на ошибку, то кто имеет такого права больше, чем недавний ученик?

Эти мысли несколько успокоили и ободрили его. Но когда Урусова кончила говорить, он ссутулился и почувствовал, что ворот рубашки прилип к шее.

Урусова села. В комнате стало тихо. Алеша медленно, будто с трудом поднялся, переступил с ноги на ногу и окинул всех скользяще быстрым и каким-то ищущим взглядом. Все было бы ничего, но в углу, возле сейфа, опустив голову, сидела Вера, а у противоположной стены — Серегин. Зачем его позвали на заседание комитета? Длинные губы его были крепко сжаты, а на прыщеватых пунцовых скулах ходили тугие бугры желваков. Хорошо еще, что Митю не пригласили...

Пристально рассматривая свои руки, Алеша сказал негромко:

— Я даже не знаю... Мне нечего дополнить. Конечно, плохо получилось. Очень даже плохо. Ну, в общем, ошибся я...

— Постарайся говорить яснее. Надо же разобраться, как это вышло.— Урусова волновалась и чаще обычного откидывала со лба короткие волосы.

— Ну, притирал я кран. Мне хотелось побыстрее и получше, а кран, как назло, не притирался. Как говорится, заколодилось дело. Помучился я с ним, наконец-то сделал. Сказал Серегину... старшему слесарю товарищу Серегину. «Ладно, говорит, притер?» «Ладно»,— говорю. Он не стал проверять и подписал наряд. А кран... В общем, ошибка вышла. Чересчур поспешил и людей насмешил...

— Если б только насмешил,— заметил кто-то.

— А дальше все знают,— закончил Алеша и нетерпеливо посмотрел на Урусову.

Ему хотелось поскорее сесть, спрятаться от всеобщего обозрения. У него почему-то горели пятки.

— И все? — спросила Урусова.

Алеша раскинул руки:

— Что ж еще? Ну, виноват, я уже говорил. Но я потом сам исправил кран...

— Геройство! — вставил тот же насмешливый голос.

— Вопросы есть? — Обводя глазами собрание, Урусова перебросила взгляд, чтобы не встретиться с Алешей.

Чижов заерзал на скрипучем стуле, поднял руку и тут же заговорил своим спокойным, с ленцой, голосом:

— Я Белоногова не знаю, товарищи. Может, он и самостоятельный и честный паренек. А послушать его, ровно чего-то он не досказывает, ровно прячет от нас что-то. Дескать, хотелось побыстрее, но не получалось. Потом получилось, а на поверку оказалось — брак. Что-то тут не того...

Ощущение, что Белоногов не до конца искренен, было у всех, и люди молчали с тяжелым чувством. Вера уловила это настроение, сердце ее сжималось от жалости к Алеше. Почему они не верят ему? Неужели трудно понять: мальчишка волнуется и не может объяснить толком. Боже мой, что сейчас у него на душе! Удивительно, что Маня держится так откровенно сурово.

Все эти дни после происшествия с Алешкой Вера, избегая расспросов и разговоров о брате, почти никуда не показывалась. Единственно, с кем ей хотелось поговорить,— это с Урусовой, но она так и не смогла увидеть комсорга и теперь особенно жалела об этом.

Алеша понял, что все доводы, казавшиеся ему вполне убедительными, произвели совсем не то впечатление, на которое он рассчитывал. Повернув голову к Чижову, он улыбнулся короткой, слегка заискивающей улыбкой:

— Ничего я не прячу. Я считал, что хорошо притер, иначе как же... Если бы я знал...

— А тебе нихто не казав, що ты спартачив? — высунулся из-за чьей-то спины Ковальчук.

Алеша сделал такое движение, словно его стегнули между лопаток.

— Тот, кто мне говорил, не больше моего разбирается,— глухо отозвался он и вытер ладонью лоб.

— То ты так считаешь. Однако ж он тебе дело казав...

— Какие-то загадки. О чем речь?—решительно вмешался токарь механического цеха.

— А нехай Белоногов сам расскажет.

Алеша робко посмотрел по сторонам, покашлял, явно оттягивая время.

— Ну, когда я работал, ко мне Черепанов подошел, покрутил кран и говорит: плохо притерт...

— Почему же ты не послушал его? — подняла голову Урусова.

— Я в это время уже сдал работу. А кто для меня авторитет — ученик Черепанов или Серегин... старший слесарь товарищ Серегин?

Вера смяла в кулачке угол серой шали, которая лежала у нее на плечах, и, словно боясь вскрикнуть, приложила кулачок к губам.

— При чем же тут авторитет, если Серегин не принимал у тебя работу? — жестко сказала Урусова.

Было похоже, что Серегин сидит не на стуле, а в лучшем случае на раскаленной печке. Он с такой силой сцепил пальцы, что они хрустнули и побелели.

А Ковальчук не унимался. Вперив в Белоногова свои серые глаза, в которых появился холодновато-стальной отблеск, он поинтересовался, что было после того, как Черепанов обнаружил плохо притертый кран.

«Митечкин наставник. Клещ проклятый!» — Алеша негодующе взглянул на него исподлобья и громко, с ожесточением заявил, что после этого Черепанов побежал «докладывать по начальству».

Ковальчук презрительно рассмеялся:

— Эх, Белоногов, Белоногов, здорово ж тебя совестью обделили! А товаришку твоему, Черепанову, трошки б духу занять у кого-нибудь. Через то и вышла вся беда, що не хватило у него духу доложить начальству, тебя пожалел... Только я пытав, що дальше у вас было, ответа нема...

Алеша вдруг раскрыл рот и, забыв закрыть его, мешковато опустился на стул. Тогда Ковальчук рассказал о том, что удалось ему «выудить» у Черепанова и о чем умолчал Белоногов, хотя ему был брошен спасательный круг наводящего вопроса. А умолчал он вот о чем. Черепанов не только подметил брак, не только покритиковал Белоногова, и довольно основательно, но и предложил свою помощь. Выкроив время, он прибегал к Белоногову, чтобы исправить кран, но Белоногов заявил, что уже сдал работу, и вдобавок обругал товарища.

— Ось так, Белоногов, и треба было выложить собранию. А то вытягуешь, вытягуешь из тебя правду, а вона не идет. Неначе в тебе хорошо притертые краны стоят, щоб и капельки правды не выпустить...

Вспыхнул смешок и сразу же погас. Токарь механического цеха со строгим лицом спросил, почему не вызвали Черепанова.

— Мы говорили с ним,— поднялась Урусова.— Ковальчук, Чижов и я. Сильно переживает, просто жуть. Твердит, что он один во всем виноват. Конечно, Черепанов показал, что ему еще кое-чего важного не хватает... Но так близко к сердцу принял, что даже утешать пришлось. Мы посоветовались и решили не вызывать. Потом же срывать с занятий не хотели...

Токарь одобрительно кивнул темноволосой головой:

— А вот про Белоногова не скажешь, что он понял что-нибудь, осознал.

— Т-так вы хотите, чтоб я сказал, что я нарочно так кран притер, да? — вскипел Алеша.

— Было б это так, тебя бы трибуналом судили! — токарь поднялся и, заложив за ремень пальцы, собрал назад гимна-

стерку. Сейчас, когда лицо его разгорелось и напряглось, на щеке и на лбу белой полоской обозначился шрам.— Если солдат не выполнил задания и сорвал операцию, его судят. А тут у нас нешто не фронт? Только и того, что тебя никто не бомбил, мог спокойно притереть кран на совесть. А ты сорвал наступление. Настоящее наступление. Да еще ничего не понимаешь или прикидываешься. Мое предложение — исключить Белоногова из комсомола, скорей во всем разберется...

Речь бывшего фронтовика вызвала наружу все, что кипело в душе у каждого. Один за другим говорили члены комитета, говорили горячо, круто. Смена дала слово на два часа раньше срока выпустить паровоз. Два часа — это нелегко: рабочих рук в депо не хватает. Два часа — не шутка, когда на дороге не хватает паровозов. А для Белоногова слово его товарищей, наверное, ничто. Не почувствовал Белоногов ответственности комсомольца, не дорожит он ни своей рабочей честью, ни честью бригады...

Выступил и Серегин. Пока он каялся, бранил себя за доверчивость и проявленную халатность, язык у него ворочался трудно, нужные слова отыскивались мучительно, с натугой. Но, заговорив о Белоногове, распалился, заявил, что не желает «через кого-то терпеть такой срам», что и одного дня работать не будет с «этаким хлюстом».

Алешка с презрением поглядывал на его красное, бугристое, словно апельсиновая корка, лицо с длинными мокрыми губами, на прямой, будто срезанный затылок и удивлялся, что не замечал раньше, как безобразен Серегин.

Пожалуй, одна лишь Вера сидела молча. Но, взглянув на нее, Алеша понял, что сестра ненавидит его. И в этот момент она попросила слова.

Во время заседания Вера несколько раз испытывала состояние, какое бывает во сне: хотелось кричать от негодования, а голос вдруг пропал, хотелось подбежать к Алешке, отхлестать его что есть силы по бесстыжим щекам, но руки и ноги не действовали, словно их не было у нее вовсе. Она сидела ошеломленная и несчастная. Ей казалось, что товарищи не сводят с неё глаз, хотя никто не смотрел даже в ту сторону, где она сидела. Но, по мере того как шло заседание, возмущение вытеснило все другие чувства, и она порывисто подняла руку.

— Я не собиралась говорить, — шатким голосом начала Вера.— Я думала, что все не так. Но теперь я не могу, я должна, я хочу, чтобы все поняли, почему так получилось у Алешки... у слесаря Белоногова. Он притирал кран. У него не получалось. Квалификации еще на грош, а самомнения — на троих, не меньше. И он думал: «Четвертый разряд присвоили, а я в норму не могу уложиться. Что скажут». Вот что его беспокоило. Свое «я». Не честь бригады, не обязательство, не ответственность —

он о себе думал, только о себе. Это в его характере. Чтоб только не подумали, что он не справляется, ничего и никого не пожалел. Пусть он скажет, что это не так, пусть...— Вера на секунду умолкла, и все услышали ее дыхание.— Мне очень тяжело это, но я не могу... Надо что-то делать... Говорят, труд облагораживает. А у него... Может, надо было дома все это высказать. Но я считала своим долгом... И потом, дома уже не раз говорили... Вот и все. Я тоже за строгое наказание...

Она прислонилась к холодному железу сейфа и не села, а как-то бессильно опустилась на стул. И сидела опустошенная, с сухими от отчаяния глазами, с разлившейся по всему телу слабостью, какая бывает после тяжелой болезни.

Тем временем Маня Урусова, катая меж ладонями граненый карандаш, медленно, задумчиво говорила:

— Много тебе сказали сегодня, Белоногов. Много очень горького, да зато верного,— есть над чем подумать. И если ты хорошенько задумаешься, то и вывод сделаешь, какой следует. А крест на Белоногове ставить рано.— Она повысила голос: — Рано, товарищи. Он такой человек, что сможет выправиться, у него есть все для этого. А мы поможем. Поэтому, я думаю, нужно ограничиться выговором. Послушаем Белоногова и будем голосовать.

Ждали в полной тишине. Никто не торопил его. Наконец он поднялся и, глядя в пол, проговорил чуть слышно:

— Здесь все правильно сказали. Я заслужил. Только я прошу... Я постараюсь...— и он сел.

Токарь снял свое предложение, и все проголосовали за объявление Белоногову выговора с занесением в учетную карточку.

Едва Урусова закрыла заседание, Вера медленно вышла из комитета. Во дворе она накинула на голову шаль и вдруг увидела перед собой Алешу. Лицо его, такое жалкое еще несколько минут назад, было злым.

— Ну? — с вызовом сказал он.— Решила стать вторым Павликом Морозовым? Но памятника тебе не поставят, не надейся...

— Наглец! — прошептала Вера. У нее не было сил даже возмущаться.— Весь изоврался, запутался во лжи! Эгоист. Финики помнишь?

— Дорвалась до трибуны. Верх сознательности! Этого я тебе никогда не забуду!

Он ушел. Снег сухо заскрипел под его быстрыми шагами. Вера осталась стоять. Слезы душили ее. Внезапно сильные руки мягко обняли Веру, и она услышала голос Мани Урусовой, почувствовала на своей щеке тепло ее дыхания.

— Ну вот еще! Не надо, Веруха. Ну, неприятно, плохо, что говорить, а ты держи себя. Парень нелегкий, да не таких об-

ламывали. Хватит, успокойся. Дай я тебе слезки утру. А ты знаешь, что плакать вредно: глаза выцветают? Тем более на морозе...

«Я ЗНАЛ, ЧТО ТЫ ПОЙМЕШЬ...»

В это время в десятом классе «Б» вечерней рабочей школы шел последний урок. Пожилая учительница говорила с огорчением и недовольством:

— Садись, Черепанов. Двойка. Плохо у тебя с оптикой, а ты на уроке занимаешься рисованием каких-то бессмысленных узоров! Друг твой Белоногов еще лучше сделал — совсем не явился... Ты что, не слышишь меня? Можешь садиться..— и учительница нервно передернула плечами.

Митя аккуратно положил круглый мелок, не спеша потер ладонь о ладонь и направился к своей парте.

«Комитет наверняка уже кончился,— думал он.— Нагнали Алешке пару. Скоро звонок — и к нему. Пускай ругается, дело его, а пойду...»

Как только из коридора послышался дребезжащий звонок, Митя, схватив учебники и тетради, вскочил из-за парты. Но давным-давно известно, что, когда торопишься, непременно произойдет какая-нибудь задержка. Так случилось и теперь. Пришлось выслушать назидание о правилах школьного распорядка, которые, по мнению учительницы, можно было усвоить за десять лет, об уважении к педагогу и в довершение — замечание о непонятных и огорчительных переменах, происходящих порой с учениками. В результате Митя вышел из класса минут на десять позже.

Он сбежал с каменных ступенек, вылетел за ограду и остановился как вкопанный: перед ним в полукруге света, падавшем от фонаря, в шубке со старым беличьим воротником и серой шерстяной шали стояла Вера. Лицо у нее было измученное.

— Вера? — спросил он, точно не доверял своим глазам.

Она молча смотрела на него с неменьшим удивлением, будто открыла в нем что-то новое, чего не видела раньше. И в самом деле, крутой смуглый Митин лоб, широко разлетающиеся брови, темные беспокойные глаза, крупные яркие губы и чуть выдавшийся вперед упрямый подбородок с ямкой — все лицо его, будто светившееся волей, удивленным добродушием и доверчивостью, показалось ей каким-то новым и поразительно красивым.

— Я пришла,— наконец выговорила Вера.— Можешь относиться ко мне как хочешь... я очень виновата...— Она сдернула варежку и протянула ему руку.

Рука у нее была мягкая, закоченевшая. Митя осторожно стиснул ее и не выпустил.

— Я так нехорошо думала о тебе...

— Ладно, не будем об этом,— прервал он ее счастливым шепотом.— Я знал, я знал, что ты поймешь, все поймешь!

Рука Веры, словно маленькая замерзшая птаха, отогреваясь, вздрагивала временами в его большой теплой руке, но выпорхнуть не пробовала. А Митя, чтобы не спугнуть ее, боялся пошевелить своей рукой.

— Ведь я же не знала, что ты уговаривал его, предупреждал, — быстро, горячо говорила Вера. — Я думала, все было совсем по-другому...

— Ну, не надо,— просил Митя.

— А после того, как предупредил его, надо было прямо к мастеру. Не дошло бы до этого...

— Что Алешке? — спохватился Митя.

— Выговор с занесением.

— Сильно! — выдохнул он.

— Раньше только читала, как тяжело судить близкого человека, а сегодня испытала.

— С работы не тронут?

— Куда же его такого? Совсем покатится,— с пробудившейся злой досадой ответила Вера.

Она зябко повела плечами, постукала валенком о валенок, и Митя подумал, что Вера долго ждала его на холоде.

— Ты замерзла,— сказал он.— Смотри, как дрожишь...

— Ничего, это не от холода, это пройдет. Я не хочу домой,— тоном просьбы проговорила Вера, словно Митя мог настоять, чтобы она шла домой.

Он взглянул на нее заблестевшими глазами:

— Пойдем... знаешь куда?

— Знаю...— тихо ответила Вера.

Митя не поверил, что она угадала. Вера тотчас поняла это и посмотрела в сторону темневшего за школой парка.

Он порывисто сжал ее пальцы, закивал головой.

— Давай припустим... чтоб тебе согреться...— и не выпуская ее руки, сорвался с места.

В это мгновение по каменным, белым от снега ступеням медленно спускались двое пожилых преподавателей — физичка и математик.

— Этот молодой человек,— сказала физичка,— несколько минут назад получил двойку.

— Можете не тревожиться,— отвечал математик,— насколько я понимаю, он побежал не вешаться и не топиться...

За воротами физичка проговорила, будто с чувством неловкости:

— Спугнули мы их...

— А я склонен думать, у них были более серьезные причины,— сказал математик и поднял воротник шубы.

НЕЖДАННАЯ ПОХВАЛА

Утром, подавая Мите завтрак, Марья Николаевна спросила:

— Ну, что, Паршуков-то твой, не оттаял?

— Не поймешь его,— торопливо пережевывая, улыбнулся Митя.— Сам говорит: «Спрашивай, парень», а начнет объяснять, сам себя обрывает: «Хватит лекции читать, с тобой и на курево не заробишь...»

— Скупой,— с досадой отозвалась Марья Николаевна. И, помолчав, добавила задумчиво: — А папаня твой говорил: который человек только копит уменье да опыт и при себе прячет — тот бедняк. А щедрый человек, который для людей ничего не жалеет,— завсегда богатый... Он и сам был такой, наш папаня...

— Сегодня двадцатый день, как я у Паршукова. И хотя б одно доброе слово от него услыхал!..

За эти двадцать дней произошли кое-какие перемены. Митя помирился с Алешкой. Серегин отказался работать с ним, а старший слесарь второй арматурной группы Ковальчук не захотел взять его к себе. Но Митя все-таки уговорил Ковальчука, и Алеша расчувствовался: «Честно скажу — думал, ты простил меня так, на словах. Но я тоже смогу быть настоящим другом!»

На днях Ковальчук сказал, что он доволен Белоноговым: «На поправку идет парень. Никитин сказав про него: «Всем ничего парень, только с зайцем в голове». Та це не беда, мы того зайца в лес выгоним...»

И только в отношении Паршукова к своему ученику не было перемен. Митя каждый день ждал, что слесарь откажется от «учительства» или, воспользовавшись каким-нибудь промахом, выставит его из своей группы...

— Сегодня Максима Андреевича паровоз на ремонт ставят,— озабоченно сказал Митя, поднимаясь из-за стола.— Хотя б перед стариком не ославил меня уважаемый Савелий Прохорыч...

— А ты не думай про это. Работай и ни про что не думай...

Марья Николаевна вышла в сени проводить сына. Отодвинула обросший инеем железный засов и не успела еще толкнуть дверь, как она сама с шумом распахнулась, словно кто-то дернул ее с бешеной силой. Снег и ветер ворвались в сени. А Митя, пригнув голову, шагнул на крыльцо и исчез в белой мгле.

Паровоз № 14-52 уже стоял в депо. Митя кулаками протер залепленные снегом глаза и быстро направился к машине. Здравствуй, «Колюша», старый добрый друг, свидетель дублер-

ских радостей и крушений! Здравствуй, товарищ первых трудовых дней, первых разочарований и надежд! Когда же наконец настанет день нашей новой встречи? Митя обошел вокруг паровоза и увидел стоящих возле дышел Паршукова и Максима Андреевича. Он невольно ускорил шаг, почти подбежал к машинисту.

— А ты ровно еще вытянулся.— Не выпуская Митиной руки, Максим Андреевич внимательно оглядывал его.— Хотя б когда наведал старика. Совсем забыл...

— Что вы, Максим Андреич! Ведь я почти без роздыха, как заводной: депо, школа, уроки...

— И то верно. Ну как, одолеваешь слесарную науку?

— Стараюсь.— Митя с опаской покосился на слесаря.

— А ты что скажешь, Савелий Прохорыч? — обратился машинист к Паршукову.

В глубине темных и хмурых глаз Паршукова что-то затеплилось.

— Слушается его металл, Максим Андреич...

— Похвально! — Старик положил руку на Митино плечо, а тот едва устоял на месте от нежданной похвалы.— Рад за тебя, голубок...

Митя расспрашивал о Чижове, Самохвалове и узнал, что Тихон Чижов месяц назад «пересел на правое крыло», ездит машинистом, а Миша Самохвалов — с ним теперь не шути! — произведен в помощники. И тут же он услыхал хрипловатый, захлебывающийся голосок:

— Привет братьям-слесарям!

Семеня ногами в обшитых кожей валенках, Самохвалов спустился с паровоза, подошел к Мите. Цыганские глаза его светились, а маленький нос, показалось Мите, еще круче вздернулся.

— Поздравляю!— протянул руку Митя.— Мне Максим Андреич рассказал.

— Да, растем, брат! Как в сказке! — весело отозвался Самохвалов и засыпал его вопросами.

Митя едва поспевал отвечать,

— В общем, не засиживайся. Ждем,— торопливо говорил Самохвалов.— А пока что делом надо заняться. Смотри, плохо отремонтируешь машину — не возьмем обратно!

— А мы только на «отлично» ремонтируем!

О ремонте беседовали в эту минуту и Максим Андреевич, Паршуков и подошедший к ним Никитин.

— Перво-наперво, Савелий Прохорыч, обрати внимание на центровой подшипник,— просил Егармин.— По-моему, его переливать доведется. Чтоб задержки не вышло...

— Держись, Савелий Прохорыч,— добродушно улыбнулся Никитин.— Даст нам сегодня жизни «однодневный пенсионер»...

Ремонт начался. Максим Андреевич оказался прав: центровой подшипник подплавился, и Паршуков велел Мите отнести его в медяжную, на заливку.

Никогда еще работа у Мити не шла так легко, весело и споро. Правда, Паршуков почему-то мрачнел с каждой минутой, но Митю не занимал его вид.

Во время обеденного перерыва Паршуков не ушел из цеха. Вернувшись из столовой, Митя нашел его возле паровоза. Он сидел на деревянных козлах, подперев голову сухой волосатой рукой. На лбу у него блестели мелкие капли испарины. Дышал он трудно, со свистом.

— Вы так и не ходили на обед? — спросил Митя.

— Худо мне, Черепанов,— с трудом выговорил Паршуков, не поднимая головы.— Занемог я.

— Нужно к доктору, Савелий Прохорыч, в медпункт.

Синеватые губы слесаря искривились в гримасе, отдаленно напоминающей улыбку.

— Нельзя... Уложат в постелю — и дело с концом. Может, еще отпустит...

Паршуков закашлялся. Кашлял он мучительно долго, в груди у него что-то трещало. Потом он утер ладонью лоб и шею и взглянул на Митю глубоко запавшими тоскливыми глазами.

— Нет, надо идти, Савелий Прохорыч,— посоветовал Митя.

Паршуков уперся обеими руками в козлы, приподнялся и тут же сел, закрыл глаза.

— Качает меня,— вздохнул он.— Эка беда, будь ты неладный...

— Я вас провожу.— Митя протянул к нему руки.

Паршуков едва переставлял ноги в глубоком рыхлом снегу, тяжело опирался на Митину руку. Кое-как приплелись они в медпункт.

Паршуков зашел в кабинет врача, а Митя остался в приемной.

Он успел прочитать все медицинские плакаты, развешанные по стенам, пока в дверях кабинета показался Паршуков. Вид у него был растерянный и мрачный. В руке он держал голубой больничный лист.

Митя помог ему застегнуть полушубок, поднял воротник.

— В легких, говорит, воспаление. Привяжется же такое. К мастеру сначала зайду,— сказал Паршуков, заметив, что Митя поворачивает к проходной.— И главное — в такой момент. Подшипник надо подгонять. Думал, ежели его к концу смены зальют, встану, сам пришабрю. Эка беда... Плыл, плыл да на берегу утоп...

— А вы не разговаривайте на холоде, Савелий Прохорыч...

Паршукова била дрожь, зубы у него стучали, и Никитин все понял по одному его виду.

— Сказано — где тонко, там и рвется...— Мастер посадил на нос очки.

— Может, я все-таки того... не пойду, Степан Васильич? — бормотал слесарь, виновато улыбаясь.

— Да ты погляди на себя! — тихо сказал Никитин.— Тебе и ключа не удержать... Черепанов, ты уж пособи Савелию Прохорычу...

— Я ж тут недалече... Я сам...

— Пошли, Савелий Прохорыч.— И Митя взял его под руку.

Паршуков действительно жил недалеко, но они шли долго. Метель яростно кружила по улицам, затягивала город непроницаемо белыми, оглушительно шумящими полотнищами. Жесткий ветер чуть не валил с ног, залеплял снегом глаза. Паршуков с усилием вытаскивал ноги из сугробов, часто отдыхал, опираясь на Митину руку. Белые вихри с лихим воем и свистом носились между землей и небом, обжигали щеки, били в грудь, предательски толкали в спину. Митя боялся, что Паршуков вот-вот упадет. Он не знал, где живет слесарь, и дорога, как всегда в подобных случаях, казалась ему бесконечной. Но, поддерживая Паршукова, он кричал, перекрывая шум ветра:

— Ничего, уже скоро... Еще немножко...

Наконец Паршуков остановился возле калитки, в которой была наполовину сломана одна доска. Цепко ухватившись за щеколду, он отдышался, сказал, притянув к себе Митю:

— Тут я уж сам... Не то старуха переполошится...

ПОСЛЕ МЕТЕЛИ

На высоких мачтах вокруг депо вспыхнули прожекторы, и Вера подумала, что она уже работает без передышки два, а может, и три часа. И вдруг почувствовала, что ей трудно даже пошевелить рукой. Превозмогая себя, она попыталась поднять лопату, но лопата сделалась такой тяжелой, что попросту отрывала руки. Тогда Вера оперлась на отполированный до блеска черенок и оглянулась.

Несколько часов назад, когда улеглась метель и комсомольцы вышли после смены расчищать деповские пути, кругом было белым-бело. Толстый ватный покров спрятал бесчисленные пути, стрелки, контрольные столбики. А сейчас покров этот будто прошили из края в край черные стремительные стежки рельсов, а вдоль стежек здесь и там затеплились в сумерках огоньки стрелок.

— Ты що, пристала?— крикнул Ковальчук, разгребавший снег справа от Веры.

Она призналась.

— Это через то, що ты спервоначалу на ладошки не поплевала,— засмеялся Ковальчук.— Подывысь, як твой браток орудue...

Алешка работал на соседнем пути, рядом с Митей. Он легко вонзал лопату в сугроб, тотчас выхватывал ее, отяжелевшую от снега, делал быстрое круговое движение и таким же легким и четким движением возвращал лопату в исходное положение. Вера улыбнулась, глядя на брата.

— Як автомат,— сказал Ковальчук.

— А у меня разве плохо получается? — громко спросила Тоня Василевская, работавшая шагах в пяти от Веры.

Ковальчук недолго смотрел на нее и серьезно заключил:

— Ни, Тонюша. Ты обыкновенный экскаватор...

Через несколько минут к Вере подбежал Митя.

— У меня к тебе просьба,— проговорил он, запыхавшись.— Увидишь Урусову, скажи, что я не дезертир. Мне нужно в депо. Ты понимаешь...— И он, торопясь, рассказал о болезни Паршукова, о том, что в двадцать три часа паровоз Егармина должен выйти из ремонта, а центровой подшипник еще не готов, и кто знает, что может получиться...

Вера пообещала передать Урусовой и, всмотревшись в его лицо, воскликнула:

— Ой, у тебя же уши совсем помучнели! — Воткнув в снег лопату, она скинула варежки и зачерпнула пригоршню снега.

В следующее мгновение Митины уши очутились в шершавых, колюче-ледяных и беспокойных объятиях. Он вскрикнул и сел в сугроб.

— Ох, шпигает. У тебя, что, иголки на ладонях?— стонал Митя.— Осторожно хоть... И зачем я подошел к тебе?..

— А ты видел когда-нибудь обмороженные уши? Как разварившиеся пельмени...

— Может, хватит? Жалости в тебе нет...

Наконец она стряхнула с рук остатки снега, капельки воды.

— Все. Теперь твои уши вне опасности.

Митя осторожно притронулся к ушам, поднялся, положил руку на грудь:

— Спасибо, скорая помощь. Я побежал...

Не успел он еще скрыться, как Тоня Василевская, волоча за собой лопату, медленно подошла к Вере. В глазах ее Вера без труда прочла удивление и зависть. Смерзшиеся губы зашевелились:

— Так вы... У вас такие отношения? А ты молчала?

Вера не спеша надевала варежки.

— Какие отношения?

— Я же вижу... У него все на лице...

— А я не отвечаю за то, что у него на лице.— Вера выдернула из сугроба лопату.— Будем работать, Тонюша...

Когда Митя подходил к паровозу Егармина, с противоположной стороны пролета к этому же паровозу торопился паренек. На плечах у него, словно погоны, тепло поблескивали две половинки бронзового подшипника, который должен был подгонять Паршуков и о котором он так беспокоился.

Опустив ношу на козлы возле паровоза, паренек ушел, не сказав ни слова. А Митя задумчиво склонился над подшипником. Кто же будет его шабрить? Неужто Никитин забыл?

Решив не терять ни минуты, Митя скинул ватник, принес инструменты и принялся за работу. Паршуков не раз давал ему пришабривать подшипники, правда, окончательную доводку не доверял. Но теперь Митя сам себе хозяин! Какое удовольствие работать, не слыша нареканий, ворчливых наставлений, зная, что за тобой не следят исподлобья!

Стальной шабер быстро согрелся в его руках. С наслаждением смотрел Митя, как острая кромка инструмента, врезаясь в тускло-белую поверхность наплавленного металла, снимала податливо-мягкую, с синеватым отливом стружку, напоминающую во много раз увеличенную запятую.

Вера пришла на участок, когда Митя, согнувшись над гладкой блестящей осью, покрывал ее тонким слоем небесно-синей краски. Спрятав руки в карманы шубки, девушка молча наблюдала за ним. Митя повертел на оси половинку подшипника, потом снял и, держа перед собой, смотрел в нее, точно в книгу. Губы его шевелились, было похоже, что он читает.

— Что, интересно? — негромко спросила Вера.

Он вздрогнул, чуть не выронил подшипник, улыбнулся:

— Уже отработала? А я, видишь... Хорошо, что пришел: никого нет. Не пойму, что это делается: в двадцать три часа машине выходить, а подшипник никто не делает.

— Правильно критикуют ваших ремонтников, — сказала Вера, подходя ближе.— А знаешь, это красиво! — Она показала на внутреннюю поверхность подшипника, синюю от краски.— Будто чистое летнее небо.

Митя усмехнулся:

— То-то и плохо, что чистое. Нужно, чтоб оно все в облаках было. А в просветы между облаками чтоб виднелось синее небо. Тогда считай, подшипник подогнан...

Помолчав, она спросила с тревогой:

— А какого разряда эта работа?

— Кажется, пятого или шестого. А что?

— Не боишься?

В первый раз с тех пор, как он прикоснулся к подшипнику, его холодом обдала мысль: а что, если чересчур понадеялся на себя? Если не справится? Если запорет такую деталь? Что тогда? Но он тряхнул головой и посмотрел Вере в глаза:

— Поздно сейчас бояться. Должен сделать...

Нижнюю половинку подшипника он закончил минут через двадцать после Вериного ухода. А над верхней работа сразу же пошла с такой легкостью и удачей, что Митя даже немного усомнился.

Вот он в последний раз проверил подшипник, снял в нескольких местах шабером тончайшую стружку и, отложив инструмент, прошелся вокруг подшипника, прихлопывая в ладоши. Сделал! Справился! Сам, один, без подсказок, без помощи! Да что там подшипник — пускай дают любую паровозную работу! Вот вам, Савелий Прохорыч, и «знатный сынок»! Что, тяжело держать Черепанова на шее? Паровоз, может, и не смогли бы выпустить сегодня, а «знатный сынок» пришел и сделал, и задержки теперь не будет. «Не боишься?» Надо же додуматься, спросить такое? Боишься! Кого и чего бояться, если металл слушается? Слушается как миленький.

Он засмеялся и обернулся в ту сторону, куда ушла Вера, будто надеялся увидеть ее. Но увидел Максима Андреевича и Горнового. Они направлялись к паровозу.

— Кто тебя на подшипник поставил? — испуганно спросил старик, подходя к Мите.

— Никто.

— Шуточки тут не к месту, Димитрий! — отрезал Максим Андреевич.

— А я и не шучу...

— Дела твои, господи! Окромя некому было! — Максим Андреевич вскинул руки и хлопнул ими по ворсистому бобриковому полушубку.

— Кто тебе поручил подгонять подшипник? — с хмурым видом подошел начальник депо.

Объясняя, как все вышло, Митя взял шабер, но вдруг почувствовал, что он задрожал у него в руке. Максим Андреевич терпеливо выслушал его, с отчаянием взглянул на Горнового, пощипал желтые, обкуренные усы и быстрой, суетливой походкой зашагал в глубь пролета. А Горновой, насупившись так, что, казалось, мохнатые брови его заслонили все лицо, начал проверять подшипник.

Никитин в своей стеклянной конторке подписывал наряды и потягивал из алюминиевой кружки бесцветный чай.

— Стало быть, чайком забавляемся? — проговорил Максим Андреевич, заходя в конторку.

Занятый своим делом, мастер не расслышал раздражения в тоне машиниста.

— Милости прошу.— Он отодвинул наряды.— Присаживайся, Максим Андреевич. Может, налить горяченького?

— Благодарствую.— Старик не двигался с места.— Скажи-ка лучше, Степан Васильич, как обстоит с центровым подшипником?

Никитин достал из нагрудного кармана спецовки часы на ремешке, прикрепленном к внутренней стороне кармана английской булавкой:

— Через час начнет подгоняться...

По случаю болезни Паршукова мастер поручил подгонку подшипника слесарю Горбунову. Но так как Горбунов работал в первой смене, Никитин отправил его отдыхать домой с тем, что он явится в двадцать один час.

— Пойдем-ка, Степан Васильич, — теперь уже с нескрываемым волнением сказал старик и вышел из конторки.

Когда они подошли к паровозу, Митя стоял в той же позе, с шабером в руке. А в лице Горнового Максим Андреевич заметил перемену: большие заиндевелые брови его будто взлетели от удивления и остались парить над широко раскрытыми глазами.

— Принимайте работу! — Начальник депо кивнул на подшипник.

Никитин строго посмотрел на Митю, молча переглянулся с машинистом, и оба повернули головы к Горновому.

Максим Андреевич поспешно достал очки, Никитин вздохнул и двинулся к козлам, где лежал подшипник.

Мите показалось, что они колдовали над подшипником не меньше получаса. Но теперь он уже не волновался.

Наконец один за другим они выпрямились, стали вытирать руки.

— Сам? — обратился к Мите Никитин. Смешанное выражение удивления и сдержанной радости блуждало по его лицу.

Митя кивнул головой, не сдержав насмешливой улыбки.

— Недооцениваете свои кадры,— с веселым упреком сказал Горновой.

Митя сразу догадался, что начальник депо припомнил мастеру его выступление насчет «зеленых» кадров.

— Меня, Сергей Михайлыч,— сказал Никитин,— когда-то старикашка слесарь учил. Он говаривал так: каждый человек — это загадка. Никто не знает заранее, да и сам человек, на что он способен...

— В общем-то верно,— согласился Горновой.— Сегодня, например, мы с вами разгадали, на что способен Черепанов...

— Будь я мастером,— сощурился Максим Андреевич,— дал бы я этому разгаданному человеку рабочий разряд...

Сердце у Мити как будто затихло и вдруг полетело, полетело, вырываясь из груди.

— А я как раз об этом и подумал,— неожиданно улыбнулся Никитин.

— Вот и хорошо,— подхватил Горновой.— Завтра напишите мне докладную...

Максим Андреевич подал Мите руку:

— Авансом поздравляю, Димитрий. Рабочий разряд, я считаю, это первый шаг в рабочий класс. А рабочий класс, само собой понятно,— главная сила на свете, всему начало, всему творец...

Словно слепой, Митя не сразу нашел жесткую и теплую руку старика. Жар залил щеки, уши, даже затылок. «Рабочий класс!» — повторял он мысленно. И эти знакомые с детства, привычные слова вдруг зазвучали для него совсем по-новому — значительно, гордо и торжественно...

Он рассчитывал, что во дворе у Паршукова непременно должна быть собака, большая, злющая, на длинной гремучей цепи. Но, к удивлению, собаки не оказалось.

Дверь открыла высокая полная женщина с гладко зачесанными седыми на висках волосами. В руках с закатанными до локтей рукавами она держала набитый снегом круглый резиновый пузырь. Впустив Митю, стала напротив, как бы загораживая дорогу.

— Мне бы к Савелию Прохорычу,— быстро проговорил Митя, сняв шапку.— Я из депо. Мы работаем вместе...

Во взгляде женщины были и приветливость и тревожное любопытство.

— Жар у него сильный,— сказала она, колеблясь.

— Мне только два слова сказать...

— Поди, что-нибудь недоброе... Еще пуще расстроится.

— Нет, нет, как раз я доброе скажу.

Женщина посторонилась, пропуская его, и бесшумно двинулась следом.

Паршуков лежал на кровати, длинный и плоский.

— Саввушка, тут к тебе...— тихо сказала женщина, подойдя к изголовью.

Паршуков закряхтел и, опершись на худую руку, обратил на Митю ввалившиеся, лихорадочно блестящие глаза.

— Черепанов?

— Все хорошо. Вы не беспокойтесь, Савелий Прохорыч. Сейчас все расскажу...

В том месте рассказа, где Митя сам принялся шабрить подшипник, Паршукова качнуло.

— Загнал, признавайся! — с ужасом простонал слесарь.— Паровоз не вышел, за брак вычтут...— Рука у него подвернулась, и большое плоское туловище упало на подушки.

— Так я и знала, — с укоризной проворчала женщина. — Поболеть не дадут спокойно...

— С чего вы взяли? Почему загнал? Приняли у меня подшипник, приняли! И мастер, и Максим Андреич, и сам начальник депо.

— Верно? — Паршуков медленно присел на кровати.

— Вы говорите — загнал,— с нарочитой обидой сказал Ми-

тя.— А мне за эту работу разряд рабочий дадут. Горновой велел мастеру докладную написать...

— Ну, слава те, господи! — с чувством выдохнул Паршуков, и Мите показалось, что он сейчас перекрестится.— Чего же ты стоишь, Черепанов? — Он растерянно оглянулся.— Феня, подала бы стул человеку...

Виновато поглядев на гостя, женщина пододвинула ему стул.

— Ничего, я на минутку. Просто я знаю, что вы беспокоились, вот и забежал...

Паршуков долго смотрел на Митю помутневшими от влаги глазами и молча протянул руку. Митя так же молча пожал ее.

Потом слесарь кончиком простыни утер глаза и попросил жену налить чаю Черепанову и ему. Она обрадовалась:

— Наконец-то, за цельный день! — и заспешила на кухню.

Мите было не до чаепития, но, чтобы не обидеть Паршукова, он через силу выпил стакан и, пожелав Савелию Прохоровичу поскорее выздороветь, ушел...

Умываясь на кухне, он рассказал матери обо всех событиях сегодняшнего дня. Она заслушалась, ловя с радостью каждое его слово, и опомнилась, когда на кастрюльке со щами заплясала крышка.

— Посиди немножко,— попросил Митя.

Она присела на краешек табуретки, сказала извиняющимся голосом:

— Еще не управилась я, Димушка.

— Все работаешь, работаешь... Глаза поберегла бы.— Он взглянул на ее слегка припухшие и покрасневшие веки.— Ну ничего, скоро-скоро уже я начну хорошо зарабатывать, будешь меньше работать...

Поужинав, он прошелся по кухне и заглянул в боковушку. Сложил инструменты и увидел на шкафу отцовский сундучок. Осторожно, будто стеклянную посудину, он взял сундучок обеими руками и тихо опустил на стол. Должно быть, мать только сегодня поставила его сюда: на крышке, сохранившей зеленую краску, не было ни пылинки.

Кто не видел этих железных сундучков, называемых «шарманками» потому, наверное, что в старину их носили так же, как уличные музыканты таскали свои музыкальные ящики,— на ременной лямке, через плечо. Сундучки эти удивительно похожи один на другой, словно сработаны одним мастером, лишь запираются по-разному: проволочкой, бечевкой или гвоздиком, как, например, у Миши Самохвалова.

А этот — медным, почти игрушечным замком: отец любил порядок.

Но не в том была главная его особенность. Много лет назад в первый свой рейс вышел с этим сундучком Тимофей Иванович Черепанов и не разлучался с ним до последнего дня. Черепанов-

ский спутник, сколько он мог бы рассказать о своем машинисте, о его жизни! И каждой своей царапиной, каждой вмятиной рассказывал он об этой беспокойной, нелегкой и прекрасной жизни.

И ничего, что их так много, вмятин и царапин, что облупилась краска на железных боках,— он еще крепок, он мог бы еще служить и служить. Но пережил хозяина и вот стоит на шкафу, без дела, никому не нужный.

Разве никому не нужный? Нет, неправда.

Пускай Никитин не отпустит Митю из слесарей еще два или даже три месяца, но потом все равно отпустит, и Митя перейдет на паровоз и тогда... Мать никогда, никогда не откажет... И сундучок этот наверняка принесет ему счастье.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ



ДОЛГ

Воздух был еще по-утреннему серый и неподвижный; горы, маячившие вокруг, казались иссиня-черными. Горы, горы, куда ни взглянешь. Кедровник будто лежит на дне глубокой каменной чаши.

Все нравилось Мите в этом городке — и крепостные стены гор, окружавшие его, и то, что сам он похож на крепость, и то, как причудливо соединялось в нем старое и новое: приземистые цехи петровской постройки и богатырски могучие новые корпуса, почерневшие от времени домишки с глухими, по-старинному крытыми дворами и четкий строй высоких зданий с шеренгой тополей вдоль широких тротуаров...

В депо им сообщили неприятную весть: вагонники не успели подготовить состав и поезд отправят с опозданием на полтора часа.

— Что ж, будем присыхать,— с сердцем сказал машинист.

Черное, до блеска протертое тело машины нетерпеливо вздрагивало. Из предохранительных клапанов то и дело со свистом и шумом вырывался пар. Казалось, вот-вот паровоз потеряет терпение и ринется куда глаза глядят, только бы не стоять на месте.

— Угодили в поездочку! — ворчал Самохвалов.— Всю дорогу теперь ковылять.

— Почему? — с беспокойным интересом спросил Митя.

— Известно, что за езда, как из графика выбьешься. Одни нервы...

— А если нагнать? — спросил Митя.

Максим Андреевич сидел с «Правдой» на своем месте, у правого окна; он перестал читать и держал газету как ширму.

— Нагнать! — с раздражением повторил Самохвалов.— Ты понимаешь, что такое полтора часа?

— Ровно девяносто минут.

— За пять часов пути девяносто минут нагнать — соображаешь, какая это скорость нужна?

— Задачка для шестого класса.

— Посложней задачка, железнодорожник,— недовольно отозвался Самохвалов и с досадой махнул рукой.

Помолчав, Митя проговорил задумчиво:

— А поезда-то ждут... Я видел, как ждут из Кедровника поезда.

— Ты что, может, агитировать меня собираешься? — вскипел Самохвалов.— Чужие грехи будем исправлять, а сами влипнем! Надсадим машину — что тогда? И опоздание не нагоним, и отвечать придется...

— Так что же, по-твоему, ничего нельзя сделать? — сказал Митя.

Самохвалов не ответил, и Митя обернулся к машинисту:

— Максим Андреич, скажите свое слово.

Чуть наклонив голову набок, старик стал неторопливо складывать газету.

— Михаил, конечно, прав,— негромко и медленно заговорил машинист.— Чужие грехи выправлять мы не обязаны. Тяжело это и риск, понятно, имеется. Ежели с точки обязанности подходить. Казенной обязанности, за которую нам денежки платят. Ну, а ежели про долг вспомнить...

Максим Андреевич снова развернул газету и углубился в чтение.

Самохвалов достал из кармана ветошь и принялся протирать медные трубки манометров, хотя они и без того были достаточно надраены. Митя отвернулся, чтобы не видеть его суматошных движений.

В это время поблизости весело и зазывно пропел рожок стрелочника. Контрольный пост давал сигнал — идти на станционный путь, к составу. Максим Андреевич помахал стрелочнику газетой и потянул ручку сигнала. Воздух задрожал от острого свистка. Самохвалов спрятал ветошь и занял свое место у левого окна.

Когда паровоз осторожно приближался к составу, Митя, стоя в дверях, отыскал глазами часы — опоздание перевалило за девяносто минут...

Поездка была напряженная, и все же он успевал полюбоваться дорогой. Ему казалось, что он уже знает все места между Горноуральском и Кедровником, но всякий раз открывал что-нибудь новое, чего не замечал в прошлые поездки, как бывает, когда перечитываешь хорошую книгу.

Дорога то бежит вдоль живой стены леса, то врывается в долину, со всех сторон замкнутую синими перекатами гор, то

несется по гулкому каменному ущелью. Иногда по обе стороны ее дико громоздятся серые гигантские камни, раскиданные природой в каком-то первобытном неистовстве. Меж огромных замшелых валунов стоят редкие невысокие сосны. Им одиноко и тоскливо здесь, и они сбегают с обожженного солнцем и обветренного склона туда, где густая чаща манит покоем и прохладой.

Местами плотную зелень по крутым скатам снизу доверху прочерчивают бурые полосы — лютые следы огня.

Дорога близко подходит к старым пожарищам. На снежном фоне мрачно чернеют горелые обломыши стволов, то одинокие, то будто в предсмертном отчаянии приникшие друг к другу. А дальше — снова безмятежная зелень нескончаемых лесов. Дорога взбирается в гору, и с вершины ее виден коридор — ровная полоса, точно машинкой выстриженная в зеленой гущине. И по ней стелется стремительная черная колея.

Но особенно красива дорога вот здесь, на перевале. За лиловой колеблющейся дымкой лежит, словно каменное чудовище, Уральский хребет. И всегда, когда мимо проносится этот столб с черной надписью «Европа — Азия», Митю охватывает непонятное волнение: что-то чародейское, волшебное чудится ему в этой необыкновенной пограничной черте...

— Почему уголь не смачиваешь? — закричал Самохвалов.— Тебе известно, что потерь меньше...

— Виноват! — Митя оторвался от двери, поднял руки: — Только лекций не нужно.

— Видали! — шумел помощник.— Свою копеечку небось на учете держишь, а казенный рубль тебе ничто...

Максим Андреевич отвернулся к окну: совсем недавно он пробирал помощника этими же словами...

В начале поездки Самохвалов дулся, старался не встречаться глазами с ним, с машинистом, и Митя догадывался о причине его смущения. Но потом работа захватила помощника, он «отошел», даже повеселел немного.

А эта беззлобная вспышка была, видимо, запоздалым последствием утренней размолвки. Митя добродушно крикнул ему:

— Да ты не серчай. Это у меня, должно, от скорости. Чувствуешь, как жмем?

В ответ Самохвалов лихо прикрыл один глаз и выставил большой палец правой руки.

Навстречу паровозу гигантскими шагами бежали телеграфные столбы, мелькали прозрачные березняки, испуганно шарахались в стороны молодые сосенки.

Максим Андреевич чаще обычного посматривал на часы.

— Ну как? — смущенно и радостно спрашивал помощник.

— Что — как?

— Я говорю: что они показывают?

— Известно — время показывают,— с каменным лицом отвечал машинист.— А у одного моего приятеля были часы, так те еще и месяц и число показывали...

— Не мучайте, Максим Андреич!

— А-а, понял. Может статься, перекроем...

— Как это — может статься?

— Ну, ежели возражаешь, так наверняка перекроем...

Митя подошел к помощнику:

— Дай-ка я потоплю. А ты отдохни малость...

Самохвалов озорно сверкнул цыганскими глазами и протянул ему лопату.

Зажмурившись от слепящего жара, Митя сильными, уверенными движениями посылал в топку уголь.

Самохвалов, наблюдая за кочегаром, вышел на середину будки.

— Видали, Максим Андреич, как топит? — И он ткнул пальцем в Митин нос, точно в кнопку звонка.

Машинист ухмыльнулся, погладил обкуренные усы.

— Скоро придется место для него опростать.— Самохвалов показал на сиденье у левого окошка.

— К тому идет,— задумчиво согласился старик.

— Всем хорош наш кочегар,— продолжал Самохвалов.— Одно только непонятно: до сих пор не в комсомоле. Не то увиливает, не то сразу в партию собирается? А по всему можно сказать: авангард!

Митя услышал иронию в этих словах и, не раздумывая, кинулся в атаку:

— А я утром забыл, что ты комсомолец.

— Ладно, ладно,— миролюбиво замахал руками Самохвалов.— Про меня уже поговорили. Нет, правда, почему стороной держишься? Что у тебя?

Искренность и сердечность Самохвалова сбили Митин наступательный порыв. Он помолчал в раздумье и признался, что боится подавать: вдруг откажут. Тем более Урусова сказала, что он еще не комсомолец.

— Когда это было! Под горячую руку и не такое можно сказануть,— возразил Самохвалов.— Как вы считаете, Максим Андреич, примут его?

Старик пристально взглянул на Митю.

— В прошлом году голосовал бы против. А нынче, будь я комсомолец, сам, пожалуй, отписал бы рекомендацию...

— Слыхал, голова? А от меня хоть сегодня получай... если не брезгаешь...

Митя стоял посреди будки. Внезапная радость расслабила его, отняла язык.

— Ну чего ты, ровно подавился? — легонько толкнул его в плечо помощник машиниста.— Пиши заявление... На фронте-то

как? Выдалась минутка между боями, садится человек и пишет...

Сколько раз рисовал он себе эту минуту, сколько думал о ней с мучительными сомнениями и надеждой, и вдруг минута эта настала. Настала так нежданно-негаданно! Радостное волнение мешало собраться с мыслями; те несколько слов, которые нужно было написать и которые давно уже написал мысленно, теперь разбежались, разбрелись куда-то, и он с трудом собирал их воедино.

«В комитет комсомола Горноуральского паровозного депо,— писал он, сидя на железном ящике. Буквы прыгали, слова ложились неровно, рука дрожала, наверное, не только от быстрого движения.— Я, Черепанов Дмитрий, паровозный кочегар, прошу принять меня в ряды Ленинского...»

— Насос! Стал насос! — закричал машинист. Тревога до неузнаваемости исказила его голос.

Митя вздрогнул, как от выстрела. Кинув на ящик тетрадь и карандаш, бросился к машинисту. Подбежал и Самохвалов. Максим Андреевич стоял, напряженно глядя в переднее окно. Большая рука его, оплетенная вздутыми венами, лежала на «кране машиниста». На левой щеке, под глазом, часто дергался мускул. Старик перевел тревожный взгляд на тормозной манометр; Самохвалов и Митя враз посмотрели туда же. Стрелка манометра быстро падала. Над паровозной трубой все ниже взлетал белый дымок, все слабее слышались вздохи насоса.

— Едем без тормоза,— подавленно сказал машинист.— Скоро уклон...

Растерянно потоптавшись, Митя кинулся из будки. По узкой площадке, огибающей котел, хватаясь руками за железный барьер, достиг умолкшего насоса, заглянул в масленку. Максим Андреевич и Самохвалов следили за ним. Митя знаками показал, что уровень масла достаточен, и, поджав губы и нахлобучив на самые глаза шапку, задумался.

Лесной коридор кончился. И сразу же начался уклон. Навстречу все быстрее летели придорожные березы и сосны, избушки путевых обходчиков, осиновые рощи, длинные заборы снегозаградительных щитов. Далеко внизу, под горой, будто чей-то рыжий вихор, растрепанно вздымался ядовито-желтый дымок медеплавильного завода на западной окраине Горноуральска.

— Полная груша масла,— запыхавшись, сообщил Митя.

Максим Андреевич молча сосал потухшую трубку. Случись все это на ровном месте, он мог бы отлучиться, но на спуске, когда поезд идет с такой скоростью...

— Нужно в середину посмотреть,— сказал он.

— Я ремонтировал насос,— крикнул Митя.— Я открою, посмотрю...

— Михаил, займись насосом, Димитрий, на топку,— приказал машинист.

Огонь ревел как-то особенно злобно. Пламя будто хотело вырваться и поймать того, кто осмелился потревожить его. Бросив несколько лопат, Митя захлопнул дверцу и провел рукой по лицу: ему показалось, что на лбу и на щеках у него потрескалась кожа. И все-таки ему хотелось быть на месте Самохвалова. Он с завистью следил за помощником, когда тот, застегнув тужурку и наклонив голову, двигался по площадке к насосу и когда с красными исхлестанными ветром щеками вернулся в будку. В руках у него поблескивал бронзовый цилиндрик золотника насоса.

— Масленка забилась, насос всухую работал,— задыхаясь, сказал он.— Поршневое кольцо сломалось...

Максим Андреевич посмотрел на него из-под насупленных бровей.

«Вместо кольца — асбестовый шнур»,— мелькнуло у Мити.

— Шнур... Асбестовый шнур! — закричал машинист.— Понял? — и потянул рычаг свистка.

Прошли последний пост.

Самохвалов закивал головой, достал из ящика белый мохнатый шнур и стал быстро наматывать его в канавку на золотнике. Митя облил золотник маслом, и помощник снова подался на площадку, к насосу.

И Максим Андреевич и Митя следили за движениями его перепачканных машинным маслом, сведенных от холода рук. Мите казалось, что у него все получилось бы намного быстрее.

Вот руки установили золотник, положили крышку, завинчивают гайки. Вот они машут: «Пускайте!»

Машинист неторопливо повернул бронзовую ручку. Стрелка на тормозном манометре ожила. Помедлив немного, она начала подниматься судорожными рывками.

Прежде чем Самохвалов увидел беспокойную и очень усталую улыбку на лице машиниста и сияющие Митины глаза, он услышал первые вздохи насоса; над паровозной трубой один за другим взлетали белые дымки выхлопа.

— Работает! — отчаянно заорал Михаил, закашлялся от ветра и побежал в будку.

Здесь он с лету попал в цепкие, неуклюжие и молчаливые объятия Мити. Он не вырывался, но Митя тотчас отпустил его, бросился к двери и, держась одной рукой за железный поручень, приготовился передать жезл дежурному по станции.

Электрические часы показывали, что поезд пришел точно по расписанию. К паровозу торопился начальник станции и пожилой майор в длинной шинели со скрещенными пушечками на погонах.

Остановив поезд, Максим Андреевич спустился с паровоза. Стягивая на ходу перчатку, подошел майор:

— Спасибо, товарищ Егармин!

Максим Андреевич молодецки выпрямился, козырнул и, сощурившись, кивнул на помощника, который высунулся из окна, улыбаясь цыганскими глазами, на кочегара, застывшего на ступеньке.

— Служим Советскому Союзу!

ГОСТИНЧИК

В день получки широкий коридор деповской конторы с квадратным оконцем кассы, пробитым в стене, по многолюдности и оживлению мог соперничать даже с дежуркой паровозных бригад, именуемой «брехаловкой». Пока человек добирался до этого окошка, он успевал перемолвиться с добрым десятком сослуживцев, рассказать и услышать новости как деповской, так и международной жизни.

Кассир Феодосий Иванович был на редкость медлителен и придирчив. По свидетельствам людей, знавших кассира многие годы, эти черты его характера чудовищно росли по мере того, как сам Феодосий Иванович, перевалив через седьмой десяток, становился все суше и меньше. Не доверяя уже ни глазам своим, ни пальцам, он пятикратно пересчитывал деньги и, когда протягивал их получателю, рука у него дрожала, возможно, от сомнения.

Учитывая характер Феодосия Ивановича, в коридоре поставили деревянные диваны. На одном из них сидел сейчас Максим Андреевич, коротая за беседой время. Кто-то спросил о сегодняшнем случае, когда машинисту Егармину пришлось принять поезд с полуторачасовым опозданием, и старик охотно рассказывал, поглядывая на Самохвалова и Митю, стоявших поблизости.

— Приняли мы, значит, этот поезд, я и говорю своим орлам: «Влипли, мол, в поездочку, всю дороженьку слезами зальем. Известное дело — вне графика». А помощник мой как напустится: «Вы что же, Максим Андреич, и приведете его с таким опозданием?» — «Ишь, говорю, ловкий какой. Попробуй-ка, нагони девяносто минуток! Машиной рисковать, здоровье надсажать, а с каких радостей? За чужие грехи? С опозданием, говорю, приняли, с опозданием и приведем. Мы не в ответе». Тут налетели на меня мои орлы — не спрашивайте. «Только об себе и думаете! При чем тут, говорят, ответ? А долг у вас есть? У каждого, говорят, сознательного человека, окромя обязанностей, за которые ему денежки платят, есть долг...» С одного боку меня клюют, с другого, я и ручки кверху...

Самохвалов суетливо оглянулся, словно собирался бежать.

— Слушай, железнодорожник,— наклонился он к Мите.— И тебе не совестно? Какая это у тебя кочегарская получка?

— Третья,— улыбнулся Митя, разгадав хитрость Самохвалова, но еще не догадываясь, куда он гнет.

— То-то же! Некрасиво, дорогой товарищ железнодорожник!

Самохвалов прищелкнул языком и, вертя пуговицу на Митиной тужурке, заговорил о том, что такое событие, как первая кочегарская получка, принято отмечать. Покупается бутылочка беленькой, приглашаются домой самые близкие люди: учитель, то бишь машинист, разумеется, помощник и еще кое-кто для застолья. А можно с той же бутылочкой заявиться к учителю и засвидетельствовать свою благодарность за науку и внимание. Посидеть с ним, пропустить рюмочку за его здоровье, а остальное уж он сам выпьет за успехи своего ученика...

— А ты ходил к своему учителю? — все еще улыбаясь, спросил Митя.

— А ты думал! Мой первый учитель — машинист Свиридов. Я даже заночевал у него: ноги, понимаешь, чего-то перестали действовать...

Умолкнув, они тотчас услыхали голос старика. Он продолжал свой рассказ:

— Не успел сдать паровоз — рассыльная от нарядчика: «Товарища Егармина к телефону». Прихожу. Нарядчик диспетчера выкликает и трубку мне сует: «Здравствуйте, Максим Андреич. Диспетчер Самохин вас побеспокоил. Спасибо за отличную поездку. Сейчас, говорит, рапорт подаю начальнику дороги. Уверен, что он также выразит вам свою благодарность...» А я ему: «Бригаду мою, прошу, не забудьте...» Вот какие дела бывают. Через них, моих гвардейцев, благодарность нечаянно заработал...

Самохвалов и Митя, впервые услышав о звонке диспетчера, ошарашенно и недоверчиво уставились на машиниста.

Пожилой широколицый паровозник, с которым беседовал Максим Андреевич, догадливо ухмыляясь, взглянул на ребят:

— Что ж тут удивляться, старый? Сам же их воспитал. Сказано — «егарминский университет»!

В это время седой машинист с белыми пушистыми, как у Деда-Мороза, бровями крикнул от самого окошка:

— Максим Андреич, гляди-ко очередь свою пробалабонишь...

И Максим Андреевич, схватив стоявший у ног сундучок, заторопился к кассе.

А часа через полтора Митя постучался к Егармину.

Максим Андреевич даже испугался:

— Что стряслось?

— Ничего, ничего не случилось,— заверил Митя, стараясь беспечной веселостью замаскировать смущение.

— Тогда зачем пожаловал? — все еще тревожась, спросил старик.

Странно, почему должно что-то случиться, чтобы кочегар мог прийти к своему машинисту? А разве нельзя так, без всяких случаев, заявиться в гости? Вот только время не совсем подходящее — сразу же после поездки, ну, за это пусть извинит хозяин...

— Если в гости, тогда разболокайся, заходи,— пригласил старик и заглянул в кухню: — Принимай гостя, Антоновна.

Екатерина Антоновна бесшумно выплыла в прихожую. Лицо ее округлилось от внезапной улыбки:

— Митя? Нынче враз признала тебя, хоть давненько не видала. А у меня и самоварчик скоро поспеет...

Старательно вытерев ноги о половик, Митя разделся, наспех пригладил жесткий ежик и склонился над своим сундучком.

— Ты что там колдуешь? — тепло проворчал старик.— Пошли в горницу.

— У меня, Максим Андреич, первая получка сегодня,— торопливо проговорил Митя.— Не вообще первая, а, как бы сказать, первая паровозная, кочегарская. Ну, и сами понимаете...— с этими словами он вошел в столовую и осторожно поставил на стол бутылку.

— Все ясно,— направляясь к столу, процедил старик неопределенным тоном.— Решил, значит, вспрыснуть этот факт...— он ласково погладил пальцами шейку бутылки, потрогал самодельную бумажную пробку, потом поднял бутылку, поглядел сквозь нее на электрическую лампочку и разочарованно причмокнул: — Разливная...

Извиняющимся голосом Митя поспешил заверить, что другого вина в магазине не было.

— Не уважаю разливную,— поморщился Максим Андреевич.— Я, голубок, употребляю только настоящую, с сургучной головкой, с печаткой...

Эх, напрасно Митя бегал в магазин, стоял в очереди, напрасно спешил в далекий поселок Елань — не угодил старику. Но он все же заметил робко, что в разливной водке содержится не меньше градусов и не больше вредных веществ, чем в запечатанной, и что его отец, Тимофей Иванович, насколько помнится, не отдавал особого предпочтения сургучной головке. На это Максим Андреевич ответил, что вкусы бывают разные и что, как это ни прискорбно, придется первую Митину паровозную получку вспрыснуть чаем с вареньем. И он убрал бутылку в угол, под цветочный столик.

Похоже было, что старик и в самом деле огорчился несоответствием угощения его вкусу: как будто посуровел, от его молчаливых взглядов потянуло холодком. И только после второго стакана чая, крепкого, с вареньем из уральских «раек», он словно

«потеплел» и почему-то стал рассказывать о Клементии Ушкове, крепостном крестьянине, рудознатце и строителе, трудившемся на демидовском заводе. Портреты Ушкова не дошли до наших дней, да и вряд ли писались с него портреты, зато сохранились дела этого подневольного уральского мастерового, чудесные дела, перед которыми бессильным оказалось даже само время. Одно из них — знаменитая плотина, построенная Ушковым и прозываемая в народе его именем.

Демидовский завод работал на вододействующей силе и испытывал в плотине большую нужду. Из года в год берега реки обследовали разные механики, в том числе и «привозные», чужеземные, но места, годного под плотину, никто из них так и не нашел. Тогда Клементий Ушков написал начальству «представление»: он-де знает, где поставить плотину, сам берется построить ее в три лета и сверх того наблюдать, чтобы устройство действовало исправно. Одно только условие ставил крепостной: Демидов даст волю двум его сыновьям, Михаилу и Савве. За себя он не просит, были бы счастливы дети. А если вольной сыновьям не будет, то ни за какие деньги не станет он делать эту работу.

Больше ста лет стоит уже плотина, возведенная Ушковым, и диву даются люди, откуда узнал крепостной мужик все ученые премудрости, без которых невозможно было построить такое.

Но не меньше восхищает людей и характер Ушкова, твердый, властный и, несмотря на рабское положение крепостного, очень гордый...

Митя слушал с интересом, однако не мог понять, что настроило Максима Андреевича на исторический лад. А старик, отхлебывая четвертый стакан, продолжал:

— И ты учти, завсегда гордые были наши русские мастеровые. И щедрые. Это и по истории видать. Настоящий мастер никогда в тайности не держит свое уменье. Ежели человек на своем мастерстве сидит, как тот скупец на сундуке с золотом, считай, мастерство то загинет еще раньше, чем сам он в могилу сойдет. В прежние времена, случалось, секретничали мастера. Но не от хорошей жизни. Чтоб незаменимыми быть, чтоб хозяину не просто было за ворота их выставить. А нынче нечего бояться и не от кого таиться — сами всему хозяева. Так что и тебе, голубок, нету причины теряться. И гордости хорошей надо бы тебе побольше иметь...

От удивления Митя отставил блюдце с чаем. С чего, интересно, Максим Андреевич взял, что он теряется, что ему недостает гордости?

— А это? — старик потянулся было за вареньем, но на полпути остановился и показал пустой ложечкой в угол.

— Что там? — поинтересовалась Екатерина Антоновна.

— А ты у него спроси! — острым голоском воскликнул Мак-

сим Андреевич.— Гостинчик там. И какой бы, ты думала? Ну? Сроду не отгадаешь. Водочка!

Екатерина Антоновна недовольно собрала губы, покачала головой:

— Ой, неладно придумал, Митя! Максим Андреич забыл уж, какая она. Ему и смотреть на нее доктора не дозволяют...

— Да не в том соль! — старик рассерженно бросил ложечку, и она ударилась о блюдце.— С приношением пожаловал, понятно тебе? Ублажить машиниста своего решил. Даже тошнехонько на душе стало: напомнил старорежимные времена. У меня у самого был машинист — за науку приходилось бутылочками ему платить...— Он резко повернулся к Мите: — А у тебя это откуда? Всем как есть новый человек, а от него тухлой стародавностью понесло. Я лично батьку твоего, Тимофея Иваныча, обкатывал, но он водкой меня не паивал. Где откопал ты этот обычай? А я вот возьму это твое приношение, да и снесу в комсомольский комитет, будет тебе заместо рекомендации...

Некоторое время Митя молчал, поняв наконец, при чем тут и гордый крепостной Ушков, и щедрые русские мастера.

— Как вы могли...— заговорил он срывающимся голосом.— Как вы могли, Максим Андреич? У меня и в мыслях... Если бы я знал, что вы такое припишете... Разве ж я «ублажать» пришел? Я думал... Просто захотелось мне что-то приятное... Вы же для меня... Я бы и к отцу своему так пришел, если б он был живой... Только он, я знаю, ничего бы такого... Он скорее всего сказал бы: «За угощение с первых твоих заработков — благодарствую. Но смотри не завлекайся этим баловством...» — Голос у Мити вдруг задрожал, и он умолк.

Екатерина Антоновна с осуждением поглядела на мужа:

— В самом-то деле, чего ты напустился? Человек от чистого сердца, а его за это... Он, поди, и понятия не имеет про то, что ты тут намолол. Зачем же темное во всем видеть?

Максим Андреевич долго молчал, пощипывая желтые усы. Потом посмотрел на Митю открытым взглядом.

— Ну, коли так, Димитрий,— сказал он негромко и проникновенно,— прости ты меня. Старые-то глаза и в новине, знать, старину видят... Словом, прости, голубок. Антоновна, две рюмки...

Пока он доставал из-под цветочного столика бутылку, Екатерина Антоновна поставила на стол две граненые старинные рюмки толстого белого стекла.

Близко поднося их к глазам и щурясь, Максим Андреевич не спеша наполнил одну, потом другую, так же не спеша заткнул бутылку бумажной пробкой и поднял свою рюмку.

— За тебя, значит, голубок. За все хорошее...— Он потрогал жесткие усы, в которых пряталась улыбка.— И еще скажу я, как сказал бы твой батька: «Смотри, без баловства! Чтоб она никогда силу над тобой не имела...»

Пригубив, старик поставил рюмку, суетливой своей походкой вышел из комнаты и быстро вернулся.

— А это мой отдарок тебе, Димитрий,— сказал он, протягивая Мите плоский черный карманный фонарик.— Может, сгодится когда. Не больно казист он, правда, а мне сколько уж лет хорошо светит. Пускай теперь тебе посветит...

Митя поднялся и, обеими руками принимая подарок, почти шепотом проговорил:

— Спасибо, Максим Андреич...

Возле калитки Митю встречала мать.

— Поздно-то как сегодня! — Тонкими пальцами она коснулась его плеча, заглянула в глаза.

— Получку выдавали, вот и задержался.— Он взял мать под руку и направился с нею во двор.

Марья Николаевна рассказала, что несколько минут назад прибегал Алеша, радостью поделился: его тоже переводят на паровоз.

— На одной машине будем,— оживился Митя.— Кочегар из нашей сменной бригады в помощники переходит, Алешка на его место...

Раздевшись, он вошел в столовую и устало опустился на кушетку.

— Сейчас поесть соберу. Остыло все, поди...— Мать засуетилась, как бывало, когда из поездки возвращался отец.

— Подожди, мама.— Митя протянул ей крохотный ключик на кожаном шнурке.— Возьми там кой-что...

Как ни старался он казаться равнодушным, но мать услышала в голосе его торжествующие нотки. Так всегда после получки делал отец. Он приходил с работы, умывался, а потом, как бы между прочим, говорил: «А ну, Марьюшка, достань-ка там кой-что...» — и протягивал ей ключик. Она открывала сундучок и находила конфеты, какую-нибудь материю, деньги...

Должно быть, мать вспомнила сейчас об этом, потому что глаза ее вдруг затуманились. Она принесла из прихожей сундучок, открыла его и достала картонную коробку. В ней красовались добротные и нарядные туфли.

— Кому это? — спросила она, осторожно коснувшись пальцами мягкой коричневой кожи.

— Тебе, мама. Ты же хотела...

— Когда это было! И в уме ли ты — на таких-то высоких подборах?

— А что? Ты ведь у меня совсем еще молодая...

Оглядывая обновку, мать, влажно блестя глазами, качнула головой:

— Спасибо, Димушка! Сама-то я, наверное, и не собралась бы.

— Конечно. Для себя никогда не хватает времени...

Когда мать достала из сундучка деньги, он, внимательно поглядев на стены, серьезно сказал:

— Знаешь, что я надумал? Летом дом перебирать станем. Нужно подновить его малость.

Марья Николаевна тихо подошла к нему, обняла за плечи, прильнула своей влажной щекой к его щеке:

— Милый ты мой, Дмитрий Тимофеевич! Дождалась я. Дождалась...

ЗАГАДОЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Как только Максим Андреевич и Самохвалов спустились принимать машину у своих сменщиков, Алеша поправил ушанку, застегнул тужурку на все пуговицы и стал не спеша складывать газету, в которую завертывал еду.

— А не рановато? — сказал Митя.

Алеша обернулся с наигранным удивлением. Оттого, что лицо его было черно от копоти, зеленоватые глаза казались особенно яркими.

— Что за новости?

Нет, это были не новости. За два месяца он ни разу не сдал смены как следует: арматура всегда грязная — страшно дотронуться, инструментальный ящик похож на свалку, обшивка котла заросла копотью, даже бронзовых колец не видно. Если с этим почему-то мирится машинист Храмцов, то Митя не станет мириться. И больше подбирать за Алешкой «хвосты» не будет; в конце концов из-за этих поблажек он никогда не научится по-настоящему ходить за машиной...

— Хватит, я уже усвоил! — Алешка скривил потрескавшиеся губы.—Проявляешь душевную заботу?

— Считай как хочешь.

— З-знаешь, у меня твои бесконечные поучения уже в горле сидят. С тобой невозможно жить в дружбе...

Митя сказал, что требует с Алеши не больше, чем требовали с него самого. А дружба... дружба вовсе не значит, что кто-то должен в няньках ходить...

— Он требует! — с насмешливым пафосом повторил Алеша.— Какая высокая сознательность! Ах да, я забыл, ты ведь уже комсомолец! Правда, без году неделя...

Сжав кулаки, Митя шагнул к нему:

— Замолчи!

— Подумаешь! — вскрикнул Алеша.— Вас и критикнуть нельзя. Неприкосновенная личность. Выслуживаться решил? Ну, нажалуйся.

— Не в моей привычке. Сам заставлю.

— Однако! — нараспев проговорил Алеша. И вдруг по Митиному лицу, по всей его напряженной фигуре понял, что тот не отступит от своих слов.

Постояв, он медленно расстегнул тужурку, так же медленно достал из ящика паклю и, тихо напевая неверным голосом, принялся протирать инжектор.

«Невозможно жить в дружбе!» — вспомнил Митя. И правда, невозможно. Все на зубах, все только грызня. Лучше бы кто чужой был сменщиком...

— Димитрий, про смазку не забудь! — крикнул снизу Максим Андреевич.

Взяв бидон и не посмотрев в Алешкину сторону, Митя спустился с паровоза.

Алешка кончил чистить арматуру, помешкал недолго, размышляя о чем-то, и, обреченно махнув рукой, стал складывать инструменты. Друг! Друг — это тот, кто пойдет за тебя в огонь и в воду, кто жизни своей для тебя не пожалеет. А он? Боже мой, несколько раз протер за друга вентильки и краны — и уже надорвался. И вообще, разве это дружба? В дружбе должна быть общность интересов. А где она, эта общность? Он без памяти от своей промасленной робы, от железного сундука, по которому любой прохожий угадает, кто ты, где работаешь и сколько получаешь, от этой дурацкой жизни на гремучих колесах. Во всем свете, наверное, не найти работы более грязной, суматошной и трудной. От поездки до поездки не можешь смыть проклятую въедливую сажу; когда все порядочные люди отдыхают, ты трясешься на паровозе и до изнеможения борешься со сном. А днем клюешь носом, и голова не перестает гудеть, как пустой котел, по которому бьют железиной. А он не наговорится о прелестях паровозной службы. «Алешка, ты понимаешь, мы — рабочие люди!» А что особенного? Где сказано, что все должны начинать от печки? Если бы не обстановка, Алеша иначе устроил бы свою жизнь. Да, разные у них интересы, разные взгляды, и чем дальше, тем больше они расходятся...

Покончив с инструментом, он в сердцах захлопнул ящик, подмел железный пол и огляделся: «Пожалуйста, высокосознательная пиявка! Какие будут замечания?»

Когда он спускался с паровоза, к нему подбежал незнакомый рабочий паренек с широко поставленными светлыми, навыкате глазами.

— Слушай, друг,— сказал он.— Ты с этой машины?

— Ага.

— А я вон с той,— он показал на дальний путь, где стоял паровоз.— Сделай одолжение, дай резачка на минутку...

Обращение паренька, его приветливое лицо не позволили Алеше отказать. Он быстро вернулся на паровоз, отвязал резак и подал его с тендера:

— Только вернуть не забудь...

Когда спустя минут пятнадцать паренек прибежал с резаком, паровоза на том месте уже не было...

Поездка эта, за исключением разговора с Алешкой, обещала быть спокойной, ничем не примечательной. Только небо да воздух были особенными. Небо словно распахнулось, необозримо-огромное, чистое, без единой тучки, бездонно-голубое над головой и холодновато-зеленое на горизонте. А воздух, прозрачно-светлый, по-весеннему терпкий, был похож на ключевую воду.

За горами скрылось солнце. Быстро стемнело. В сумерках звуки будто сделались ярче, слышнее. Громче грохотали колеса, шипел пар, поскрипывало железо будки, ревел свисток.

Когда миновали первый подъем, Митя вдруг заметил, что не успевает наполнять углем лоток. Самохвалов почти не отлучался от топки, вид у него был взъерошенный, тревожный.

— Не уголь, а черт те что! Давно не видал такой пакости! — ворчал он.

Оторвавшись на минуту от окна, Максим Андреевич заглянул в топку и, нахмурившись, велел немедленно «пройтись резачком».

— Резак! — повернулся к Мите Самохвалов.

— Есть!— Митя бросился на тендер.

Помощник машиниста откинул дверцу топки, а кочегар не возвращался.

— Тебя там ветром не унесло? — нетерпеливо закричал Самохвалов.

Митя не отозвался. Самохвалов выбежал на тендер.

— Где резак?

Митя молчал в оцепенении.

— Ты что, на язык свой наступил!

— Тут он лежал...

— Лежал. Это что, иголка!

— Я хорошо помню, я принимал его у Белоногова.

— Вывалился, значит. Бросил его на произвол, он и вывалился.

— Он цепью был привязанный.

— Выходит, его духи святые унесли. Как в сказке! — Самохвалов крякнул и, пригнувшись, нырнул в будку.

Оттуда послышался его гневный голос:

— Все. Накрылся резак. Был и нету!

— Вот так новость! — воскликнул машинист.

Мите вспомнилось, как он, впервые придя на паровоз и увидев привязанные цепью резак, пику и другие инструменты, посмеялся. А Самохвалов осуждающе заметил тогда: выпадет на ходу какой-нибудь инструмент — и горько заревешь в поездке. И, хотя резак никак не мог выпасть, слова эти, к несчастью, оказались пророческими...

Митя посмотрел в топку. По всему днищу будто разлилась дымящаяся лилово-серая лава, над которой поплясывали то рыжие, то голубоватые немощные огоньки.

— Видал? — громко спросил Самохвалов.

— Шлак затягивает колосники,— машинально сказал Митя.

— Дутье не проходит... Топка может остудиться, давление в котле сядет. А с ним и мы сядем на мель.— Самохвалов взбешенно сверкал своими цыганскими глазами.— Обязательство пишем — топливо экономить, а тут каким еще пережогом пахнет...

Мите показалось, что стрелка парового манометра неумолимо падает.

Самохвалов попытался «прорезать» топку пикой, но шлак быстро затягивал колосники, топка остывала, давление падало. Перед крутым подъемом к станции Перевальной пришлось остановить поезд: нужно было почистить топку, подкопить пару.

Потный, красный от натуги, Самохвалов орудовал пикой, недовольно хрипел.

— Инструмент пустяковый, всего, может, пятерку стоит, а что получается? Опять заело, лешак его возьми! Да разве в цене дело? Не уберег — и убытков не сосчитаешь. Ну, собачья душа, надо бы свининкой заправиться для такой работы... Уголь пережгли, из графика, считай, выбились... Вот тебе и пустяковый инструмент....

— Могила,— глядя в топку, угрюмо сказал Максим Андреевич.— Месяц доброй работы схоронили...

В Кедровник поезд прибыл с опозданием на тридцать две минуты...

А в середине следующего дня, по возвращении в Горноуральск, Митя передавал смену Алеше. Когда они вышли на тендер, Алеша сказал с улыбкой:

— У вас у всех такой вид, будто вы что-то не то съели...

— Еще чересчур хороший вид,— удрученно ответил Митя.— Вчера поездка была — страх. Всю топку шлаком затянуло, а резака нет. Пропал. Принимал у тебя смену — он был, а потом — как в воду... Пережог топлива, график нарушили... Здорово подсадил я бригаду...

— Резак пропал?— Глаза у Алешки забегали, словно он силился что-то вспомнить. Потом он опустил их и стиснул губы.

Митя принял это за выражение сочувствия.

— Сейчас заявлю про утерю, тебе новый выдадут. Смотри береги...— и, взяв сундучок, ушел с паровоза.

От дежурного по депо Митя зашел в нарядческую.

На скрип двери Вера подняла голову, быстро встала, подошла к барьеру.

— Что у тебя? — тревожно спросила она, вглядываясь в его осунувшееся лицо.

Митя рассказал.

Верина рука лежала на барьере, пальцы то шевелились, как бы щупая гладкую поверхность дерева, то сжимались в кулачок.

— Как же? Как же это?

— Сам ничего не пойму.

— Да, загадка...

— И никто не поверит...

— Ну зачем так думать? — горячо сказала она.— Обязательно выяснится, что ты не виноват. Говорят же: «Придет ниточка к клубочку...» И придет. Быть не может иначе! — и она убежденно пристукнула по барьеру кулачком.

ЗНАЧИТ, НЕ ПОВЕРИЛА...

Нигде не пил Митя такого вкусного чая, как в Кедровнике. Даже Максим Андреевич, «старый чаевник», уважительно отзывался о чае, который готовила Наталья Митрофановна, дежурная «бригадирки».

Старик уже позавтракал, выполнил свою «чаевую норму» и теперь хрипловатым утренним голосом с волнением читал сводку, в которой сообщалось, что войска Первого Белорусского фронта вышли к реке Эльбе...

— Знать, скоро миром заживем, слава богу...— негромко сказала Наталья Митрофановна.

«Как бы папаня сейчас радовался!» — с болью подумал Митя.

Допивая чай, он вдруг заметил, что дежурная пришивает вешалку к его тужурке. Вешалка оборвалась вчера ночью, и он пристроил тужурку на петле лацкана. Вскочив со стула, смущенно благодаря, Митя хотел отнять тужурку, но женщина не уступила.

— И вовсе не стоило вам глаза свои натружать,— с шутливой ревностью заметил Самохвалов.— Есть кому за ним с иголочкой ходить, хоть он и холостой-неженатый.

— Мамане-то его, должно, хватает забот,— спокойно ответила Наталья Митрофановна, откусила нитку, повесила тужурку и увидела, что Митя допил чай.

— Отпей еще чашечку. Как раз свежая заварка поспела...

Ему не хотелось больше чаю, но он не стал отказываться: это было единственно приятное, что он мог сделать для этой женщины, так похожей на его мать.

В тот момент, когда Наталья Митрофановна поставила перед Митей дымящуюся чашку янтарного душистого чаю, в комнату

шумно ввалилась бригада машиниста Ваганова, только что приехавшая из Горноуральска.

Машинисты поздоровались за руку, обменялись несколькими замечаниями насчет дороги, а кочегар, плотный парень с плоским, безбровым лицом, подошел к Мите.

— Читали, брат, читали! Хлестко написано. И намалевано — живот надорвешь...

— Ты про что? — Митя обжег губы и отставил чашку.

Самохвалов перестал жевать.

На низком лбу кочегара собрались длинные складки.

— Так ты, выходит, не видал газетку! Вот это здорово! — и он с бездумной веселостью пересказал содержание заметки о кочегаре Черепанове и карикатуры, посвященной ему же: паровоз номер 14-52 летит на всех парах, а рослый парень с темным ежиком («сразу скажешь — Черепанов!») зацепил длинным резаком колесо и, упираясь изо всех сил, старается удержать машину...

— Что ж тебе так весело? — отложив газету, строго спросил Максим Андреевич.

— Вот именно,— вставила Наталья Митрофановна сердито.— Принес поганую весть и радуется...

Парень мгновенно сник, плоское лицо его обиженно вытянулось.

— Я ничего... Нешто я радуюсь? Просто смешно...

— Мог бы и про тех подумать, кому не смешно. Думалка-то у тебя вон какая! — Наталья Митрофановна ткнула сухим пальцем в сморщенный лоб кочегара и обернулась к Мите.

Он сидел ссутулясь. Женщина не знала, что сказать ему, и молча положила руку на его плечо.

Митя дернулся, словно его разбудили, обвел всех затравленным взглядом. Потом вскочил, как попало насадил на голову ушанку, сорвал с вешалки тужурку, схватил сундучок и выбежал из комнаты.

Стараясь не шелестеть бумагой, Самохвалов завернул остатки завтрака, отодвинул недопитый чай. Старик спрятал очки, громко щелкнул крышечкой железного футляра.

Вчера перед выездом из Горноуральска Максим Андреевич и Самохвалов увидели стенную газету. Не сговариваясь, они решили не расстраивать человека перед дорогой и, чтобы Митя не зашел в дежурку, встретили его на путях...

— Горе с этими писаками! — раздосадованно крякнул машинист.— Посоветовались хотя б. Рады, что писать выучились...

— И Кукрыникса эта тоже...— возмущенно поддержал Самохвалов.— Только бы малевала, кукла!..

А Митя быстро шел по улице, с сундучком в руке, с тужуркой под мышкой.

Значит, не поверила. Ни одному слову не поверила. Сказала,

что верит, а сама села строчить заметку! Что же это? Как можно? Как она могла? Даже если кто-то другой написал, все равно, она в редколлегии, она могла протестовать. А еще обвиняла Митю в предательстве! Вот тебе и «загадка»! Нет, не загадка, все уже разгадано. Начал клубочек разматываться...

В депо, возле паровоза, его встретил дежурный кочегар, старичок с остренькой, как у Калинина, бородкой.

— Припекает солнышко-то? — кивнул он на тужурку в Митиной руке.

— Сильно припекает,— Митя грустно усмехнулся каким-то своим мыслям.

— Сердце радеет, как поглядишь на справного работника, — приветливо говорил старик.— Обнаковенно сперва помощник приходит, погодя — сам машинист. Ну, а ваш брат, кочегар,— на самый напоследок. Поди, в ударниках ходишь, парень, на Доске почетной значишься?

— Прямо как в воду глядите, папаша,— насмешливо отозвался Митя.— На всех как есть досках значусь...

Из Кедровника они выехали в полдень. Митя почти не уходил с тендера. Что и говорить, он виноват. И он смирился бы с любым наказанием — с выговором, с карикатурой, с заметкой в газете, если бы к этому не имела отношения Вера. Как он ошибался! Должно быть, нет людей, которые бы не ошибались. Но ошибиться в человеке — что может быть страшнее и горше? А хорошо бы сейчас взять да и умереть. Пускай погрызет, помучает ее совесть. Да разве она вспомнит, пожалеет о нем? Мать будет убиваться. Кто-нибудь вздохнет: «Жаль парня, самые расцветные года...» — и тут же забудет. И все забудут. Быстро и навсегда. А ведь отца-то помнят не только дома, в семье! Но он много оставил по себе: душевное отношение к людям, методы вождения тяжеловесных поездов, «машинку Черепанова», наконец, березки на улице Красных зорь... А Митя? Умри Митя сегодня — что напомнит о нем людям?..

Жалость, безудержная, тоскливая жалость к себе сдавила ему сердце.

А навстречу лился теплый, душистый воздух. Тень от поезда бежала вдоль откоса живой пунктирной линией — темная полоска и просвет.

Поворачиваясь, уплывали назад островерхие терриконы дражных отвалов, отливавшие на солнце перламутровыми огоньками. Слева вдоль дороги чудовищно огромными кристаллами высились горы. На вершинах, над самым обрывом, стояли темно-зеленые степенные кедры. Они слегка покачивали ветвями, точно манили к себе молодые сосны, карабкавшиеся по крутым каменисто-серым склонам. Справа от дороги голубело дремучее озеро; железнодорожное полотно, сверкая, бежало вдоль его отлогого берега. Митя вдохнул горь-

коватый запах сосновой смолы, зябкую свежесть воды, а поезд мчался уже мимо торжественно белых березовых колоннад, мимо вечной зелени сосен и елей, которым не было ни конца ни краю.

Ему пришла мысль, что в жизни все меняется так же, как и эта дорога: только что поезд прорывался по узкой каменной теснине и вокруг было сумрачно и тревожно, а сейчас куда ни глянь — солнечный простор. Эта мысль понравилась ему и немного успокоила. Он смотрел, смотрел теперь по сторонам с таким интересом, словно надеялся, что дорога предскажет ему что-то, приоткроет будущее...

Непроглядной зазубренной стеной поднялась впереди тайга. Поезд мчался прямо на нее. И когда уже не было сомнения, что он врежется в эту несокрушимую высокую стену, неожиданно открылась солнечная просека. Тайга расступилась неохотно — почти вплотную к колее со смелым любопытством подбегали молодые сосны, ели и березки.

Но таежный коридор был мрачен. В глубине его, где как будто смыкались зеленые стены, клубился, кипел, рвался кверху тяжелый бурый дым. Черное крыло его грозно нависло над просекой. Потянуло гарью. Стало темнее.

В тот момент, когда Митя забежал в будку, Максим Андреевич отпрянул от окна, схватился за ручку регулятора, крикнул:

— Горит! Лес горит!..

Самохвалов перестал кидать уголь в топку, высунулся в окно.

— Прямо на нас идет...— Он захватил голову руками и кинулся к машинисту.— Лучше назад, Максим Андреич... Надо назад...

— Ветер сильный. Если отступить, догонит. Все равно догонит, — размышлял Максим Андреевич, напряженно глядя вперед.

Самохвалов испуганно смотрел на него.

— Рисковое дело...

Впереди клубилось и кипело пламя, обернутое тяжелой, колышущейся на ветру пеленой дыма.

Сквозь шум ветра и грохот машины послышалась перепуганная трель свистка: главный кондуктор требовал остановить поезд.

Максим Андреевич поднял голову и как-то отчаянно усмехнулся. Глаза сверкнули решимостью. Он бросил взгляд на манометр, заглянул в топку. Движения его были быстрыми и сильными.

— Пробьемся. Должны пробиться. Пару нагоняй! — громко, отрывисто крикнул он.

И следом за этими словами длинный, пронзительно-резкий свисток пробуравил воздух. Это означало: «Вперед, только вперед!»

Машинист налег на регулятор. За окном быстрее замелькали деревья, чаще застучали колеса, сильнее зашумел ветер.

Охваченная пламенем тайга летела навстречу.

ЗАПОЗДАЛАЯ ИСПОВЕДЬ

— А я говорю: не терял он этот несчастный резак. Тут что-то непонятное, загадочное. Надо разобраться, потом уж писать...

— Довольно авторитетно! — насмешливо заметил кто-то за Вериной спиной.

Тоня Василевская, беря со стола карандаш, покосилась на Веру:

— Белоногова, оказывается, верит в чудеса.

— Я в человека верю,— запальчиво отозвалась Вера.

— Громко! — со спокойной издевкой, певуче сказала Тоня.

Сидевший в углу техник механического цеха Панов, считавшийся, несмотря на свои двадцать лет, человеком рассудительным и благоразумным, заявил, что ничего непонятного нет: инструмент исчез, бригада в связи с этим попала в тяжелое положение — спорить не о чем.

— Правильно,— поддержала Урусова.— Воспитывать надо. Пусть все видят, к чему ведет халатность. В другой раз не будут случаться загадочные истории. Только что в комсомол человека приняли, а он...

— Сначала выяснить бы, халатность это или что другое, а потом ставить человека к позорному столбу! — в тон ей горячо сказала Вера.

— С каких это пор наша газета — позорный столб? — возмутился техник Панов.

Вера с раздражением сказала, что не нужно придираться к словам, она имела в виду заметку, а не газету.

Такая заметка будет для Черепанова позорным столбом, а он не заслужил этого.

— Может, Вера и не совсем удачно высказалась,— рассудила Урусова,— но не в том дело. Хотелось бы, чтоб заметку написала именно ты, Вера. У тебя получится и складно и остро...

— Я не буду! — вскрикнула Вера.— Я против и писать не буду!

Тоня Василевская оторвала глаза от бумаги, проговорила вкрадчивым голосом:

— А Любовь Яровая была принципиальнее, сильнее...

— При чем тут Любовь Яровая? — не поняла Урусова.

— При том...— сощурилась Тоня.— Яровая ради идеи, ради справедливости не считалась со своим личным...

Маня Урусова посмотрела на Василевскую, потом на запылавшее лицо Веры.

— Да ну?— вырвалось у нее, как вздох.

— Вот именно,— Тоня многозначительно наклонила голову и протянула ей бумагу.

Маня громко рассмеялась.

— Ох и молодчина! Здорово-то как! И похож, просто жуть! Нет, вы только посмотрите...

Листок бумаги стал кочевать из рук в руки и наконец попал к Вере. Щеки у нее разгорелись сильнее. Сжав губы, она с минуту разглядывала карикатуру и взяла со стола карандаш.

Тоня выпрямилась и застыла. Урусова зачем-то хотела подняться, но осталась сидеть, навалившись на стол. Все, кто был в комнате, замерли в беспокойном ожидании.

И в тишине все услышали, как зашуршал по бумаге карандаш. Черная цепь повисла с тендера, упала на землю и, завиваясь колечками, потянулась к резаку, который держал паренек, изображавший Митю. Еще два-три кольца — и резак будет привязан к тендеру. Но рука предательски задрожала.

— Он сказал... Он не терял, не мог потерять резак. Понимаете вы? Может, стащили у него, вы же не знаете? Не хотите верить человеку — дело ваше. А я верю. Можете писать. Можете налепить даже это, эту мазню...— Вера задохнулась, бросила на стол бумагу, карандаш и выбежала из комнаты...

Дома никого не было. Она попробовала читать и откинула книгу. Включила радио, но, услышав звуки веселой песни, выдернула вилку. Ах, Маня, Маня, борец за справедливость! А казалось, что ты тоньше, что ты лучше разбираешься в людях... Мите скоро выезжать, конечно, он увидит газету...

Вернулся из поездки Алеша. Не поздоровался. Наспех помылся и с каким-то ожесточением долго тер полотенцем шею.

— Видел сейчас ваше произведение.— Он окинул сестру негодующим взглядом: — Из мухи слона соорудили, будете торговать слоновой костью?

Вера молчала. Как ни горько ей было, она втайне радовалась, что Алеша так заступается за друга.

— Ну, а ты-то заранее распрощалась с Митей? — с озлоблением спросил он.

Вера быстро обернулась.

— Не волнуйся, он самоубийством не покончит,— сказал Алеша.— Но и не посмотрит в твою сторону...

Вера ужаснулась, что Митя тоже может решить, что она участвовала в этом «произведении». Увидев ее волнение, Алеша злорадно рассмеялся.

С того дня, как Митя сказал ему о пропаже резака, он ходил сам не свой. Он боялся Митиных глаз, ему казалось, что Митя глядит на него необычно пристально. Он терзался и молчал. Черт подери, надо было тогда, сразу признаться, и дело с концом. Но кто мог знать, что все так обернется? Разве он думал

подвести Митю, разве хотел ему зла? А что вышло? Конечно, если бы не эти критики, все бы заглохло. Тот кочегарик с выпуклыми глазами, должно быть, не заметил номера паровоза. Теперь он прочитает заметку и узнает, кому следует вернуть инструмент. И непременно вернет и расскажет все, как было. Так стоит ли дожидаться? Не лучше ли самому рассказать? За признание, говорят, полнаказания...

Но вечером Алешка так и не рассказал ничего.

Проснулся он около десяти утра. Матери уже не было дома. Вера в другой комнате гремела посудой, и он вспомнил, что у сестры сегодня выходной день. Что ж, это кстати...

Завтракали молча. Он почти ничего не ел, но сестра, против обыкновения, не замечала этого.

— Интересно, а факты у вас проверяются? — глядя в тарелку, спросил Алеша.

— Какие факты?

— Ну, перед тем как расписывать и разрисовывать человека...

— А что проверять? Инструмент пропал? Пропал. Надо воспитывать людей, чтоб не случались загадочные истории...

— Воспитатели! А может, кочегар Черепанов и не виноват?

Она посмотрела на брата с испугом и тревожной надеждой.

— А кто же... ты думаешь?

— Я не думаю, я знаю...— сказал Алешка с мрачной загадочностью.

Вера ждала не шевелясь, перестав дышать.

— Я виноват...

— Ты врешь!

— Глупенькая, разве так врут? — жалобно улыбнулся он.

— Не может быть,— почти без голоса прошептала Вера.— Что ты выдумываешь?..

— Я сдал Мите смену, он ушел за мазутом, а тут черт принес пучеглазого кочегара с другого паровоза. «Дай на минутку резачка». Я и дал. Вот и все...— Алеша вздохнул, распрямил плечи и поднял голову.

Вера с молчаливым ужасом смотрела на брата.

— Как же... Почему же ты молчал? — Голос был такой, словно у нее болело горло.

— В том смысле, что не доложил вашей редколлегии?

— Ты еще остришь? Мите, Мите ты должен был сказать?

— Ну, духу не хватило. Думал, уляжется тогда...

Приложив руки к побелевшим щекам, Вера медленно поднялась из-за стола, долго ходила по комнате. И вдруг решительно подошла к брату.

— Все ложь, ложь! Если бы улеглось, ты продолжал бы молчать. Друга подвел, подставил под удар и спокойно молчал. А теперь заговорил. После газеты заговорил. Какая порядоч-

ность! Теперь и без тебя раскрылось бы. Подлость, подлость! Откуда в человеке столько подлости! Митя не простит. Разве можно простить? Тебя же выгонят из депо! Выгонят и будут правы...

— А я и сам уйду,— с надрывом сказал Алешка.— Я знаю, ты первая раздуешь дело. И новую заметку настрогаешь, тебе ведь все равно, кого гробить...

— И уходи. Кроме позора, от тебя ничего!

Он понизил голос, кивнул на дверь:

— Соседи. Договоримся тихо: я уйду, чтоб не позорить ваш светлый образ. Скучать придется только о паровозной копоти...

— Да ты сам чернее копоти. Сейчас же идем к Урусовой, все расскажешь...

Вера вышла в другую комнату. Алешка слышал, как она шуршала одеждой, как надевала туфли.

«Препаршивое дело!— думал он удрученно.— А может, к лучшему? Не хватило бы воли бросить эту дурацкую карусель. Теперь все. Надо заканчивать школу и готовиться в институт. В какой? В какой-нибудь такой, чтоб не копаться потом в грязи, чтоб жить по-человечески. В инженерно-экономический, например. Кстати, там математики меньше, чем в других втузах...»

— Пошли! — Вера стояла перед ним в пальто, решительная, грозная.

Он заерзал на стуле:

— Зачем я... Ты и сама справишься...

— Пойдем! Подличать умеешь, умей и отвечать.

— Никуда я не пойду.

Прежде чем он успел подумать об обороне, оглушительно-звонкая оплеуха обожгла ему щеку. Он отшатнулся, машинально приложил руку к горящей щеке, и в тот же миг на другую щеку обрушился еще более размашистый и сильный удар...

Всхлипывая, Вера быстро вышла из комнаты.

Урусову она застала в комитете. А через полчаса здесь собралась почти вся редколлегия.

Заметка и карикатура были приклеены так основательно, что содрать их не удалось. И Вера не без удовольствия старательно заклеила их чистой бумагой. Кто-то предложил срочно написать новую заметку, чтобы не портить вида. Но Урусова возразила:

— Пускай так остается. Не будем свой брак упрятывать...

Никогда еще Вера так не ждала возвращения Мити, как в этот раз. А ждать нужно было еще долго, не меньше часа. Она решила скоротать время в депо и встретить Митю на станции.

Когда они повесили газету на место и собрались уходить, в дежурку вошел Чижов. Полное лицо его было так бледно, что веснушки темнели на нем, будто чернильные брызги. Облизнув сухие губы, он сказал, что между Кедровником и Горноураль-

ском на большом участке горит тайга; поезд Максима Андреевича Егармина пробивается сквозь огонь...

Вера не помнила, как вышла из дежурки, как прибежала на перевалочную станцию. Здесь было пусто. Подъемный кран стоял неподвижно; крановщик возился в будке, постукивая железом. Узкоколейный путь был свободен, а на широкую колею маневровый паровоз медленно тащил порожний состав.

Издали приближалась группа девушек и парней — наверное, грузчики. Вера подошла к ним, спросила, когда прибывает поезд из Кедровника. Темноглазая женщина с обветренным лицом посмотрела на электрические часы.

— По расписанию, считай, должон через час без десяти минут.

— А сведения о нем есть?

— Кому положено, у того, видать, есть.

Грузчица определенно не собиралась откровенничать с незнакомым человеком. Вера дала понять, что работает в депо, что знает о пожаре.

— Сказывают, сильный огонь,— озабоченно нахмурилась женщина.— Верховик ударил по молодняку, и пошел гулять, рыжий разбойник. Да и ветер проклятой тут как тут. А у тебя там кто?

— Друг у меня на паровозе,— краснея, ответила Вера.

Женщина сочувственно покачала головой.

— Им как раз огонь встречу шел... Да пока ничего такого не слыхать...

Через полчаса на площадке появились майор в шинели с артиллерийскими погонами, Горновой и дежурный по станции. В угрюмом молчании они остановились под часами.

Вскоре послышалось фырканье автомашины: почти к самой площадке подошла желтая машина скорой помощи.

Дежурный по станции сказал что-то майору, и тот одобрительно закивал.

У Веры захолонуло сердце. С трудом подойдя к краю площадки, она смотрела в даль колеи. Но ничего не видела за расплывчато-серым влажным туманом.

СКВОЗЬ ОГОНЬ

Поезд шел на предельной скорости. Багровые полотнища огня шумели вокруг него, как флаги. Неистовый ветер далеко раскидывал горящие ветки. Черными зловещими птицами носились над поездом головешки с длинными дымными хвостами.

Самохвалов топил без передышки. Митя швырял уголь в лоток. Дым разъедал глаза. Мите казалось, будто у него вместо глаз какие-то мутные, слепые стекляшки. Он плакал.

В небе, затянутом серой, как пепел, дымкой, кружил самолет, наверное, авиапатруль. Звук мотора тонул в шуме валящихся деревьев, в удручающем посвисте быстрого огня, в сухом стреляющем треске лопающихся стволов.

Солнце, подернутое маревом, расплылось тусклым пятном. Внезапно стало еще темнее. Митя вскинул голову, но тут же пригнулся: на него валилась сосна, вся закутанная в черное развевающееся покрывало дыма.

Сосна пронеслась так низко, что Митю обдало смолисто-горьким душным жаром, оглушило ураганным свистом. Боязливо выпрямившись, он взбежал на палубу тендера. Отсюда было видно, как валилось дерево. Черное покрывало тащилось по земле, ветер сорвал его, открыв трепещущие яркие лохмотья пламени.

Дерево с хрустом рухнуло, роняя на платформы горящие ветки, комья огня, головешки. Зеленый брезент, которым были перекрыты орудия, быстро задымился в нескольких местах.

Бросив лопату, Митя лег на край палубы, нащупал ногами первый пруток вертикальной железной лесенки на заднем борту тендера и стал спускаться.

В просвете между тендером и первым вагоном с грохотом летела узкая полоса земли, от мелькания шпал рябило в глазах.

Стараясь не глядеть вниз, он по буферам перебрался к вагону, ухватился за поручни лестницы и через мгновение был уже на крыше.

Горячий ветер опалил ему лицо, сорвал шапку. Задыхаясь от едкого дыма, плача и кашляя, Митя перебирался с вагона на вагон и наконец достиг платформы...

В это время Самохвалов кончил кидать уголь в топку, вытер потное лицо и увидел возле лотка Митину лопату. Он выглянул на тендер. Мити не было. Не веря себе, он еще раз огляделся.

— Черепанова нету!

Старик разозлился:

— Что мелешь?

— Нету.

— Быть не может! Как же так? Неужто он...

Самохвалов молчал, выпятив черные губы.

— Еще беда...— Максим Андреевич отвернулся к окну.

За окном по-прежнему лютовал огонь...

Ступив на платформу, Митя остановился в отчаянии: и на этой платформе, и на другой, и на дальней — всюду пылал брезент. Вдруг он увидел: с последнего вагона на платформу спускается часовой с автоматом, дежуривший в хвосте состава. Появление этого человека вернуло Мите решимость.

Брезент горел, как бумага. Огонь обнажил ствол орудия; зеленая краска пузырилась на нем в нескольких местах. Брезент

прикреплен внизу, отвязывать его долго. Митя схватил обеими руками горящую толстую материю, рванул изо всей силы, сбросил с орудия, растоптал огонь. На соседнем орудии, как раз в том месте, где были зачехленные приборы, пылала длинная сосновая ветка. Обжигаясь и не чувствуя боли, он скинул ее с платформы. А брезент не поддался, пришлось душить пламя руками. И, пока он боролся с ним, загорелся толстый чехол на приборах.

Митя попытался отстегнуть чехол. Огонь нестерпимо хватал его за пальцы, цеплялся за рукава комбинезона. Тогда Митя навалился на него грудью. Он услышал стук своего сердца, заглушавший грохот движения и шум ветра. Огонь замирал на чехле. Дым повалил в ноздри, в глаза. Остатки огня Митя раздавил локтями. Но откуда-то из-под орудия тянулся дымок. Там лежала толстая головешка. Похожая на старую ворону, проклятая головешка хитро притаилась и выглядела мертвой, остывшей. Но стоило взять ее, как она словно жадным, обжигающе-острым клювом вцепилась в руку. Он бросил головешку на землю; ему показалось, что она успела содрать кожу с его ладони...

С первой платформы Митя перелез на вторую, потом на третью, четвертую. В азарте борьбы он уже не замечал ни свирепого гула огня, который страшил несколько минут назад, ни опасностей, подстерегавших его на каждом шагу. Он чувствовал свое превосходство перед огнем, видел, что побеждает, и это наполняло его злой силой. Он действовал быстро, неутомимо и точно. Вот он прибил огонь на сером чехле, закрывавшем казенную часть пушки, и огляделся. На соседней платформе часовой утирал пилоткой лицо. Борьба, кажется, закончена...

Вдруг солдат вытаращил глаза, закричал что-то и, согнувшись, замахал руками. Навстречу поезду, клонясь к земле, вся в пламени и дыму, точно факел, летела высокая ель.

Митя присел на корточки. И все же длинная ветка, тяжело увешанная золотыми гроздьями огня, хлестнула его по спине, по затылку. Она зацепилась за орудие и отвалилась, рассыпая вокруг огненные лоскутья. Запахло горелым волосом. В затылке жгло. От боли Митя вскочил, сделал руками такое движение, будто мыл голову, и кинулся к горящей ветке...

А Самохвалов присел к окну, опустив на колени пудовые руки. Казалось, уже целую вечность поезд мчался в этом душном огненном тоннеле, а конца не было видно.

За окном промелькнула большая группа людей с лопатами, мотопомпа, выкрашенная в красный цвет. И внезапно повеяло таежной прохладой. Самохвалов недоверчиво выглянул в окно, затем высунулся до половины.

Полоса огня кончилась. Тайга стояла зеленая, свежая, тускло освещенная солнцем.

— Прошли! — заорал Самохвалов.— Прорвались!

Максим Андреевич снял шапку и красным платком не спеша вытер мокрый лоб.

— Димитрий-то.... Димитрий!..

Самохвалов скорее понял его по движению губ, чем услышал.

— Да вот он! Максим Андреич, вот он!— закричал помощник, бросаясь на тендер.— Митька! Куда ты запропал? Прямо как в сказке!

Митя стоял посреди тендера с черным, сморщенным от боли лицом. Руки, похожие на головешки, он держал перед собой. Комбинезон дымился на нем.

— Митька, что с тобой? Ты ж обгорел!

— Руки-то! Руки сожег! — воскликнул Максим Андреевич.

На черном лице Мити появилась смертельно усталая и смущенная улыбка. Он шагнул вперед, но колени у него мягко подломились, и он медленно опустился на шуршащий уголь.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

— Нет, ты не можешь этого представить! Когда Чижов сказал, что лес горит, я сразу почувствовала, что с тобой беда. Всегда смеялась над всякими предчувствиями, а тут каким-то чутьем угадала: с тобой что-то случилось. Прибежала на станцию — поезда еще нет, пусто. А потом не смогла протискаться к паровозу. Спросила у одного железнодорожника, он говорит: «Кочегар у них обгорел, вон повели на скорую помощь...» Я — к машине, а она перед самым носом захлопнулась и уехала. Хотела к Марье Николаевне побежать, но раздумала: ведь она ничего не знает, только испугаешь ее...— Сидя возле Митиной койки и не сводя с него влажно мерцающих глаз, Вера говорила, говорила без умолку. Митя никогда не видел ее такой взбудораженной.

Койка стояла у окна. Щедрый солнечный свет, темные каемки въевшейся копоти вокруг век — все подчеркивало бледность Митиного лица. Голова его была перевязана, лишь на макушке торчал жесткий русый островок. Руки в толстых, словно боксерских, повязках из марли неподвижно лежали на сером одеяле.

— Да, мама сильно перепугалась,— негромко сказал он.— Самохвалов хотя и предупредил, все равно чуть живая прибежала. Ее вчера пропустили. И сегодня уже была...

И он вспомнил, как робко и тихо мать вошла в палату, будто от холода кутаясь в белый халат, отыскала его встревоженными глазами и, ускоряя шаг, приблизилась к койке, молча припала прохладными губами к его лбу и щекам, прижалась головой к его груди, беспокойными руками тронула его за плечи, руки, коснулась его ног.

«Я целый, целый и невредимый. Только руки вот немного, это пустяки...» — заверил он, глядя на дорогое, измученное лицо.

— А меня вчера не пустили,— сказала Вера.— Надо было соврать, что я сестра, а я не догадалась... Но как ты мог так подумать? Ну ладно, ладно,— поспешно добавила она в ответ на его жалостливую, просящую улыбку.— Все равно еще поговорим, когда поправишься. Я тебе этого не прощу...

В палате лежало двенадцать раненых, но ни Вера, ни Митя никого не замечали, никто им не мешал.

— Было страшно? — спросила она.

— Как тебе сказать? — Он задумался ненадолго.— Сначала перетрухнул. Даже здорово. Жара адская, настоящее пекло, дым,— я и сейчас будто слышу его,— дышать нечем, огонь воет, трещит, сердце просто холодеет, хоть прыгай с паровоза или залезай в железный ящик. Я подумал, что на бронепоезде, наверное, было еще страшней... А потом уж ни про что не думал. Некогда было...

— Завидую тебе, честное слово. А кое-кто полжизни отдал бы за такое...

— Попал бы в такую историю, то же самое сделал бы... Неужто он ко мне не придет?

— Не придет, я думаю. Все-таки стыд еще есть. Что с ним будет, не знаю. Маму так жалко...

— Потерял я друга,— грустно сказал Митя.— Сколько лет вместе! А сейчас, можно сказать, только жизнь начинается — и на тебе...

В ту минуту, когда Вера узнала о пожаре, она внезапно поняла все, чего не понимала или не хотела понять, что отгоняла и скрывала от себя самой, чему раньше умышленно не придавала значения. Все прорвалось вдруг и властно и тревожно заполнило сердце. С этим чувством бежала она на станцию, протискивалась к паровозу, к машине скорой помощи, уходила вчера ночью из госпиталя, с ужасом думая, что ее не пропустили потому, что Митя в тяжелом состоянии.

Теперь она ничего не хотела и не могла скрывать ни от себя, ни от него.

— Потерял друга...— повторила Вера задумчиво.— Но ведь ты не только потерял...

Он вмиг понял ее, но не поверил, что понял правильно.

— Правда? — радостно вспыхнул он.

Вера посмотрела на него с обидой.

— Не верится мне,— тихо признался Митя. У него почему-то слегка закружилась голова, как тогда, когда после пожара он вылез на тендер.

И, словно для того, чтобы Митя поверил, она осторожно положила свою руку на его руку, забинтованную и толстую, как гиря.

— Знаешь, что я вспомнил? — сказал он очень тихо.

«Что»,— спросила она глазами.

— «Тишина, ах, какая стоит тишина!» Помнишь?

По выражению ее глаз он понял, что она вспомнила не только эти стихи, но и все, что было связано с ними.

— Чудесные стихи,— сказала Вера.— Я их очень люблю.

— А читала ты как!

— Ты уже говорил мне об этом.

— В раздевалке, помнишь? Ты стояла на одной ноге, как цапля...

— Прекрасное сравненье! И тогда ты тоже... вырвал руку свою и удрал, а я чуть не грохнулась...

— Правда, ты все помнишь?

— А ты не забыл, как первый раз влетел в нарядческую?

— И меня вроде холодной водой окатили? — Он сморщил лоб.— Нет, не припомню...

Вера тихонько рассмеялась.

К койке подошла пожилая няня:

— К тебе, Черепанов, целая делегация. Впустить?

— Впустите, нянечка...

Минут через пять в палату вошел Самохвалов, за ним — Ковальчук. Вера, смутившись, поднялась.

— Хай живе! — вполголоса приветствовал Ваня, подходя к койке и любовно оглядывая Митю.— Ну, як?

— Как видишь. Поджарился малость.

— Крепчей будешь после огня,— улыбнулся Ваня, и ямочки заиграли на его щеках.

— Что доктора? — наклонился над ним Самохвалов.

— Да вы садитесь... Доктора говорят — ничего страшного, от этого не помирают.

— Ну и добре.

Самохвалов присел на кончик стула, зачастил хрипловатым, захлебывающимся голосом:

— Знаешь, артиллерийский майор говорит — в накатниках у пушек есть азот и еще какая-то химия. Давление — пятьдесят атмосфер. От температуры могло взорваться. Тогда, брат, как в сказке...

— А я и понятия не имел,— усмехнулся Митя, глядя на принарядившегося Самохвалова. Под накинутым на плечи желтоватым застиранным халатом — синяя в полоску трикотажная рубашка, синий, грубошерстный, совсем еще новый пиджак.— Когда в наряд? — с нескрываемой завистью спросил Митя.

— Сегодня в ночь. Максим Андреич велел поклон тебе передать. Завтра, сказал, проведает...

Митя хотел было спросить, вышел ли на работу Алеша Белоногов, да раздумал спрашивать при Вере. Но Самохвалов сам заговорил:

— А закадычный-то дружок твой того... отслужил. Ему, чтоб теперь в депо показаться, надо у вашего Жука глаза одалживать. По нынешним временам его могли запросто осудить за невыход. Но не будут. Махнули рукой: туда, мол, и дорога...

Митю даже в жар бросило. Он умоляюще смотрел на Самохвалова, но тот, пока не выговорился, не умолк.

Вера стояла, держась руками за спинку кровати. Лицо у нее горело. Из жалости Митя не смотрел на нее. А тут еще и Ковальчук решил высказаться. Странные люди, не нашли другого времени!

— Ты не серчай, Вера, на то, що я скажу. Вин чистоплюй, Алешка. Пустозвон и чистоплюй...

Она молчала, кусая губы.

Кое-как Мите удалось перевести разговор. А вскоре появилась няня и сообщила, что «заявился» еще один гость, а халатов не хватает. Ребята поднялись, стали прощаться.

Ковальчук сделал Самохвалову знак, и тот вытащил из кармана и положил на тумбочку небольшой кулек.

— Как заскучаешь, пососи конфетку, и все пройдет...

— Та ему не дадуть зажуриться,— с улыбкой заметил Ковальчук.

Остановившись на секунду в дверях и сразу найдя глазами Митю, Пчелкин поднял над головой руки и сцепил их в крепком пожатии.

— Честь имею приветствовать героя,— негромко, но торжественно проговорил инженер. Большой, нескладный, он наклонился, несильно сжал Митины плечи.— Кости целы, ну, а кожа вырастет новая. Унывать, надеюсь, не будем?

Посмотрев в окно, Митя увидел небо, разлинованное проводами, как тетрадный лист, и сказал, что кожа его не волнует, а вот планы... планы могут «накрыться».

— Какие планы, позволь узнать?

— Экзамены за десятилетку...

— И что же?

Митя слегка приподнял руки в боксерских повязках и тотчас тяжело опустил их.

— Дорогой мой,— воскликнул Пчелкин,— да разве это помеха! Ты друзей, что ли, не берешь в расчет? — Он бросил взгляд на Веру.— И, если хочешь знать, нет худа без добра. Работа у тебя непоседливая, а здесь лучше подготовишься. По математике и физике могу взять шефство...

Поблагодарив инженера, Митя спросил, помнит ли Георгий Сергеевич о рационализаторском предложении машиниста Черепанова.

— Это относительно ремонта в пути тендерного подшипника? — живо отозвался Пчелкин.— Разумеется, помню, он говорил мне...

Митя сказал, что эскизы и объяснения, так называемая «писанина»,— все сохранилось.

— Отлично! — Пчелкин не дал ему договорить. — Ценное предложение. Не предполагал, что ты в курсе. Очень хорошо. Поправишься — передашь все мне. Последнее предложение Тимофея Ивановича...

После ухода инженера Вера сидела недолго. Митя все не отпускал ее.

— Надо идти, а то меня больше сюда не пустят. А заниматься начнем дня через два...— Она решительно поднялась, заглянула в окно и наклонилась к Мите: — Ты знаешь, что это за звезда? Смотри сюда, почти в угол рамы. Видишь?

— Не знаю,— недоумевая, признался Митя.

— По астрономии пятерку, наверное, имел? Это Полярная звезда,— прошептала Вера.— Из моего окна она тоже видна. Будем смотреть на нее, и получится, что мы смотрим друг на друга.— Она сощурила сияющие глаза.— Хорошо?

Митя в знак согласия прикрыл вздрагивающие, обведенные несмываемой копотью веки.

В эту ночь в небе над Горноуральском сияло множество звезд поярче Полярной. С земли то и дело взлетали целые созвездия. Ослепительно разгораясь, они неслись к небу, и в их невиданно ярком свете меркли все другие звезды.

В эту ночь радио принесло весть об окончании войны, о победе.

«ТОВАРИЩ ЧЕРЕПАНОВ...»

Возможно, для кого-нибудь лето — и самое лучшее, самое благодатное время года, но для Мити оно всегда было порой волнений и тревог. А нынешнее лето в особенности. Два с лишним месяца назад он сдал последний экзамен на аттестат зрелости, а сегодня, сейчас, может, через пять минут, будет сдавать на помощника машиниста.

В просторной комнате перед техническим кабинетом, где принимала экзамены комиссия, сидели паровозники. Самому старшему было под тридцать, он называл себя «законсервированным помощником» и рассчитывал сегодня стать машинистом. Он-то и развлекал всех, без умолку рассказывая веселые истории.

— Ну, чего запохаживал? — обратился он к парню, который нервными шагами мерил комнату.— Трусишь, что ли? Нынче трусить просто глупо. Вот годочков десять назад — другое дело. Тогда у нашего брата здорово поджилки тряслись. Почему? Тут в комиссии председательствовал тогда Курочкин Петр Иваныч. Даром что такая мирная фамилия, а паровозников резал, ровно тех курят...

— Как так — резал? — спросил кто-то.

— Вопросами. Шутник был отчаянный. Как врежет вопросец — хоть стой, хоть падай. У меня, помню, на экзамене спрашивает: «Какие меры станешь принимать, если кулисный камень попадет в водомерное стекло?» Верите, меня аж в пот бросило. За какую минуту весь мокрый стал, ровно из парилки вышел. Ноги в шарнирах дрожат, а ответить не могу. Сколько простоял, не знаю. И вдруг прояснение нашло: как же, думаю, кулисный камень — стальная штука, размером в два здоровых кулака, закрепленная снаружи паровоза, да попадет в узенькое, как градусник, водомерное стекло, которое в будке находится? Вот ведь фантазия!

— И как вы ему ответили?

— Зло меня взяло. За конфуз, за пот, который пролил. Я возьми да бухни: «Надо, говорю, паровоз в ремонт ставить и стекло водомерное потоньше сделать, чтоб камень не проходил...» — «Толково, говорит, молодец...» Вот это были экзамены! Не экзамены — сплошная головоломка. А нынче хвост поджимать нечего...

Рассказ этот хотя и развеселил Митю, но тревога не унялась. Паренек, сидевший рядом, тронул его локтем, спросил вполголоса:

— Твоя как фамилия?

— Черепанов. А что?

— Хорошая фамилия,— завистливо вздохнул парень.

— Это почему же? — насторожился Митя.

— Дальняя. Пока до тебя дойдет, они притомятся. А я — Воронов... Меня со свежими силами будут гонять...

Митя засмеялся. Волнение паренька почему-то успокоило его. Он подумал, что если бы сейчас возле него оказался Максим Андреевич, на душе было бы совсем хорошо...

И, точно в сказке, отворилась дверь, и в комнату вошел Горновой, а за ним Егармин. Разговоры стихли. Горновой направился в технический кабинет, а Максим Андреевич остановился, оглядываясь.

Митя быстро подошел к нему.

— Шел вот мимо,— попыхивая трубочкой, сказал старик.— Давай, думаю, погляжу, как тут дела...

Но Митя сразу понял, что машинист попал сюда не мимоходом, а специально шел ради него. Хорошо, если Митя оправдает его надежды...

— Как себя чувствуешь?

— Ничего не знаю, Максим Андреич. Все перемешалось, перепуталось. Каша.

Глаза старика засветились доброй, чуть насмешливой веселостью.

— Это хорошо,— убежденно сказал он.— Значит, порядком

знаниев припас. Я тебе точно говорю, по опыту. А кому сдается, ровно он все знает, тот скорей всего ничего не знает. Так оно, голубок, и перед экзаменами получается, и вообще в жизни...

Он оглядел Митю с ног до головы, как это сделала дома мать.

— Застегнись,— Максим Андреевич показал на ворот рубахи.— И ремень можно потуже. Вот так...

В это время из технического кабинета вышел парень с красным и потным лицом. Следом за ним в приоткрытой двери показалась седая, гладко зачесанная голова секретаря.

— Кто желает?

Митя взглянул на Максима Андреевича. Тот слегка подмигнул, и он быстрым шагом двинулся к двери.

За столом сидело пять человек. Из них Мите были знакомы только двое: Горновой и председатель комиссии Антон Лукич Непомнящий, начальник ширококолейного депо, приходивший перед отъездом отца.

— Черепанов? — удивился Непомнящий. Голос у него попрежнему был слабый, с присвистом.

Дальше с Митей происходило что-то непонятное: как только ему задавали вопрос, лица сидящих за столом членов комиссии словно отдалялись, теряли очертания, и он отвечал, глядя в расплывчатые, неотличимые друг от друга пятна. Когда же, ответив, умолкал, лица приближались, обретая четкие формы. Сколько времени это длилось — десять минут или целый час,— он не мог бы сказать. Но вот, кажется, все пятеро уже поспрашивали его. Непомнящий наклонился и что-то шепнул своему соседу справа, потом Горновому, сидевшему слева, и поднял глаза на Митю.

— С этой минуты, товарищ Черепанов, ты помощник паровозного машиниста,— сказал он.— Поздравляем тебя...

Митя быстро поднялся, молча кивнул головой. «Товарищ Черепанов! Товарищ!» Никогда еще так его не величали. Его звали Димой, Митькой, просто Черепановым. Но «товарищ Черепанов» — это уже совсем другое...

— Теперь скажи нам, где бы ты хотел работать: остаться на узкой колее или, может, перейти на широкую?

Неужто вот так просто и неожиданно решится то, о чем он столько думал? Нет, нет, это не послышалось, это спросил Непомнящий и ждет ответа. А ворот рубашки железным обручем вдруг сдавил горло; Митя хотел расстегнуть его, но тотчас отнял руку.

— За тобой слово, товарищ Черепанов...

— Я остался бы на узкой,— каким-то чужим голосом сказал Митя.— По-моему, все равно, какая колея — чуточку поуже или пошире. Не это главное. Но если можно... Я хотел бы на паровоз, где отец работал...

— Быть по-твоему, товарищ Черепанов...

Максим Андреевич медленно ходил по комнате, разрезая синие волны махорочного дыма. На звук открывшейся двери он быстро повернулся.

— Все, Максим Андреич! — запыхавшись, подбежал Митя.— Сдал...

— Ну вот! — старик усмехнулся и легонько похлопал его по плечу.

Когда вышли на деповский двор, Митя сказал, стараясь скрыть радость:

— Меня на широкую переводят, Максим Андреич...

Старик замедлил шаг. Радостное и вместе с тем грустное чувство, которое он всегда испытывал, провожая учеников, охватило его и теперь. Возьмешь птенца желторотого, выучишь его летать, а он крылышки расправит и летит от тебя. Вот еще один улетает, еще один год минул. А много ли их осталось, годочков-то?

— Такая уж наша доля стариковская,— со светлой тоской отозвался Максим Андреевич и протянул руку.— Матери поклон от меня передай...

Не успел Митя закрыть за собой калитку, как навстречу ему на крыльцо вышла Марья Николаевна. Хотела спросить об экзамене, но по движениям сына, по каждой черточке его сияющего лица все поняла.

— Завтра будет приказ,— громко говорил он, расхаживая по столовой.— Завтра, наверное, и в маршрут... На папином паровозе...

Марья Николаевна постояла молча и вышла в соседнюю комнату. Митя с тревогой посмотрел ей вслед: неужели чем-то огорчил, расстроил мать?

Подошел Егорка, внимательно слушавший Митин рассказ, положил руки на его колени:

— Ну, теперь покатаешь? Сам ведь обещал. Тебя же дедушка катал на паровозе...

Улыбаясь, Митя ладонью провел по русой челке:

— Еще самую чуточку подрастешь, и сразу возьму.

— Начинается! — захныкал Егорка.— А еще говорят, надо быть честным...

Вернулась Марья Николаевна, подошла к Мите. На ее маленьких сморщенных ладонях лежали белые выпуклые часы с цепочкой.

Митя быстро поднялся с кушетки и почему-то замер в нерешительности.

— Возьми их, Димушка... Возьми,— тихо сказала Марья Николаевна.— Помощнику машиниста надобно время знать...

Он осторожно взял часы обеими руками, завел и долго, не отрываясь, смотрел на них, прислушивался. Потом взглянул на

мать и сразу понял, о чем думает она сейчас: «Вот приспело время и сына провожать. А Тимофей Иванович не дождался радости...»

Было тихо. Часы тикали на всю комнату, отмеряя быстротечное время...

— Теперь ты самый настоящий железнодорожник,— говорила Вера, когда они встретились вечером на углу Комсомольской.— А как стрелка бегает... Надо почаще на них смотреть, тогда не забудешь, что время летит, летит. Кстати, сколько мне еще жить в этом городе? Восемнадцать часов...

— Немного,— тихо сказал Митя.

Город искрился россыпями огней. Горы будто отодвинулись и стали похожими на тучи. Огни разбегались далеко-далеко, мерцая в темноте, исчезая и появляясь вновь.

Издали доносились свистки паровозов, звонки трамваев, звуки автомобильных сирен. Ветер раздувал багровое зарево над городом, оно ширилось, разливалось, захватывая полнеба.

Миновав улицу Красных зорь, они зашли в «свой» парк, посидели на «своей» скамейке, усыпанной опавшими листьями, и спустились в город, к пруду.

За плотиной, у самой воды, шумел завод. Он был похож на гигантский черный корабль, увешанный огнями. Отражения этих огней колыхались на воде, и чудилось, будто корабль покачивается на приколе.

На горе Крутихе взрывали породу. В небе вспыхивали бледные зарницы, и темная вода в пруду отсвечивала вороненой сталью.

— Перед отъездом, говорят, обязательно надо присесть,— засмеялась Вера и опустилась на гранитную скамью.

Митя сел рядом.

— Уедешь вот... Институт, занятия, общественные нагрузки, новые друзья...

— И что же? — весело отозвалась она.— А старым буду писать письма.

— Раз в год соберешься.

— «Здравствуйте, Митя! Всего три дня назад писала вам, но уже накопилось много новостей, которыми нужно поделиться, и хочется узнать все-все о вашей жизни. Меня и здесь избрали в редколлегию факультетской газеты. Вчера весь вечер оформляли очередной номер. Дни бегут, что называется, без оглядки. После лекций — в читалку, а когда голова перестает варить, почти всей группой отправляемся в кино или в театр. Потом обсуждаем, спорим. Мои соседки по комнате — три очень хорошие девочки. Общежитие у нас чудесное. А что у вас хорошего? Каковы успехи? Что читаете сейчас? Между прочим, я с удовольствием прочитала книгу Марка Твена «Простаки за границей» (я вообще люблю Твена, он умница). Оказывается, он был в

России, конечно, старой и с теплым чувством пишет о нашей стране. На этом заканчиваю свое послание: девочки зовут немного погулять. Сегодня прекрасная погода, небо ясное, и я непременно увижу Полярную звезду. Всего-всего наилучшего...» Вот как я буду писать.

От содержания этого импровизированного письма, от внезапного «вы» Митя сидел в радостном оцепенении.

Вера задумчиво смотрела на пруд. Несколько лодок неторопливо скользили по воде. Одинокий женский голос тихо пел:

На окошке на девичьем
Все горел огонек....

Знакомая песня почему-то звучала сегодня так грустно, что у Веры сдавило горло. С жадностью глядела она на пылающее небо, на завод-корабль, на огни, на тихую воду, и все было ей необъяснимо дорого и мило, и хотелось все-все сохранить навсегда в памяти.

«ЧАС ДОБРЫЙ!..»

Оформление перевода отняло столько времени, что Митя боялся опоздать к Вериному поезду. Получив наконец документы, он отправился к нарядчику ширококолейного депо.

Девушка с льняными волосами просмотрела бумаги, бросила на Митю короткий и, как ему показалось, ласковый взгляд и повернулась к старшему нарядчику:

— Вы горевали, Денис Иванович: черепановская, мол, фамилия перевелась в депо. Пожалуйста!

Старший нарядчик, пожилой человек с болезненно-серым лицом, уважительно посмотрел на Митю:

— Так, так. Замена, значит. Очень приятно...

И тут же сообщил не очень приятную новость: три-четыре поездки Мите придется сделать дублером — так положено при переходе с узкой колеи...

Девушка тем временем отыскала металлический прямоугольный жетон, выкрашенный в зеленый цвет, и простым карандашом вывела на нем Митину фамилию.

— Завтра белилами напишем, напостоянно,— вслух подумала она и повесила жетон на доску.— Выезжать сегодня в двадцать три ноль пять, с двухсотым поездом...

Доска здесь была внушительная, в полстены. И на ней, под той клеточкой, где когда-то значилось имя Тимофея Ивановича Черепанова, стояло теперь его, Митино, имя. Пускай еще неслышное, неизвестное, но все-таки свое имя. И стояло оно прочно, «напостоянно».

Узнав, что паровоз, на котором он будет работать, недавно вернулся из маршрута, Митя отыскал машину. «Федя», могучий и красивый, стоял на свободном пути, возле депо. Поднявшись в будку и задыхаясь то ли от крутых ступенек, то ли от чего другого, Митя огляделся. Внутренность будки напоминала маленький машинный зал или лабораторию. И от чистоты, от сияния арматуры здесь было необыкновенно светло.

Подумать только, тут работал отец. Вот его место. За эти ручки и краны он брался. Вот эти синие матерчатые бомбошки на окнах он сам купил и повесил: «Поуютней как-то». Здесь каждый вентилек, каждый болтик видел его, слышал его голос... А если бы он был сейчас жив и Митя пришел к нему в помощники, вот было бы радости...

— Что угодно? — спустившись с тендера, спросил кочегар, широкоплечий парень в кепке, надетой козырьком назад.

Митя смотрел на него и молчал.

— Что надо, спрашиваю?

Наконец Митя сказал, что назначен помощником на этот паровоз. Парень критически оглядел его и, кажется, остался доволен.

— Да, наш помощник на «правое крыло» переходит,— заметил он будто с сожалением.

— Машина-то как, ничего? — деловито осведомился Митя.

Парень улыбнулся высокомерно.

— Ничего — это пшик, пустое место. Про нашу машину пока так не говорят. Черепановская это машина.

— Что значит — черепановская?

— Не слыхал, что ли, фамилию Черепанова? — удивился кочегар.— Машинист был знатный. Да и человек был... На бронепоезде погиб. Это и есть его машина.

— Почему же она... Почему ее сейчас так называют? — спросил Митя, боясь, что волнение выдаст его.

— В память. И потому еще, что порядок соблюдается, какой он завел. В войну наши бригады гвардейское звание имели. Как сейчас величать станут, не знаю. Да хоть как ни называй, смысл один...

Простившись, Митя ушел с гордым и горьким чувством, думая над словами старшего нарядчика и кочегара.

Он медленно шел по путям, мимо стрелочных постов, переездов, станционных построек, а будто бы вновь шел по своему детству, еще совсем недавнему и такому далекому. Вон паровозное кладбище, где все так знакомо, памятно и дорого сердцу,— и допотопные музейные паровозы, и «Грозный Урал», который он вел в бой, и разбитый «Сормовец», на котором учился попадать лопатой в топку. Наверное, никогда уже у него не найдется минутки, чтобы заглянуть на этот пустырь, чтобы подняться на «бронепоезд» и посмотреть, как воюет новое поколение мальчишек...

Выйдя на перрон, он тотчас увидел вдалеке Веру и Анну Герасимовну. Алешки не было. Должно быть, он не провожал сестру, чтобы не встречаться с Митей. Что ж, дело его. Теперь Мите все равно...

С любовью и тревогой глядя на Веру, Анна Герасимовна говорила все, что обычно говорят матери, провожая детей из родного дома. Обо всем этом уже было переговорено, и Вера слушала рассеянно.

— По приезде сразу же телеграмму...

— Обязательно.

— И пиши. Хотя бы через день.

— Алешку не нужно отговаривать,— сказала Вера.— Хочет в инженерно-экономический, и пускай.

Она замолчала. Анна Герасимовна заметила, что лицо дочери вдруг переменилось: кончики губ потянулись кверху, глаза лучисто заблестели. Она посмотрела в ту сторону, куда был направлен Верин взгляд, и увидела Митю. Он подошел, поздоровался, потупился смущенно.

Анна Герасимовна протянула ему руку:

— Поздравляю с широкой колеей!

Он так же смущенно наклонил голову.

Подошел поезд. Митя взял Верин чемодан. Все трое двинулись к вагону.

На верхних полках спали двое военных, обе нижние были свободны. Вера села в уголок, у окна.

— Ночью чемодан в изголовье поставь,— посоветовала Анна Герасимовна, присаживаясь рядом с дочерью.

Митя сел напротив. И, хотя Вера изредка взглядывала на него, ему казалось, что всеми мыслями она далеко-далеко отсюда.

На перроне два раза пробил колокол. Голос из репродуктора попросил провожающих выйти из вагонов.

Анна Герасимовна, которую всегда пугала станционная суета, вскочила и, торопливо расцеловав дочь, вышла. Митя молча пожал тонкие прохладные Верины пальцы и тоже направился к выходу. Но Вера окликнула его. Он вернулся.

— Специально для тебя захватила и чуть-чуть не забыла...— она быстро открыла чемодан, взяла лежавшую сверху книжку в бумажной обложке.— Возьми...

Это был справочник для поступающих в высшие учебные заведения.

— Между прочим, эти программы не так уж часто меняются,— сказала Вера.

Взяв книгу, он посмотрел на Веру. Совсем близко возле его лица тепло и задорно светились зеленоватые огоньки. Но если бы в это время не дернулся поезд, он, наверное, не поцеловал бы ее...

На какое-то мгновение они обомлели. Митя опомнился первым и ринулся из вагона. Он выпрыгнул на ходу, пробежал мимо Анны Герасимовны, которая закричала: «Митя, Митя!» — и без оглядки понесся по перрону, лавируя между провожающими.

Анна Герасимовна шла за вагоном. Расстояние между нею и Верой, стоявшей у окна, быстро увеличивалось. Она знаками спрашивала дочь, что произошло, почему он убежал, и та знаками же отвечала, что не понимает ее.

А Митя бежал до самой улицы Красных зорь. Миновав стальной разлив путей, он постоял, чтобы унять волнение. Но сердце все еще стучало часто и сильно.

Он зашел в дом и на пороге кухни остановился: его сундучок с откинутой крышкой стоял на столе. Откуда мать узнала, что ему выезжать сегодня?

— Что ты делаешь, мама?

— Нешто не видно? В дорогу собираю помощника машиниста...

Что-то мальчишеское, озорное, рожденное радостью, взыграло в нем, и он с притворной досадой развел руками:

— Рановато. Непомнящий раздумал, приказ не подписал. Я заявил: раз такие порядки, ухожу с транспорта...

Марья Николаевна повернула к Леночке испуганное лицо.

— Слушайте его, мама! — засмеялась Лена, помешивая ложкой горячий суп.— Нарядчица Лиза говорит: «Племянник твой такой скромный, такой стеснительный, просто прелесть». Нечего сказать, скромник! Так можно насмерть перепугать!

— А складно врет,— с укоризной улыбнулась Марья Николаевна.

— Так ты ее знаешь, эту белобрысую? — спросил Митя.

— Очень даже хорошо. Теперь, товарищ помощник, вы будете под двойным наблюдением: с одной стороны — нарядчица Лиза Прохорова, с другой — диспетчер Лена Черепанова...

— Вот беда-то где! Знал бы, ни за что не переходил на широкую колею...

— Ну, хватит. Мойся да садись обедать. Перед поездкой отдохнуть не мешает.

За обедом Марья Николаевна сказала:

— Сегодня из артели человек приходил. Обмундирование шить кончили, но артель не закрывается. И надомницы, говорит, остаются. Новый заказ получили.

— И чего же он приходил, этот человек? — Леночка подняла свою лохматую голову.

— Спрашивал, рассчитывать на меня али нет.

— А ты что? — насторожился Митя.

— Сказала: с детьми посоветуюсь.

— Не нужно, мама,— мягко сказала Леночка.

— Не будешь работать,— горячо и решительно отрубил Митя.

— Ты, Димушка, не горячись. Надо спокойно решать.

— Могу и спокойно. Скажи, ты боишься — на жизнь не хватит?

— Думаю, хватит. Да разве все в этом?

— Мало ли у вас забот по дому? — сказала Леночка.— Поберегите здоровье, мама...

— Вот что,— громко, словно на собрании, проговорил Митя.— Мы тебя выслушали, а теперь решаем: кончена работа. Нас двое, ты одна. Большинство голосов. Не то и Ваню заочно подключим...

Марья Николаевна помолчала, просяще взглянула на Леночку:

— Тогда хоть Егорку возьми из садика.

— Нет, нет, мама! — воскликнула Леночка.— Он свалит вас за неделю...

В это время послышался стук. Марья Николаевна опустила ложку. Так стучал только вызывальщик Кузьмич. Уже год, как не являлся сюда старик. Зачем же он пришел сегодня? Что ему нужно?

Марье Николаевне почему-то стало страшно. Но, преодолев слабость, тяжело опершись о стол, она поднялась и медленно двинулась к двери. Митя пошел за ней.

В полуоткрытой калитке стоял Кузьмич. Он был, как всегда, в валенках и ушанке. В руке у него была толстая суковатая палка. Жук свирепо лаял на него.

Увидев вышедших на крыльцо Марью Николаевну и Митю, старик пробубнил глухим, сипловатым голосом:

— Черепанову на двухсотый сегодня в двадцать три ноль пять...

— Есть, Иван Кузьмич. Понятно! — точно так же, как всегда отвечал отец, ответил Митя. Только у отца никогда не дрожал голос.

На этом разговор мог закончиться. Но Марья Николаевна, поняв наконец все, быстро спустилась с крыльца.

— А ты, Николаевна, сказывала — забудет Кузьмич дорогу к твоему дому. А вот и не забыл. Вот и сынка твоего выкликать довелось. На дорогу, знать, выходит сынок. На широкую колею...— Он снял шапку, поклонился.— Час добрый...

— Благодарствую, Иван Кузьмич,— словами отца тихо ответил Митя.

Опираясь на палку, вызывальщик пошел дальше, вверх по улице. А Марья Николаевна, глядя ему вслед и почему-то не видя его, чуть слышно прошелестела губами:

— Час добрый...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пустырь . . . 9
Что делать? . . . 12
К Алешке . . . 13
Известие . . . 15
Решение . . . 17
Он встретит отца . . . 24
Воспоминание . . . 28
«Ужасно обидно...» . . . 31
Находка . . . 34
Последний чертеж . . . 36
«Завтра в двадцать ноль-ноль» . . . 38
Сомнения . . . 42
Что происходит в доме? . . . 47
Новость . . . 49
Разрыв . . . 53
Вызывальщик . . . 56
Милая девочка . . . 59

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У Максима Андреевича . . . 65
«Красавец!» . . . 70
На перепутье . . . 72
Полторы Мани . . . 75
Узкая колея . . . 78
Нет индивидуального подхода . . . 82
«Ваши документы!» . . . 86
Знаменитая фамилия . . . 88
«Самотек» . . . 90
Под расписку . . . 92
Тревожные минуты . . . 96
Этого он не ожидал . . . 99
Завтра в наряд . . . 103
Сборы в дорогу . . . 105
Лекция Миши Самохвалова . . . 108
«Мало каши съел...» . . . 112
«Рабочий человек...» . . . 114
Слежка . . . 117
«Государственный деятель» . . . 120
В непогожую ночь . . . 123

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Карпы . . . 131
Третье лицо . . . 134
Финики . . . 139

Великий потоп 144
Борода 148
Раздумья 152
Гонорок 154
«Спасибо за помощь!» 157
Гость 160
Ночной разговор 163
Шаги за дверью 168
Пустая клеточка 171
Утро 173
«Я тебя ждал, Черепанов» 177
Друг 178

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Секретный разговор 185
«Что же они затевают?» 189
Митин план 192
Серегинское шефство 195
«Прижился...» 198
Очки на носу 199
Нечаянное признание 202
«Гадюка» 204
Важное дело 209
Непонятные перемены 215
Однажды вечером 219
Открытие 223
Провокация 227
Скользкий вопрос 228
Вдохновение 232
Злополучный кран 235
Беспокойная смена 239
Провал 242
«Предательство» 245
Новые неприятности 248
Сокровенное чувство 253
Разоблачение 256
«Я знал, что ты поймешь...» 262
Нежданная похвала 264
После метели 267

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Долг 277
Гостинчик 283
Загадочный случай 289
Значит, не поверила... 293
Запоздалая исповедь 297
Сквозь огонь 301
Полярная звезда 304
«Товарищ Черепанов...» 308
«Час добрый!..» 313

Юрий Яковлевич Хазанович

СВОЕ ИМЯ

Печатается по изданию
Средне-Уральского
Книжного Издательства, 1963.

Редактор И. Круглик. Художник С. Киприн. Художественный редактор Б. Тюфяков. Тенический редактор Л. Зорина. Корректор К. Ушакова. Сдано в набор 15/VIII 1969 Подписано в печать 18/II 1970 г. Бумага типографская № 3. Формат 60×90 Уч.-изд. л. 21,52. Усл. печ. л. 20,0. Тираж 75000. Заказ 464. Цена 81 коп. Средне-Уралское Книжное Издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография издательства «Ураский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

ряков. Те
III 1969
ат 60×90/
дне-Урал
ва «Урал






Ю. Хазанович
СВОЕ ИМЯ